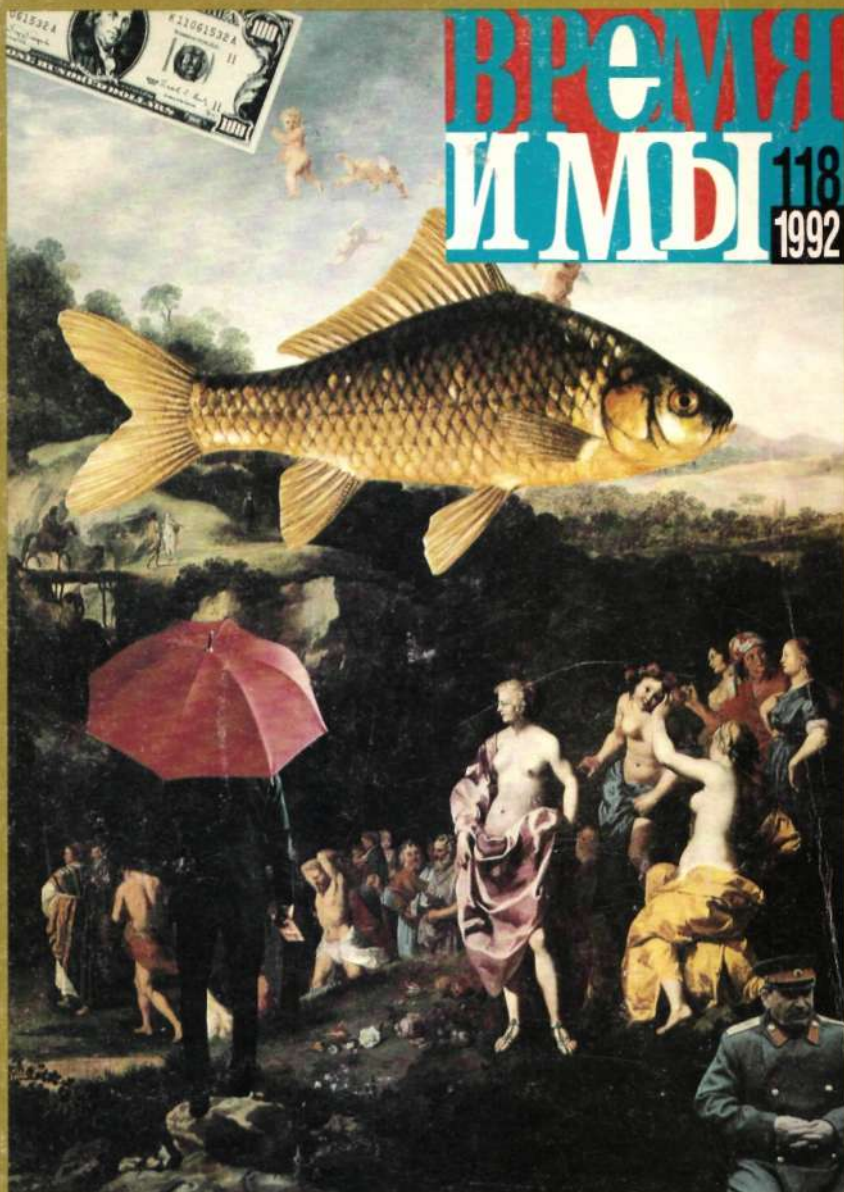




ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ДУШИ МИЛИЯ ЗАЛЕВСКОГО

ВРЕМЯ и МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Восемнадцатый год издания

Выходит один раз
в три месяца

118
1992

НЬЮ-ЙОРК,

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ И МЫ», 1992

ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ВАГРИЧ БАХЧАНЯН	ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН
ЮРИЙ БРЕГЕЛЬ	ИЛЬЯ СУСЛОВ
ДЖОН ГЛЭД	МОРИС ФРИДБЕРГ
ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ	ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
ЛЕВ НАВРОЗОВ	ЕФИМ ЭТКИНД (зам. гл. редактора)
ГРИГОРИЙ ПОЛЯК	

Московское отделение журнала "Время и мы"
Андрей Колесников
Илья Бернштейн
Адрес отделения: 121433, Москва,
Малая Филевская ул., 54, кв. 4
Тел.: 146-36-16

Израильское отделение журнала "Время и мы"
Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/6

Французское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 31Quartier Boieldieu, 92800
PUTEAUX, FRANCE

Представитель журнала в Западном Берлине
Mariama Shmargon, Shlosstr 30/30
1000 Berlin (West) 19

OCR и вычитка - Давид Титиевский, август 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Виктор ПЕРЕЛЬМАН
Переселение души Милия Залевского. 5
Лорен АЙЗЛИ
Комета 95

ПОЭЗИЯ

Игорь ЧИННОВ
Забавляйся муза, созерцая 101
Надежда КРЕМНЕВА
Родина страха, эпоха стыда. 109
Григорий МАРК
Сквозь каменный город 115

ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА

Ричард ПАЙПС
Распад империи был неизбежен. 118
Эрлен БЕРНШТЕЙН
Нарисовали дом и хотим в нем поселиться. 133
Л. АННИНСКИЙ
На чем душа успокоится 148
Игорь ЯРКЕВИЧ
Русский писатель как экзистенциалист и гражданин 162
Юрий ДРУЖНИКОВ
Пушкин, Сталин и другие. 178

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ARS LONGA, VITA BREVIS. Интервью журналиста
Андрея Колесникова с поэтом Ларисой Миллер 197

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

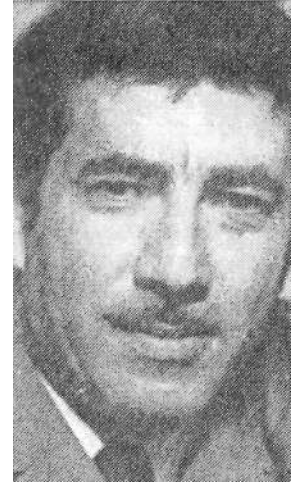
Вадим КУНИН
Плеве и Герцль 209

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Ариадна ЭФРОН
Из самого раннего. 220
Яков СИМКИН
Жизнь на чужой улице. 254

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

В. ПЕТРОВСКИЙ
Образ другого мира 273



Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ДУШИ МИЛИЯ ЗАЛЕВСКОГО

1

Итак, все произошло в Манхэттене, на тридцать шестом этаже одной из устремленных в небо жилых башен — в ясный солнечный день отсюда можно видеть весь Нью-Йорк, открывается панорама на Пан-американ билдинг, на Статую Свободы, на всю нашу многоликую и безумную планету. С описания этой квартиры, куда ввалился пьяный и счастливый Залевский, мне и следовало начать. По ходу дела замечу, что была в его руках кожаная туристская сумка, из которой шел запах горячей, приготовленной на пару рыбы. Все, однако, в жизни относительно, и — как выяснится — прежде чем попасть в эту квартиру, моему герою пришлось пережить ряд других событий, и среди них даже запах горячей и аппетитно пахнувшей рыбы оказывается имеющим значение для сюжета.

Раскрывая эту повесть, можно было начать с самого Залевского, бывшего народного артиста, бывшего главного режиссера, бывшего профессора ГИТИСа, приехавшего в Америку с целью предложить курс одному из американских университетов, а возможно, и с иными намерениями, о которых нам остается только догадываться. То есть мы с вами полагаем одно, а в жизни случается совсем другое. Но до поры до времени касаться этого не стану, а тем более углубляться в материю прошлой жизни моего героя — Дом актера, ЦДРИ, актерский кооператив в Поленове. Да у меня и возможности нет: в моей голове сюжет жесткий и динамичный, хотя и совершенно фантастический. Пройдет немного времени, и совершит мой герой поступок, куда более сообразный полицейскому детективу, чем задуманной мной эпической прозе, — ну что вам сказать, если в этот день по боевой тревоге будет поднято специальное подразделение нью-йоркской полиции, которое ворвется в указанную квартиру, чтобы пресечь террористический акт.

Перед тем будет вечер в одном из захудалых рыбных кафе нижнего Манхэттена, куда Милий Арьевич Залевский пригласит поужинать свою девятнадцатилетнюю внучку Машку и ее мужа маленького Карла, бизнесмена и главу рекламной компании "Горящие огни Лонг-Айленда".

Машку Милий три года назад отправил в Америку и был немало восхищен ее обликом, когда еще издали увидел ее в толпе встречающих в нью-йоркском аэропорту Кеннеди. Была она выше всех окружающих, и ее очаровательная муляжная головка, торчащая над толпой, бросилась в глаза прежде всего. Возможно, впечатление усиливалось из-за низкого роста Карла — мужа она словно бы не замечала, отыскивая только что прибывшего Залевского среди людского потока, плывущего из чрева аэропорта.

Стояла стоградусная нью-йоркская жара, и хоть работали кондиционеры, Машка выглядела усталой и недовольной, но когда увидела деда, ее детское перламутровое лицо мгновенно расплылось в очаровательной улыбке. Как и полагалось человеку из элиты, он предстал перед нею с ног до головы ухоженным и в высшей степени респектабельным — чего стоил один серебряный бобрик волос, тщательно выстриженный, слегка подкрашенный и как бы задававший тон всему крупному, выразительному его лицу, просветленному, видно, и от того, что устремилась навстречу такая блестящая юная женщина, приходящаяся ему внучкой.

— Ну к-к-к-а-к ты? — спросил он, по обыкновению заикаясь, когда испытывал волнение. Он разглядывал ее так, как может позволить себе лишь близкий родственник, задержав взгляд на маленькой словно бы пластмассовой груди, а она, дав ему расцеловать себя, снова закрутила кукольной головой по сторонам, стирая с лица кончиком платка бисеринки пота:

— Факен день! Из-за жары даже забыла, где запарковалась!

У нее были длинные, вполовину ее роста, ноги, отмеченные Залевским равно, как и грудь. "Наглая, красивая американка!" — подумал он и сказал:

— А ты, Машка, — аб-с-с-олютно такая же!

Между тем маленький, с крупными залысинами Карл, еврей, как успел отметить Залевский, не спускал с жены влюбленных глаз.

— Мамашка моя! — нежно проговорил он и победно оглядел Залевского. — Вы знаете, я ужасно люблю ее!

Залевский, чему-то своему улыбнувшись, согласно кивнул головой — мол, что ж, дорогой, тебя можно понять, в твои-то годы такая женщина... И, решив, по видимому, что обмен любезностями окончен, сказал, что беспокоиться ни о чем не следует — еще из Москвы ему заказан люкс в нью-йоркском "Хилтоне". Это был блеф, имевший, впрочем, под собой опреде-

ленные основания: раньше, когда он прилетал сюда в составе ответственных культурных делегаций, его действительно ждали номера-люксы в лучших манхэттенских отелях. Но когда это было? В палеозойскую эру! В те времена он прибывал сюда как именитый посланец великой сверхдержавы, которая одним нажатием кнопки могла смести с лица земли человечество, а сейчас приземлился, как курортный дикарь, вырвавшийся из пыльной российской периферии и никого, кроме себя, не представляющий. Однако так сказать тоже нельзя было: формально в Америку он выехал по заданию советского военно-промышленного комплекса, которое ему устроил по старой дружбе председатель правительства одной из автономных республик, в прошлом член Союза писателей и известный советский поэт. Задание можно было бы считать стопроцентной липой, если бы ему не сопутствовала выдача довольно крупной суммы в долларах — посланцы военно-промышленного комплекса даже в эпоху великого обвала не могли выглядеть бедными родственниками. Впрочем, понятие "бедного родственника" и не подошло бы облику Залевского, по крайней мере в момент, когда он вышел из аэропорта, — ни его крупному лицу, словно отлитому из бронзы, ни уже упомянутому серебряному бобрику волос, ни тем более излучаемой им уверенности. Если бы я не боялся затянуть, то описал бы еще и артистичность его движений, выдававших натуру темпераментную и нервическую, а может быть, и другие черты, совершенно неожиданные, которые вот так просто на одной ноге и не охватишь.

Что же до блефа с хилтонским люксом, то Залевский на него пошел, будучи стопроцентно уверен: Машка пригласит его пожить к себе, на Лонг-Айленд. А она, услышав про "Хилтон", будто даже обрадовалась и, блеснув чудными своими ямочками, воскликнула:

— Вот и ладненько, Миля, "Хилтон" — так "Хилтон". И взяла с него слово, что завтра же он приедет к ним

на обед. После чего все погрузились в "Кадиллак", обнаруженный на одном из затерявшихся аэропортовских паркингов, и двинулись по запруженному машинами "Ван-викхайвею" в направлении центра Нью-Йорка.

Тут бы мне и коснуться намерений моего героя, только с чего начать? Раньше лишь одна интеллигенция не туда смотрела да не о том думала. А сегодня дурная эта болезнь охватила всю необъятную Россию, вся она, можно сказать, тронулась на почве мечты перебраться на дикий Запад.

Прилетев как-то из Нью-Йорка в Москву, ехал я по Большой Садовой с московским таксистом, который крутил баранку и во всю ивановскую нехорошо матерился, пока вдруг, уже при расчете, не увидел взблеснувшие в моем бумажнике доллары и в счастливом озарении, словно перед святой богородицей, прошептал: "Послушай, ты што, из-за бугра што ли, слушай, пришли в ваши края вызов! Ежели што, пешедралом уйду и супругу с ребенком вывезу". А наутро у входа в гостиницу "Космос", где я остановился, я увидел этого таксера снова, но уже не одного, а с крашеной, играющей авоськой блондинкой с сережками в ушах, по-видимому, она и была супруга, — из того смазливового сорта русских женщин, которые на вас и глядят-то не по-людски, а с неким черт знает что обещающим выражением, и еще была с ними девочка, лет четырнадцати, с точно такими же сережками в ушах, копия мамы в детском варианте.

Приблизившись ко мне, супруга таксиста, звали ее Тома, повела тот же разговор про отъезд, но была куда агрессивнее, чем муж: ах, господи, кабы я только человеком был! Да они всю жизнь на меня будут, как рабы, вкалывать, если за бугор вывезу: он навек станет моим персональным водителем, а они с Нинкой...а они, понимаешь ли, кем Родина прикажет? — весело подмигнула мне эта самая Тома. Я в растерянности озираясь. "Эх, господин!" — окинула она меня с сочув-

ствием и, прижав к себе девочку, извлекла из авоськи чекушку "Столичной", с ней четыре граненых стаканчика, и тут же у гостиницы стала ее разливать, в том числе и маленькой Нинке, которая стаканчик сама пододвинула. "Выпьем, што ль, товарищи, за светлое будущее, а? Что, брезгуешь? — засмеялась она мне, блеснув пачкой золотых зубов. — Ты, американец, кто по национальности-то? Что не еврей, сама вижу. Еврей, он такой возможности в жизни не упустит! Возьми, слушай, в Америку, возьми!" — вдруг каким-то странным, не своим басом захныкала она.

— Дяденька, возьмите! — вцепилась в мое пальто Нинка.

— Мужик, еще по маленькой! —дохнул водкой таксист и неизвестно зачем стал тащить меня в гостиничную подворотню. Не знаю, чем бы это все кончилось, если бы не вырос из-под земли страж порядка, по счастью оказавшийся рядом, и не приказавший святому семейству тотчас сгинуть.

Залевский, устало развалившись в кабине "Кадиллака", любовался перламутровым Машкиным лицом, ярко освещаемым фарами машин и одновременно игравшими вдали огнями вечернего Манхэттена. И при этом раздумывал, как, не уронив себя, выйти из создавшейся ситуации. Выход, собственно, оставался один: ехать к Жульену, в отель "Мортимер", расположенный в верхнем Манхэттене, где для Жульена всегда держали номер. Тот и сам по телефону приглашал Милия. В момент встречи, наверняка, полезет целоваться и сделает вид, что несказанно рад. Но одно дело — прикатить на "Кадиллаке" из Лонг-Айленда, а другое — ввалиться с бухты-барахты, как бедному родственнику, с баулами в руках. "Ну, здравствуй!" — скажет Жульен. "Здравствуй", — ответит Милий. "Явился?" — спросит Жульен. "Явился не запылится!" — ответит Залевский, проклиная себя за то, что не напросился к Машке. Затем меж ними возникнет длинный разговор, вначале, конечно, о том, что будет с Россией, и обязательно о

том, что побудило Милия приехать в Америку и не собирается ли он здесь остаться навсегда, как это делают многие. Но каких бы ни касались тем, Милий определенно знал, весь этот длинный разговор будет не о том главном, что произошло с ним за последний год, а пойдет по касательной к его действительной жизни. А о случившемся с ним на самом деле он не в состоянии поведать никому на свете. Это он также знал наверняка. Да и что, в сущности, ему рассказывать? Что у ворот Новодевичьего кладбища его ни за что ни про что унизил какой-то ничтожный милицейский чин? Или что ночью того же дня у него стряслась неприятность с Кларой, бывшей женой Жульена и с незапамятных времен любовницей Милия? Что за неприятность? Будто можно кого-то допустить к случившемуся в ту ночь! Или его бредовая статья о Сталине, которую он неизвестно зачем написал и из-за которой его сживали со свету и справа и слева. У всего этого была своя, не известная никому в мире подоснова или, как он называл ее сам, другая реальность, не выражаемая ни в словах, ни в логике, но только она и была существенна в жизни. Ах, если бы он мог поставить на сцене все случившееся с ним за этот последний год! Так же, как когда-то он пытался поставить горьковское "На дне". Тщетно пытался! Его смешали с грязью только за то, что он вздумал по-своему прочесть этот плоский и давно всем обрыдший босяцкий водевиль, стремясь превратить его в спектакль больших страстей. Без резонерства и социальных бредней! Главной героиней Милия должна была стать проститутка Настя, хоть и порочная, но истинно живая душа (а, может, и живая, потому что порочная!), падшая королева, доступная любому из обитателей ночлежки. На худсовете его обвинили в проповеди низменных инстинктов. А также в том, что он грубо искажил Горького, пытаясь подменить его революционную реальность своей жалкой пошлятиной. В заключение секретарь парторганизации, зав.

гримерной Солдатов, попросил его ответить на вопрос: чьи идеи он пытается воплотить в великой пьесе соц-реализма "На дне?" Милий попробовал сослаться на горьковский текст. "Не морочьте нам голову, — прервал с трибуны парторг, — признайтесь, что пытались протащить на советскую сцену Фрейда!" (Самое интересное, что Милий в те дни, действительно, читал Фрейда). Назавтра его исключили из партии — во-первых, за преклонение перед фашиствующей идеологией Запада, во-вторых — за нескромность, порочащую звание советского режиссера. А после уволили, и, как случилось в те славные времена, раздавленный, он ждал ареста. Бог миловал, спустя год Милий снова вернулся в театр. Но что в этом мог понять Жульен со своими ничтожными гражданскими виршами? Милий и по сей день не мог себе ответить, когда именно этот длиннорукий сибирский кацап в вечно напаянной на лысеющую голову кожаной кепке был им окрещен Жульеном. Казалось, так было с первого дня их знакомства. Тот звал его "миленький", а Милий его — Жульеном.

Познакомились вскоре после смерти Сталина, когда реабилитированный Залевский читал в ГИТИСе курс актерского мастерства, а этот вахлак, приходивший из Литинститута, сидел, вскинув ноги на спинку переднего стула, и нагло паялся на Милия. В те времена Жульен возглавлял группу молодых и высшей своей целью считал низвергать засевших повсюду наследников Сталина, к тому же полагал себя гениальным актером. И таким вот трибуном и лидером молодых застыл на всю жизнь, хотя было ему, слава богу, хорошо за пятьдесят. Залевскому, чья слава была не в пример тише, шел и вовсе седьмой десяток.

Кто-то со стороны мог сказать, что в несообразной кличке "Жульен" проявилась насмешка Милия, сам он, однако, с этим никогда бы не согласился, ибо совер-

шенно искренне полагал Жульена гением, хотя в какой именно области — сказать бы затруднился.

2

В "Мортимере" администратор из рецепшен позволил знаменитому постояльцу, и тот, как и предполагал Залевский, встретил его у лифта, по обыкновению, в своей кожаной кепке, с повязанным на шее сан-кю-лотовским платком вместо галстука и в сандалиях на босу ногу.

Как читатель помнит, Милий еще в машине нарисовал себе ожидаемую его сцену с репликами и ремарками — и его собственными, и Жульена, как-никак знали друг друга более тридцати лет. Но одно дело ожидание, а другое — жизнь. И, рискуя вызвать читательское нетерпение, я этой сцене также коснусь, поскольку с нее все и пойдет, хотя начал могло быть несколько — хотите, когда Милий увидел в аэропортовской толпе свою длинноногую с муляжной головкой Машку, всколыхнувшую его стареющую актерскую душу, а хотите — сейчас, в номере-люксе на восьмом этаже отеля "Мортимер", где, встретившись в Нью-Йорке, два старых товарища до полуночи философствовали о первоосновах жизни. Конец-то, повторю, будет один: манхэттенская квартира, в которую ворвалась полиция, дабы предотвратить террористический акт. Впрочем, дело тут не в квартире, а в знаменитом актере и режиссере Милии Арьевиче Залевском, в его прошлом и будущем, которые странным образом переплетутся в повести, как раз и составив единственно признаваемую им самой другую реальность. Но про это пока умолчим и окинем взглядом люксовский номер нашей знаменитости (у кого это сказано: "Опиши мне свою обитель — и я скажу, кто ты!").

Так вот, в люксе было три великолепных комнаты, и в каждой диван с дорогой обивкой, и торшеры, и старинные телефоны на мраморных столиках. В салоне — стол из

розового дерева, покрытый вышитой китайской скатертью, на ней — ослепительно белая кружевная салфетка, а на салфетке — как истинный венец всего роскошного интерьера — только что откупоренная бутылка "Боржоми" с лежащей рядом открывалкой. И еще два гигантских апельсина в совершенно великолепной хрустальной вазе. Да, чуть главного не забыл: старинное в полстены зеркало, в которое Залевский, устроившись в кресле, поочередно разглядывал себя и своего собеседника, угадывая, все ли в пьесе совпадет, а тот, сложив на груди сильные и длинные руки, мерил широкими сандалиями персидский ковер. И, устремив взгляд в окно, что-то неведомое сочинял и нашептывал про себя.

— Послушай, у тебя же тут рай, — начал было Милий; хозяин, однако, не дал ему договорить:

— Ах, оставь, Миленький! Несчастлив я в этой стране до ужаса, до белых чертей... — то удалялся, то приближался он к креслу, на котором расположился Залевский. — Что мне твоя Америка, когда душа по русскому таганку стонет, вот взяла бы и выпрыгнула в окно из этой богадельни — и напрямик со стаей журавлей в родную мою Сибирь. Ну что молчишь, небось, думаешь Америку взять за яблочко? Может, и возьмешь, если наглости хватит. Здесь, брат, наглость — высшая добродетель!

Словно по чьему-то заказу, в пьесе все поразительно совпадало, и Залевский, притомившись, погрузился в свои думы о Машке — доехала ли она до Лонг-Айленда или все еще в дороге? В памяти перламутровая, длинноногая Машка была еще красивее и привлекательнее.

— В Россию хочу, понимаешь, в Россию! Много ли мне в жизни нужно? Кроме этой кепки, в сущности, ни хера! — Он снял с головы кепку и, погладив ее большой ладонью, стал с интересом разглядывать. — Миленький, конечно, думает, отчего я сам в Нью-Йорке? Нет, нет, не отпирайся, я насквозь тебя вижу! — перед

Милием вырос грозящий палец. — А ты войну вспомни, ты же участником ее был! Неужели в те годы кто-то посмел бы тебя спросить: зачем ты под Сталинградом в окопе? Так вот, знай, для поэта и гражданина, любящего Россию, сегодняшний Нью-Йорк есть Сталинград. Запиши: завоюем Нью-Йорк — спасем Россию, отступим — конец всему! Ты понял или нет?

Само собой! Кто же понимает Жульена лучше, чем он? Но в одном пункте Милий с ним решительно не согласен: в его подозрениях, что он хочет взять Америку за я-я-яблочко, появилось волнение в голосе Милия. — Тебе, видишь ли, кепка, — засмеялся он, — а мне, кроме угла с р-р-р-аскладушкой, ничего не надо.

— Р-р-раскладушкой, — передразнил Жульен Залевского. — Я ему Сталинград, а он мне р-р-раскладушка...

— Послушай, а могу я тебя попросить об одной любезности? Дело в том, что мне нужно сделать звонок внучке. Тут, говорят, это деньги стоит, так я, знаешь ли, рассчитуюсь.

— Давай — звони, надеюсь, не разоришь поэта-пигрима.

Машка сняла трубку тут же, будто даже ждала его звонка.

— Милия, где ты находишься? Я так волнуюсь.

Где он? В номере у одного из самых известных поэтов России, — бросил Милий взгляд на Жульена, который, все так же скрестив руки и что-то про себя сочиняя, продолжал прогуливаться по ковру.

А Машка, между тем, уже щебетала о своей собственной жизни, вначале — о том, как они с Карлом счастливы: "Милия, белив ми, ай эм хэппи, ай эм хэппи!" — но затем, безо всякого перехода, о том, сколько ей приходится вкалывать — восемь часов в день! Интересная ли у нее работа? Начинаются эти советские вопросы! Работа как работа, каждый день с клиентами в салоне красоты! Будь он проклят, этот салон! Отнимает у нее всю жизнь! Залевский хотел сказать,

что он звонит не из дома и что они поговорят завтра, но прервать не решился, а спросил, зачем ей этот салон, если у нее муж — глава такой крупной компании. О бой! Он думает, что в Америке, как у них в актерском кооперативе на Каляевской — пайки, распределители. Ах, этот факен салон, она вообще бы умерла, кругом мужики, и у всех в голове одно и то же! Но у нее есть свой секрет, о котором он не должен никому рассказывать, особенно Карлу, который никогда не поймет ее... Слышишь, Миля, не проговорись! Так вот, чтобы он знал, она второй месяц пишет роман и мечтает ему прочесть. О ком роман? Ах, о ком! Ну хорошо, она скажет — об одном молодом бизнесмене и поэте по имени Алекс, о его большой любви.

— Постой, Машка, не тараторь! — засмеялся Залевский.

— Ты знаешь, Миля, на кого он похож? В жизни не догадаешься! На молодого Дантеса, вот на кого! Из хрестоматии по русской литературе для девятого класса. Все наши девчонки были влюблены, представляешь — в портрет!

— Да подожди же, Машка...

— Ты, конечно, скажешь, факен Дантес — убийца Пушкина, а мне, Миля, это как-то без разницы. Ты, наверное, забыл, как люди влюбляются! И как это чудесно — описывать любовь, белив ми, ай эм хэппи, — на мгновение Машка замешкалась и вдруг воскликнула: "Ой, Миля, ко мне пришел знакомый! Какой знакомый? Много, Милька, знать будешь, рано состаришься, бай, дорогой!"

Голос Машки смолк, и фантазия Милия, против его собственной воли, устремилась к ней в салон красоты, она, кажется, даже упомянула его название "Ностальгия" — "Ностальгия" — по ком? По чем ностальгия? Как была дуралейка — дуралейкой осталась! Пропадет ни за грош! Из-за скупости этого маленького еврея! Он стал рисовать себе Дантеса из хрестоматии для девя-

того класса, которой он в жизни не держал в руках, но вместо него почему-то вспомнил мхатовского Кторова в роли Паратова из "Бесприданницы". (Милий не переваривал этого Кторова, про которого ходили слухи, что он не пропускал ни одной юбки). И вдруг представил себе длинноногую каланчу Машку, в одном сарафане, склонившуюся над тем же улегшимся в кресле Паратовым-Кторовым, который сует ей стодолларовую купюру и нагло пялится на ее длинные, от шеи ноги. За Машкины ноги Милию было почему-то досаднее всего.

Жульен, вернувшийся из спальни, куда на время их беседы тактично удалился, налил себе боржомом.

— Изжога, едрить твою в колено! — опорожнил он стакан. — Что, Милька, молчишь? Жрать, верно, хочешь? Можем спуститься в ресторан. А можно в номере запировать, семга вон есть!

Перед Милием продолжала крутиться та же идиотская сценка. Интересно, пьет ли она? Наверняка, пьет и, возможно, потребляет марихуану. В Америке все ее потребляют — в такие минуты с девкой можно сотворить все что угодно. Ясное дело: какой была жизнь в московских парикмахерских? А Америка — что, другая? Другие нравы? Другие мужики? Крылатые ангелы, у которых в голове поэзия Верлена? И будто он в силах изменить этот похабный мир! Эту прогнившую, ненавистную ему цивилизацию! Но если не в силах, то зачем погрузился в эту дрянную пьесу и сам же себе испортил настроение?..

— Ну так что, семга с боржомчиком? — вернул его на землю Жульен. — Ясно, семга. — Жульен извлек из холодильника снедь и разложил на блюдецке рядом с "Боржомом". — Завтра займемся твоими делами, позвоним в Питтсбург. Куда скажешь, туда и позвоним — в Гарвард, в Ейль, в Колумбию, только об одном умоляю. Родину, Миленький, не покидай. Хочешь, на колени стану? Молить буду! — и, опершись ладонями о

пол, он, действительно, стал опускаться на колени. — Проси любое царство-государство, но не покидай Россию. Говори, есть еще просьбы?

— Д-д-да, есть, не сочти за нахальство, но еще один звонок в Манхэттен.

— Звони, Джек-потрошитель, рассмеялся Жульен и подвинул аппарат Залевскому. От речей Жульена у него звенело в ушах, и когда тот, наконец, исчез в спальне, стал он листать записную книжку, пока не наткнулся на фамилию Кастангова, к которому перед отъездом ему советовали обратиться.

Роя Кастангова, политолога и журналиста самой крупной русской газеты, хорошо знали в Москве, говорили, будто общается с сенаторами и конгрессменами и был в команде самого Рейгана, пока со всеми не перессорился, к нему, де, можно обращаться безо всяких околичностей. Его телефон был все время занят, и, когда Милий услышал, наконец, в трубке длинные гудки, стало ему неловко — старинные часы на стене пробили полдвенадцатого. Однако взявший трубку Кастангов, напротив, был его звонку рад:

— Кто говорит? Залевский? Да знаю вас, знаю! — услышал он из трубки резкий, металлический бас. — Вы что, прочли мою статью в "Новой России?" Мои ученики и сторонники звонят со всех концов США. Ну, скажу вам, Пентагон отличился! Вы знаете, что написал политический корреспондент "Ньюсвика" Фред Розенштерн? А вот что: "Вместо того, чтобы следовать профессорскому бреду Бжезинского, лучше бы послушали, что советует своим читателям Рой Кастангов". Точка. Цитата заканчивается. Что, не видели номера? Завтра pošлю вам вырезку. Знаете, что они обо мне пишут? Цитирую: "Если положить на чашу весов мозги всех университетских профессоров типа Бжезинского, то все они вместе взятые не перетянут полушарий одного-единственного Кастангова". Цитата заканчивается, вот такие дела-делишки, мой адмирал.

— Да, да, я т-т-тоже много о вас слышал, знаю, что вы незаурядная личность, — пытался повернуть в нужную сторону разговор Залевский, недоумевая, с какой стати этот Кастангов, которого он не видел в глаза, называет его "адмиралом". Это было так странно, что Милий даже замешкался: каким образом задать такой вопрос?

— И еще пишут, что Кастангов — это Джон Стюарт Милль 20-го столетия! Кстати, где вы обо мне слышали? В России? Ну, это понятно, там-то отдают себе отчет в том, что представляет собой Бжезинский и Ко. Я могу вам прислать все мои статьи, хотите?

В этот момент из-за двери выглянул одетый в красную шелковую пижаму Жульен и тихо приказал: "Спать! Телефонистка бунтует!"

Залевский принял душ и, достав из чемодана цветастый махровый халат, надел его и оглядел себя в зеркале. Он любил облачаться в этот халат и, несмотря на то, что он добавлял при поездках веса, таскал его по всему свету: халат шел к его бронзовому лицу и, по словам Клары, делал его похожим на римского патриция. Милию нравилось распахнуть его перед зеркалом и разглядывать свое ухоженное тело, большую седую грудь и такой же большой седой живот с болтающимся под ним членом, поведению которого он придавал особый эзотерический смысл: его предательство будет означать и конец его, Милия. Где он на это наткнулся — что творческий человек, сделавшись импотентом, теряет способность творить? И единственный выход, который ему остается, — это сменить поле деятельности. Он мечтал не дожить до этого дня, а дожил... Как раз в ту ночь, когда, раздавленный милицейским капитаном, он приехал за успокоением к Кларе, это и произошло. С ней все и было. Он мог представить на ее месте кого угодно, но только не Клару, которой в своей жизни придавал опять же эзотерический смысл, хотя его разгадку не находил даже у

Фрейда. Фрейд с его теориями о вечно придавленном либидо витал в эмпиреях, а Клара со своей косой народоволки и своими вечными фокусами всегда была рядом с ним. "Прекрасное всегда рядом!" — подшучивал над собой Милий. Он считал себя человеком, способным справляться с эмоциями. Это у Жульена вся жизнь была полна истерик и ломания рук. У него с актрисами были обычные рабочие отношения, это знал весь мир. Хоть старики из группы миманса (которые вечно бухие шатались по театру) и пустили про него сплетню, будто, подбирая героиню на роль проститутки Насти, он перетрахал всю женскую труппу. Но кто их принимал всерьез, этих зачуханных маразматиков! И теперь, когда он, старый и уважаемый режиссер, приглашал к себе исполнительницу главной роли, это уже никого не удивляло, — в конце концов, это было право главрежа поближе познакомиться с той, на которую делал ставку. Так же, как во время просмотра он просил ее что-нибудь на свой выбор прочитать: "Поймите, родная, я же должен почувствовать материал!" Если героиня от приглашения отказывалась, Милий только добродушно ухмылялся: "Эко дело! Да ты же, милая, мне во внучки годишься!" Обижаться на таких считал он пошлостью и насилием чужой воли.

С Klarой все вышло по-другому. Возможно, оттого, что когда-то она состояла в браке с Жульеном. В те времена и началось все. Он приехал с театром на гастроли в Ленинград, где в ожидании роли в "Лендраме" она участвовала за гроши в каких-то бесконечных массовках и, как успела ему сообщить, загибалась от скуки. Вечером он позвонил ей и пригласил к себе в "Англетер" посидеть в ресторане. Ресторан оказался закрыт на переучет, и они поднялись в его трехкомнатный люкс, куда попросил он принести ужин. К тому времени она уже кончила Вахтанговскую студию. Длинная до пояса коса делала ее похожей на юную народоволку, если бы не ее большие чувственные губы,

начисто перечеркивающие претензию на невинность. Да еще манера выделять с косой всякие странные фокусы. Разговаривая, она эту косу то распускала, то играла ею, то колечками наматывала вокруг пальца. Они хорошо выпили, затем и произошло то, чему по ходу пьесы следовало произойти, а утром, когда Залевский попытался вручить ей телефон, она удивленно вскинула брови:

— Милий Арьевич, к чему это?

— Теперь-то чего, когда все уж было? — поразился и он в свою очередь.

— А что было, Милий Арьевич? Ничего не было! Я даже не понимаю, о чем вы! — весело распушила она косу и показала ему кончик языка.

"Какое законченное воплощение!" — подумал Милий, поразившись своему давешнему сравнению ее с народоволкой. Только теперь, когда она в одной комбинации разгуливала по номеру, он разглядел ее толстые танцующие бедра, коими она, словно нарочно, раскачивала перед его носом. Уже на пути домой к нему пришло воспоминание, что точно такими же были бедра у проститутки Насти в его столетней давности сценическом наброске к пьесе "На дне".

Вскоре жизнь его снова свела с нею. В театр пришло распоряжение возобновить постановку этого босяцкого водевиля, и он подумал: "Рука судьбы!" Лучшей Насти, чем жульеновская Клара, ему было не сыскать. К слову сказать, к Жульену она в это время уже не имела отношения. После его возвращения из-за границы между ними разразился скандал, впрочем, никак не касавшийся той ее ночи с Милием. Жульен крушил посуду и мебель и кричал, что в истории мировых предательств она займет первое место и что без него она пойдет по миру.

Выждав месяц, Милий позвонил ей и пригласил в театр.

— Что, Милий Арьевич, соскучились? — спросила Клара. Тогда он еще не подозревал, какую свинью она ему подложит своим приходом. Глядя на ее игру из зрительного зала, он приходил в отчаяние: отчего так немилостива к ней природа?! Она была истерична и скучна, как солдатский сапог (даже коронную фразу Насти о ее любимом Гастоне — "А леворверт у него огромный" — восклицала она голосом клубной активистки, решившей завоевать сердца зала).

Получалось, будто пригласив Клару, он принес ей в жертву интересы театра. Но, с другой стороны, успокаивал он себя, даже Станиславскому нелегко приходилось с Ольгой Леонардовной Книппер — и сам же усмехался нелепости этого сравнения.

Милий говорил себе, что хорошо бы ее из театра уволить, но все откладывал. Каждый понедельник и четверг, после окончания спектаклей, он приезжал к ней и после того, как у них все заканчивалось, обожал, лежа на диване, наблюдать ее стоящей перед зеркалом, когда она, распустив до пояса косу, строила ему в зеркале глазки. Мучимый одышкой, он вскидывал ее на руки, и, оглядывая в зеркале свою большую седую голову, спрашивал: "Ну, что, Кларочка, есть еще порох в пороховнице?" И сам же себе отвечал: "Есть, Миленький, есть!" В эти минуты он чувствовал, что у него вся жизнь впереди, если такая прелестная "народоволочка", как Клара, среди всего мужского мира выбрала именно его.

Дома он просил Алевтину сварить ему покрепче кофе, всегда прибавлявшего ему бодрости, и брался за чтение, пока где-то посреди ночи не начинали слипаться глаза. Но и тогда засыпал не сразу, а погружался в свою любимую мечту об Америке, куда он обязательно уедет, не просто в командировку, когда всякий раз к нему приставляли очередного жлоба, а совсем по-другому, навсегда, и там создаст на склоне лет театр будущего, завершив начатое еще в моло-

дости дело жизни. Каким будет этот театр, он плохо себе представлял, но мечтал его вывести на улицу (на тот же нью-йоркский Бродвей, по которому любил шататься, находясь в командировках), где его будущие персонажи, уличные бродяги и проститутки, под исполняемые оркестром гимны будут предаваться простым и естественным радостям жизни.

Когда-то, в палеозойскую эру, именно такой он мечтал показать горьковскую ночлежку, вкладывая свой собственный смысл в сатинские слова об уважении к Человеку, который, согласно Милию, в конце концов должен был избавиться от гнета цивилизации и сделаться самим собой. Только такой человек и будет великолепен, только он и зазвучит гордо. И потому, господа, долой декорации и прочие условности сцены, говорил себе, засыпая, Милий, долой театр четырех стен. Кстати, не в нем ли крылась вся закавыка Клары: ее ничтожество и бездарность на сцене — и ее воистину талант в жизни, в их с Милием жизни, по понедельникам и четвергам, в ее однокомнатном гнездышке на Ленинском проспекте, с красным фонарем над дверью, когда, облачив свое великолепно сохранившееся тело в коротенький халат (привезенный ей Милием из Японии), она распускала косу, превращалась в русалку и, отдаваясь ему в зеркале глазками, пыталась придумать новый способ любви. Милий не зря дорисовывал красный фонарь: она была блядью до мозга костей, и именно такая, порочная и наглая (на старости лет он не хотел лицемерить!), она восхищала Милия, такой, в сущности, и должна была стать исполняемая ею горьковская Настя. Да вот не стала! Почему не стала, ему было лень докапываться. С некоторых пор он уверовал в особое предназначение Клары, которая пробуждала в нем (да, да, он не станет лицемерить!) — пробуждала в нем ...вдохновение художника. Неважно, каким путем, важен результат. И

получалось, что она не только не вредила театру, но через его, Милия, вознесение, служила ему.

Правда, в труппе из-за нее едва не разразился скандал, и дело даже вынесли на профсоюзное вече, к которому у Милия давно выработалась стойкая идиосинкразия. Особенно разошлась одна рыжая бездарь из группы миманса, заявившая с трибуны, что теперь, видите ли, в стране демократия, и она выскажет все, что наболело на душе. А наболело у нее то, что из-за таких, как исполнительница роли Насти, настоящие актрисы годами не могут получить роли. Ах, как он не переваривал эту болтовню, из-за которой в пух и прах разваливалась держава! Он тогда поднялся и сказал, что само в жизни ничего не рождается и актерские таланты надо пестовать, даже у молодой Ольги Леонардовны Книппер были на сцене трудности. В конце концов этой бездарь из миманса удалось заткнуть рот — в инстанции, куда она продолжала писать, сидел его хороший знакомый. Но ведь была еще и сама Клара, которая вечно требовала, чтобы он воздавал ей за игру. Эти разговоры обычно начинались перед расставанием: забравшись с туфельками в кресло, она накручивала кончик косы на палец и не спускала с него своих чистых и наглых глаз:

— Подумать, какая душевная нещедлость! — восклицала она своим баском. — А еще называется, римский патриций. Говори сейчас же, Милий Арьевич, я ль на сцене всех милее, всех прекрасней и белее? — Он знал, что эта милая шутка могла в любой миг вылиться в истерику и, чтобы ее избежать, изо всех сил старался сохранить юмор:

— Ты прекрасна спору нет! Но...

— Что "но"? Что он хочет сказать этим "но"?

А то, что хоть она и прекрасна, но все же, как ни крути, а уступает Ольге Леонардовне Книппер. Впрочем, последней уступала и Алла Константиновна Тарасова...

— Ха-ха-ха! — раздраженно отбрасывала она косу за плечо. — Каждый кому-то в чем-то уступает. Вон, говорят, Ленин с Крупской вообще как муж с женой не жили! — Слова эти обычно приводили его в веселое расположение духа — в конце концов, женщине, помогавшей ему остаться бойцом и художником, он мог простить этот маленький цинизм.

И вот с этой эксцентричной, сумасшедшей Кларой он и испытал крушение, после которого ему, как когда-то Остапу Бендеру, надлежало переквалифицироваться в управдомы. Теперь, слава Богу, он в Америке, о которой никогда не переставал думать, хотя мечта о театре будущего как-то сама собой испарилась: какой уж тут театр! Зацепиться бы с помощью Жульена в каком-нибудь университете — и то благо.

Утром, изнемогший от дальнего перелета и нахлынувших впечатлений, Залевский долго не мог продрать глаза, но, прислушавшись к телефонному разговору в спальне, тотчас понял, что разговор о нем:

— Да, да, — кричал в трубку Жульен, — умоляю вас, профессор Подграбиничек, от имени всей России! Сделайте это, Розетта, для русского театра, которому он уже полвека бескорыстно служит. Любая тема: неизвестный Островский, неизвестный Мейерхольд, забытые пьесы, пропавшие тексты... А хотите о шахматах — он же мастер по шахматам, господа, это же не человек — это Брокгауз, Эфрон и Алехин вместе взятые.

"Ну что можно сказать? Гений..." — улыбнулся про себя Залевский.

— Уверяю, студенты будут счастливы! Нет бюджета? Боже, о чем вы говорите? Кому позвонить? Раввину Питтсбурга? Спасибо! Уже набираю номер.

В разговоре с раввином, который Милий услышал затем, голос Жульена стал торжественно тихим.

— Ах, дорогой рав Шмуклер, вся культурная Россия ходатайствует об этом гениальном еврее.

"Наполовину еврее!" — поправил его про себя Залевский: мать русская, и это может все испортить.

Что ответил рав Шмуклер, он услышать не мог, но голос из спальни делался все увереннее, переходя в победное оптимистическое крещендо.

— Так значит все будет сделано? Через пару недель? Ах, рав Шмуклер! После такого обещания мне хочется пасть перед вами на колени и всего расцеловать!

"Гений!" — теперь уже твердо решил Залевский, он представил Жульена стоящим на коленях перед бородатым равом Шмуклером и жарко целующим его в пейсы. Милий любил говорить, что по складу характера он оптимист, и находить в обстоятельствах доказательство своей правоты.

Затем последовал звонок какому-то неизвестному компьютерщику Мише, тоже другу Жульена и владельцу дома в Нью-Джерси.

— Понимаете, Мишенька, через пару недель знаменитый актер и режиссер отбывает в Питтсбург читать лекции, и на пару недель нужно пристанище, ровно на пару недель. Так я, Мишенька, на вас надеюсь, храни господи ваше доброе сердце, — закруглился Жульен и, войдя с торжествующим лицом в салон, объявил, что все устроено: самый кошерный раввин Америки лично обещал ему, что ровно через две недели Залевский начнет курс лекций на кафедре профессора Розетты Подграбиничек. А поскольку он, Жульен, улетит в Рио-де-Жанейро, за Миленьким в отель "Мортимер" придет один прелестный компьютерщик.

3

Так потекли первые дни его жизни в Нью-Йорке, впрочем, довольно лениво, словно драма Островского "Волки и овцы", которую когда-то поставил Милий: пьеса была конгениальна, но в последнем акте странным образом усыпляла сидящих в зале. И потому, пришпорив сюжет, опушу неделю, проведенную Залев-

ским у Жульена в "Мортимере", его воскресный обед у Машки в Лонг-Айленде (во время которого Карл называл ее "мамашкой", а она его "дедулей") и вечерний их совместно с Машкой и "дедулей" поход в ресторан, где все оплачивал Залевский. А назавтра новый ресторан, и еще, и еще. От красавицы Машки можно было рехнуться: во-первых, от ее роста, во-вторых, от ее наглости, и в-третьих... Третье было наиболее смущающим Милия, чего он и сам не мог сформулировать. И от греха подальше наступал на горло раздувшимся мыслям.

В упомянутую палеозойскую эру он любил приглашать всю компанию своих дам в "Арагви" — жену Алевтину и свою сорокалетнюю дочь Грету от первого брака, известную в Москве своей манерой менять мужей, любительницу цветов и матершинницу, но более всего обожал приглашать Машку, Гретину дочь от третьего брака. Он приводил их в специальную кабину, державшуюся в "Арагви" исключительно для высокого начальства, с которым Милий был на короткой ноге и из кабинета которого иногда звонил своим дамам, — и чаще всего опять же дуралейке Машке ("Ты, М-м-м-ашка, знаешь, где я? У Пантелеймона Романовича, министра культуры, он передает тебе приват и говорит, чтобы ты слушалась своего деда"), — так вот, кабинка держалась специально для Пантелеймона Романовича, но по дружбе и для Милия Арьевича, и приглашаемым туда членам их семей разрешалось заказывать все, что им заблагорассудится. То же правило действовало теперь в отношении Машки, она ни на минуту не сомневалась, что он, ее знаменитый дед Миля, миллионер, и, если бы кто-то вздумал ее разубедить, это был бы напрасный труд. Будто могла она себе представить, что в роскошных нью-йоркских ресторанах просаживал он не собственные миллионы, а средства военно-промышленного комплекса, — само название это могло бы вызвать у

нее лишь зевоту. Милий, был счастлив, глядя в сияющее Машкино лицо, когда, причмокивая и играя ямочками, она выбирала: "Вот это, Миля, и вон то, и вот это тоже, — все хочу!" И на исполненное уважения и обрядной торжественности лицо маленького Карла: вот что значит русские толстосумы, он-то, глава компании "Горящие огни Лонг-Айленда", такого себе позволить не мог!

Поздно вечером, усаживая молодых в машину, Милий говорил, что и за ним вот-вот приедет лимузин и увезет его ночевать к американским друзьям, президенту крупной компьютерной компании Нью-Йорка Майклу и его милой супруге Клэр, к слову, большим поклонникам русского театра.

"Ах, боже, ложь во спасение," — улыбался Милий и, спустившись в сабвей, отправлялся на метро в Джерси-Сити, к компьютерщику Мише и его молоденькой беременной жене Кларе, еще вчера скромной студентке пединститута из города Мелитополя. Перед расставанием Жульен его напутствовал: коли эта самая Кларочка узнает, что у нее такой гость, последнее с себя снимет, правда, что толку — она же беременная! Ну, а Кларочка? Могла ли она мечтать, что у них в гостях окажется такой важный человек, — это у нее-то, простой учительницы из семьи бухгалтера мелитопольского облпотребсоюза!

Что до Милия, то не успел он на нее бросить взгляд, как поймал себя на мысли о совпадениях жизни. Он давно заметил: люди рождаются парами — вот и на этот раз, ни единой общей черты, а такое сходство между обеими Кларочками — этой мелитопольской с ее короткой мальчишеской челкой и его, московской, с ее прелестной когда-то косой народовой.

Во-первых, обе обожали играть бедрами, это, по мнению Милия, в крови у прекрасной половины человечества (были бы только бедра!), но что он сразу понял: обе они — и Клара, и Кларочка — принадлежали к од-

ному и тому же женскому профсоюзу, названия которому он с помощью парламентских выражений никогда бы не взялся дать. Но членов-то его чувствовал. И еще как! Да весь его театр! Да пол-России! Такой мощнейший профсоюз, почище британских тред-юнионов. Вы еще не раз убедитесь, что у моего Милия и чутье, и чувство юмора, а пока представим, как каждое утро беременная Кларочка в бесшумных войлочных тапочках подплывала к лестнице, ведущей на мансарду, и тихонько окликала Залевского: "Милий Арьевич, пожалуйста кушать, что желаете? Геркулес? Творог?"

— Спасибо! — отвечивал сверху Залевский и с чарующей улыбкой на крупном лице римлянина спускался на кухню, к столу. — Ах, милая Клара! Он даже не помнит, когда жил такой райской жизнью. Творог? Да, это же его любимое кушанье! Зачем вообще эти разговоры о еде? Все пустое, ему лично ничего не надо. Никаких мяс-колбас! Немного салата да апельсинового соку стаканчик перед завтраком. — Я, Кларочка, вообще могу жить на одной гречневой каше! — расходился Милий. — Что мне, старику? Поставить раскладушку где-нибудь в уголке, неподалеку от ваших покоев. Утром просыпаюсь: где любезная моя хозяйка? На месте? На месте...

— Милий Арьевич, да вы что? В своем уме? А что мой муж Миша скажет?

— А что Миша скажет? Миша скажет, что Клара скажет.

Компьютерщик Миша был самым тихим из всех мужей, когда-либо встречавшихся Залевскому. О чем бы его ни спрашивали, он отвечал: "Знаете что? Обратитесь лучше к Кларе Наумовне!" А она, подвязав красный фартучек, крутилась вокруг кухонного стола, за которым завтракал Милий. Фартучек оттопыривался и открывал всяческие ее секреты. Ах, боже, где его ...надцать лет! — темпераментно погружал он ложку в

геркулесовую кашу и усмехался своим раздурившимся мыслям.

— Кларочка, вы верите в переселение душ?

— Милий Арьевич, кушайте! И перестаньте меня смущать!

Иногда от него следовала просьба сделать два-три звонка в Нью-Йорк. Он, конечно, расплатится. Телефон есть телефон, и никто ему не обязан.

— Ну кто считается, Милий Арьевич, не делайте меня нервнобольной, — говорила Клара, но, когда скрывалась на кухне, какая-то неведомая сила заставляла ее припадать пополневшей фигурой к двери и ждать минуты, когда он положит трубку. Не то что бы подсчитывала, во что обойдется звонок, просто заняться чем-то до конца его разговора была не в состоянии.

Ко дню отъезда Залевского она задумала вечеринку. Правда, по обстоятельствам, которые последуют ниже, отъезд был отложен, но ни хозяйка, ни компьютерщик Миша этого не подозревали и готовы были положить живот на алтарь этого события. Гвоздем программы должен был стать купленный по такому случаю зеркальный карп, подавать его предполагалось в запеченном виде.

— Вы любите живого карпа или нет? — ворковала хозяйка, и надо было видеть ее удивленные глаза, когда узнала, что Залевский этот сорт рыбы не ест.

— Милий Арьевич, опять меня делаете больной. Почему же, любопытно знать, вы не едите карпа?

— А потому, Кларочка, что от карпа мужчина может перестать быть мужчиной.

— Милий Арьевич, я вас умоляю, так дадим вам шпанской мушки!

Залевский внимательно посмотрел на нее.

— Что вы так на меня, Милий Арьевич, смотрите? Пожилая беременная женщина!

Но если бы он и захотел объяснить причину своей неприязни к карпу, то оказался бы не в состоянии. Не

смог бы — и все. Не пускаться же перед этой провинциальной Кларочкой в объяснения, что он, столичный интеллигент, верил во множество разных примет, ну в то, например, что его жена Алевтина, обожавшая гадать по руке, когда-то обнаружила на его ладони зловеще оборванную линию жизни. И тут я снова должен углубиться в прошлое моего героя, когда перед самым Машкиным отъездом бродила она с дедом по некогда прелестному Поленову: с незапамятных времен здесь был кооператив актеров, а в последние годы нагло селился чужой и заезжий люд. Все было готово к ее отлету в Америку, главным энтузиастом которого был Милий. Он говорил: рано или поздно уедем все, а начать решил с внучки, с этой длинной и бескомплексной балбески, окончившей английскую школу и чувствовавшей себя с младенчества американкой.

У гастронома увидели приткнувшуюся к стене странного вида гадалку, в панбархате, с наложенным на лицо пудом грима и с манерой держать себя, совершенно не присущей этой публике, а главное — в ней мелькнуло что-то поразительно знакомое Милию. О гадалке еще целая новелла, а пока о Машке, которая положила перед ней червонец и попросила сказать, что ее ждет в будущем. "Дальняя дорога и счастье в личной жизни!" — поиграла гадалка колодой, и Машка радостно захлопала в ладоши.

— А теперь, женщина, — что ждет моего кавалера?

— Этого, что ли? — с интересом оглядела гадалка Милия, и он чуть не вздрогнул, таким знакомым было лицо. — Тоже дальняя дорога! Только зря он животное погубил.

— Какое животное? — недоумевающе спросил Залевский.

— Сам знаешь какое! — сказала гадалка.

Уж не Марлена ли? Марлен был их семейный пес и беспросветный дурак, который хватал все подряд. Стянув с кухонной табуретки живого карпа, он подавился и в одночасье сдох. Рыбу нужно было убрать, а Милий,

придя из магазина, вывалил ее в таз и по рассеянности забыл на кухне.

— Животное-то от чего померло?

— А ты сама скажи отчего! — почувствовал раздражение Залевский, вспомнивший, как весь театр выражал ему сочувствие.

— Кость в горле застряла — вот отчего! А кто ее животному подложил? Ты! Смотри, как бы тебе самому такое не подсуропили! Карта, глянь, что говорит!

— И примешь ты смерть от коня своего! — рассмехался Залевский, но когда Алевтина купила карпа, есть его отказался и с тех пор не брал карпа в рот.

Глупого Марлена, конечно, жаль, охранял бы и по сей день их дачу. От всяких идиотов, вроде соседки Сельдереевой, сталинистки и комсомолки 20-х годов, неизвестно как залетевшей в их колхозный кооператив. Была она мужеподобна и Милию крайне не симпатична, со своим птичьим носом, огуречными грядками и кучей орденских планок на лацкане пиджака. За один ее облик считал он ее дурой и антисемиткой и все мог представить, кроме одного: что Сельдереева (ее отчество он тоже запомнил — Валентина Елизаровна) когда-нибудь переступит порог его дома, чтобы в порыве благодарности пожать ему руку. И, верно, не переступила бы, если бы не эпоха обвала и не его несчастная статья о Сталине, отданная в "Литературку". У статьи была своя предистория — она появилась из-за толстозадого милицейского капитана с нежным, как у девушки, лицом, задержавшего его в запретной зоне, возле Новодевичьего кладбища. С этого случая и начиналась другая реальность, за семью печатями запертая в душе Милия.

Заехав на своих стареньких "Жигулях" в зону и увидев милицейского капитана, он, разумеется, не предвидел хода событий. Капитан не спеша подошел, козырнул и, проверив права, стал его с таким интересом разглядывать, ровно был даже рад этой встрече.

— Что, штраф? — не выдержав взгляда, полез Милий за бумажником.

— Штраф? Да зачем же штраф, Милий Арьевич? — дружески улыбнулся капитан, придавив телом его "Жигуленка". — Нет, мы больше вас не штрафуем, мы даже сажать вас больше не будем. С вами все кончено! Ваш вопрос решен окончательно и бесповоротно. — И, улыбнувшись все той же пронзившей Залевского улыбкой, снова взял под козырек.

Если бы Милий мог его пристрелить, он бы это сделал или, по крайней мере, съездил по морде, да только как съездить-то из кабинки? Мерзавец так и не взял штрафа, чем его еще более унизил. И уж последняя подлость — не его, а Милия: он в конце поблагодарил капитана и даже из машины крикнул: "Спасибо за великодушие!". Хотел вскричать: "Фашист, мерзавец!", а крикнул: "Благодарю!". Правда, будто с сарказмом в голосе, как пытался себя убедить, но от этого был себе еще противнее.

Дома у него началась рвота, Алевтина была на даче, в Колхозе, и, еле выползши из туалета, он заказал такси и велел себя отвезти на Ленинский проспект, к Кларе.

Позже он и сам не мог восстановить последовательность событий: что было раньше — пил он с ней водку или эта его попытка в постели. Перед постелью хотел рассказать про капитана — испугался испортить настроение, но всякий раз, когда приближал ее тело к себе, капитан выплывал сам, его круглая бабья морда с фурункулом на кончике носа. Странно, но этот чирей он вспомнил, лишь улегшись с Кларой в постель. И начал вдруг из-за этого чирея нервничать, тщетно пытаясь совершить с ней то, что с истинно неземной легкостью совершал всегда. Обессилив, стал гладить ей грудь и бедра, а в глаза лез все тот же чирей...

С него и началась эта странная экстраполяция, когда перед глазами Милия ни с того ни с сего вылезла бе-

лая задница капитана, будто высмотренная им под галифе, но это еще куда ни шло!

За задницей... — Милий отказывался верить глазам! ... — за задницей, словно гоголевский нос, вылез из небытия стоящий член капитана, совершенно натуральный и такой же наглый, как его хозяин. Милий приподнялся, налил себе в стакан коньяку, от которого стало вовсе муторно, и снова лег...

— Милий Арьевич! Да где ж ты, Милий Арьевич? — шутила из последних сил Клара. Но, почувствовав бессилие Милия, стала молча перебирать пальцами по его потному телу, уговаривая поспать. Пусть не мучается, все будет утром. Но это было уже делом принципа. Если не сейчас, то не будет и утром! "Где гарантия?! — вскричал он. — Это все ты! Ты! Зачем напоила? Говори!". Он с яростью выругался и, заломив ей руки, повалил на спину. Ах, если бы не ее куриные мозги! Если бы да кабы... В ее глазах был испуг: "Милий Арьевич! А мне, между прочим, б-о-о-льно!" — Он обмяк и отчетливо понял, что теперь уж точно ничего не выйдет.

Как бы хотел он в эту несчастную минуту, чтобы она исчезла, сгинула, немедленно, навсегда! Но все шло своим чередом, и, когда утром он появился в Поленове, началась новая пытка: сцена ревности, устроенная его женой Алевтиной. В конце концов, он скрылся от нее в кабинете: надо было что-то срочно предпринять. И под Алевтиныны крики, не смолкаемые за стеной, взялся за эту несчастную статью. Позже о ней говорили как об акте вероломства и предательства — де, душевную низость не дано скрыть никому. Самое интересное, что о Сталине он и не собирался писать, Сталин выплыл сам по себе, независимо от желания Милия. И даже не упомянул о капитане. Не в нем было дело, а в том, что человечество гниет и катится под откос и никакая червивая демократия его не спасет. Перед его глазами вдруг замаячила бездарь из группы

миманса, которая, взобравшись на трибуну, кричала, что нынче пришла новая эпоха, и требовала, чтобы он выгнал Клару. Так происходило всюду: безответственная болтовня и матерая оголтелость, отчего и шло все под откос. Необходим прорыв в завтрашний день, к другой цивилизации, когда бы человек стал спокоен за свою судьбу, необходим гений порядка и решительности, способный мощным своим сапогом придавить червей, болтунов и растленцев и отбросить их в сточную яму истории: таким гением и титаном был И.В. Сталин.

Сталина он видел один раз в жизни, в день его семидесятилетия, когда зал его сравнивал с Богом; тогда его поразил рост Сталина, совсем маленький, как у подростка, и маленькая — с кулачок — голова, украшенная фуражкой генералиссимуса. Зал в упоении сходил с ума, а Милий, видно, сбрендивши, стал выделять в голове всякие шутовские сценки, — и с кем? Со светочем всех времен и народов! То светоч на Мавзолее, но не в шинели, а в исподнем, и сухонькой полиомиелитовой ручкой приветствует колонны демонстрантов на Красной площади; то светоч в синих москвошвеевских трусах — волосатый гномик, припавший губами к груди красавицы Аллилуевой; то сидящий голым задом на толчке и издающий на всю ивановскую неприличные звуки... Какую бы ему уготовили казнь, если бы он поставил этот спектакль! Но, с другой стороны, в этом его росточке и уродстве был величайший обман природы, такой же, как с Наполеоном, над ростом которого когда-то потешалась Европа. Как он это отчетливо понимал, эту диалектику жизни, ее форму и суть! Какая разница, как выглядит гений, бросающий вызов времени? Обо всем этом и думал Залевский, садясь за статью. — Да, да, уродец-Сталин был воистину велик, а красавец-капитан с его блудливым членом — мелкий, ничтожный хулиган, черная саранча, расплодившаяся по всей Руси великой.

К счастью, статья нигде не пошла. Милию позвонил редактор "Литературки" и, тяжело дыша от волнения на другом конце провода, заговорил: "Милий Арьевич! Мне дали почитать вашу статью, Милий Арьевич! Ну что вам сказать, Милий Арьевич?..", на что Милий смущенно ответил:

— А я ее, того... и не собирался печатать, это я так, чтобы просто почитали.

Он бы отдал полжизни, чтобы статью вернуть, но она угодила в Самиздат, откуда еще ни один материал автору не возвращался.

Перед отъездом из "Мортимера" он решил прочитать статью Жульену. И когда закончил, волнуясь, спросил: "Это ст-т-т-рашно, что я написал, да? Но такова реальность... В-в-великий обвал... И я больше там не могу... Я боюсь... Ты знаешь, какое это могучее чувство — страх!"

В ответ Жульен, который, поглаживая кепку, глядел куда-то вверх Милия, восторженно и торжественно, словно приговор, произнес, что совесть ему велит встать и съездить Милию по морде. А ум подсказывает расцеловать его. За откровенность. За способность обнажать душу в момент, когда она обливается кровью.

Перед расставанием они расцеловались, а прибыв к Мише-компьютерщику, Милий обнаружил в сумке два гигантских апельсина, те самые, что он видел в салоне люкса, рядом с бутылкой "Боржоми". И еще была записка: "Милька, я люблю тебя!"

Вскоре после разговора с редактором "Литературки" Залевский отправился по делам в министерство. В душе опасался всяких встреч, но, как обычно, все были озабочены и раздражены. Над входом в кабинет к министру висело объявление, что на предстоящий месяц приемы отменяются, поскольку денег в министерстве нет. Единственно, кто нарушил молчание, был будущий главреж, а тогда еще начальство Милия — Борис Львович Костянецкий. Они вместе оказались в

уборной и, когда отошли от писсуаров, Костянецкий словно бы невзначай бросил:

— Ты что, Милий, уезжать решил?

— Что?! — вспылil Залевский. — А по какому, собственно, праву делают подобные предположения? Он никому не позволит так с собой разговаривать. Вы слышите, никому! — перешел он почти на крик, чем привел собеседника в крайнюю степень недоумения, но сам остался весьма доволен собой и даже с удовольствием подумал: "Есть, Миленский, еще порох в пороховнице!"

Сразила его эта сталинская фурия Сельдереева с орденскими колодками, пришедшая позвать ему руку. "Если такой человек, как вы, за Него, значит, ихнее дело плохо!" — сказала она, а Залевский ответил, что он, к сожалению, занят и проводил ее до двери. Вот какие теперь у него союзники: удар последовал откуда, откуда Милий его меньше всего ждал.

Но когда его приятель, поэт и предсовмина автономной республики, сказал, что военно-промышленный комплекс имеет возможность послать его в США, он заколебался: "Право же, не совсем удобно, какое он имеет отношение к военно-промышленному комплексу?". "Какое отношение? Ты Родину любишь? Ясно, любишь, значит, и отношение самое прямое!" — последовал ответ. И Милий подумал: чему быть, того не миновать. Вот только Грета, его заблудшая дочь, вылитая Машка во взрослом "исполнении", запутавшись в своих семейных делах, не желала ни о чем думать. ("Этот вариант, ебена мать, не для нее!"). Эпоха великого обвала словно бы не коснулась ее. Она меняла мужей и служила в одном из ведущих московских издательств. Было в нем с полдюжины таких же, как она, старших редакторш, давно переваливших за бальзаковский возраст. Все они устали от политики, от наглых и бесперспективных мужиков и были озабочены лишь тем, как раздобыть валюту и слетать на

месяц-другой в Париж или в Штаты. Таким было среднее поколение его женщин. Старшее, то есть жена Алевтина, еще в незапамятные времена оставившая сцену, была воплощением непоколебимых семейных начал: у нее был добрый и прокуренный мужской бас, которым она с утра до вечера — с сигаретой и чашечкой кофе в руке — болтала по телефону с приятельницами. Жизнь ее интеллекта начиналась вечерами, когда она, засунув в сумку общую тетрадь, отправлялась на трех видах транспорта в Политехнический музей, где у нее имелись абонементы на лекции. В год его отъезда это были лекции по буддизму, незадолго перед этим она прослушала курс по исламу.

Балбеска-Машка, младшее поколение, первая бросила этой жизни вызов. Впрочем, по инициативе Милия. Она была его воплощенной в реальность мечтой, и за одно это он боготворил ее.

А с Klarой перед отъездом он все-таки увиделся, один-единственный раз, для нее в жизни Милия теперь просто не оставалось места. К тому же он боялся повторения той несчастной ночи. Второго раза после двух инфарктов ему уже не вынести. Они сидели в подвале ЦДРИ, и она, как всегда, вызываяще играя бедрами, отправилась в туалет (овеваемый клубами дыма ЦДРИ давно превратился в пьяный шалман), а когда возвращалась, он украдкой взглянул на нее и понял, что это уже совсем не та Клара. То, что она виляла задом, имело значение лишь историческое — как безотказный прием молодости, который давно уже не работает. Странно, что он этого не обнаружил в ту их последнюю ночь.

Косу она давно остригла, и лик ее украшал безвкусный и неведомо когда сделанный перманент — к столу приближалась сильно располневшая и уже в возрасте еврейка, страдающая от базедовой болезни и наложившая на себя тонны грима. Он со злорадством подумал, что ее песенка тоже спета и после его отъез-

да никто ей никакой роли не даст, если даже она и отправится в постель с новым главрежем Борисом Львовичем Костянецким, их добрым гением из главка, с которым он неизвестно из-за чего схватился в министерской уборной.

4

К карпу Милий так и не притронулся и ночью после вечеринки не сомкнул глаз. Во-первых, ему не давала покоя Кларочка — не та, московская, которую он все реже вспоминал, а эта новая, которой вдруг захотелось ему подсыпать шпанской мушки. Его изводила собственная фантазия, рисовавшая во всяких позах эту беременную толстушку, как будто в ту печальную ночь ничего и не случилось с его эзотерическим братом. Но у бессоницы была и другая причина — утром должна была позвонить профессор Подграбничек и сообщить, какого числа ему начинать курс. Весь день Милий кружил вокруг телефона — звонка от профессорши не последовало, а когда, заподозрив недоброе, он позвонил сам, та, к его удивлению, была настроена в высшей степени оптимистично: университет его примет хоть завтра, и еще почтет за честь, дело только за раввином, который никогда ничего не забывал, но напоминать ему при его страшной занятости было бы неэтично. Если рав Шмуклер молчит, значит, есть причина. О да, конечно, Милий и не претендует на время раввина! Профессор Подграбничек его просто не поняла...

Но что-то надо было предпринимать, пошел второй месяц, как он живет в этом доме! И Милий стал называть Кастангову, они никогда не виделись, но как-то само собой стал он душеприказчиком Милия по делам трудоустройства. В кресло против телефона присела Клара и спросила: "Милий Арьевич, не помешаю? Я, знаете, обожаю наш салон, такие виды из окна и воздух!" Теперь, куда бы он ни звонил, напротив

присаживалась Клара и не спускала с него своих чудных голубых глаз, пока он не вешал трубку. Раз, закончив разговор, он подошел к ней сам и, прижавшись щетиной к ее щеке, поцеловал. Клара не сопротивлялась, но воскликнула: "Ах, Милий Арьевич, как вам не стыдно!" И затем, обмякши, тихо спросила: а что, на сегодня все? Или он собирается звонить куда-то еще?

— А вам, Кларочка, это на что?

— А ни на что, Милий Арьевич, голос ваш нравится!

Прошла еще неделя, и Кастангов, узнав, что у Залевского ничего не продвигается, потерял терпение.

— Послушайте, адмирал, сколько это может продолжаться? Пусть этот раввин говорит "да или нет", я немедленно им звоню, я-то умею разговаривать с этой публикой!

Опять эта параноя с адмиралом? Впрочем, какая разница, если Кастангов так рвется за него в бой. Боя, однако, не случилось. Набрав нужный номер, Кастангов услышал долгие гудки, которые, впрочем, ничуть не смутили его, — в офисе питтсбургского раввина и не должны сразу брать трубку. Затем он услышал изумительно нежный женский голос, принадлежавший, по видимому, раввинше, которая сказала, что по поручению еврейской общины города Питтсбурга она рада поздравить Кастангова с "Элулом", то есть с пять тысяч семьсот пятьдесят вторым еврейским новым годом, после чего сообщила, что рав Шмуклер с семьей вылетел на праздник Рош Ашана в Иерусалим и обратно вернется через месяц. Далее ему предлагалось оставить свой телефон, чтобы по возвращении рав Шмуклер имел возможность ему отзвонить.

Когда Кастангов докладывал об этом Милию, Кларочка сидела на параллельном проводе. "Какие все-таки бывают необязательные люди! Этот раввин вызвал у нее буквально нервный тик. Кстати, она и сама знакома с ним, с тех пор, когда после Мелитополя они оказались в Питтсбурге. И даже перезванивались с этим равом Шмуклером (Кларочка, Кларочка, айдыше

девочка, какой у вас дивный голос!) — никогда в жизни от него такого не ждала! И, как назло, Милий Арьевич, мы на днях ждем гостей!"

— Клара, о ком вы? Обо мне? — вскинул брови Залевский. — Да я сам чувствую: пора подбивать бабки. Есть еще какие-то возможности, но раз не судьба — так не судьба. Придется уезжать.

— Куда хотите уезжать, Милий Арьевич?

— Как куда? На родину!

— А я, Милий Арьевич? Меня бросаете?

— Да нет же, могу и остаться, — припал он губами к ее руке.

— Ах, Милий Арьевич, если бы...

Это уже вечером, приняв душ и облачившись в халат, он отрежиссировал эту пьеску на два лица: он и беременная Кларочка. И, как всегда, не сдерживал всплеска фантазии, хотя происходящее в пьесе ничуть не вытекало из реальности, скорее напротив: утром, когда в кухне завтракали, она сказала, что на днях приезжают к ним из Мелитополя родственники, так что до пятницы Милий Арьевич может оставаться, но потом они с Мишей должны извиниться: в субботу как раз и прибывают. Право же, неудобно, но такова се ля ви, Милий Арьевич! К великому сожалению! И, потянувшись через его плечо за тарелкой, воскликнула: "Ой, Милий Арьевич, зацепилась за что-то! Что это у вас колется? Смотрите у меня!" — погрозила ему пальцем и покраснела до ушей, — словом, разыгрывала фарс, на что была большая мастерица. Этот самый фарс и подвигнул Милия на взлет фантазии, успокоив которую он вернулся к реальности. Положение-то было хуже губернаторского: какая еще там Родина?! Никуда он не уедет, лучше смерть, чем назад во тьму! Но вот ведь незадача — ему, бывшему главрежу, бывшему лауреату и народному артисту, после того как отказали от дома, в сущности, некуда деваться. Как дивно было еще месяц назад, когда летел из Москвы в Нью-Йорк и сквозь

гул моторов уже слышал биение жар-птицы. Это был прорыв в Космос. Всю свою жизнь, начиная со дня, когда его растоптали за горьковское "На дне", был он рабом условностей и авторитетов, рабом всех этих горьких, охлопковых, корнейчуков, рубенов симоновых, рабом соцреализма и перестройки, — всю жизнь ему диктовали, как делать искусство. И вот теперь, когда на старости лет вырвался из цепей, не ведает он, куда приткнуться свое брненное тело. Такая вот ирония судьбы! А много ли ему в жизни нужно? — снова завертелся вопрос, на который всегда был готов ответ: угол и раскладушка, ну еще чашка геркулеса на завтрак... В этом беспорядочном рое мыслей, нахлынувшем в то же утро, и пришли на память Эрлихи, родственники по линии давно почившего отца, Ария Самойловича Залевского. Были, по данным Милия, у него два кузена, Норман и Милтон, известные нью-йоркские интеллектуалы, и еще их дядя, Аба Эрлих, владелец крупнейшей фармацевтической фирмы "Эрлих энд Эрлих". Про этого пораженный Кастангов воскликнул: "Послушайте, адмирал, да это один из десяти крупнейших воротил Америки!" Вот бы и поселиться в доме у этого Абы и вечерами за рюмкой брэнди вести разговоры о первоосновах жизни, о Платоне, об Аристофане и Лонгфелло. И кто знает (он никогда не терял веры в чудо), возможно, появится рядом с ним какое-нибудь прелестное существо, способное украсить ему последние годы, — фантазия взмыла в небеса, но, как это часто бывает, жизнь ей тотчас подрезала крылья.

Договорились, что на мультимиллионера Эрлиха будет выходить Кастангов, и тот, не любящий ничего откладывать, тотчас позвонил: секретарша стальным голосом Эльзы Кох сообщила, что мистер Авраам Эрлих-старший уже третий месяц разъезжает по делам своего фармацевтического бизнеса и где он сейчас, никому не известно, скорее всего, в Скандинавской Европе, но не исключено, что в Латинской Америке. Что

же до кузенов Нормана и Милтона, известных издателей-интеллектуалов из нью-йоркского Сохо, то выплыло здесь и вовсе странное обстоятельство: телефон Эрлихов-младших, найденный Кастанговым в справочнике, по неизвестным причинам был временно отключен.

Словом, если сократить рассказ, вечер следующего дня мой гений встретил на Брайтон-Бич, в квартире студента-дантиста Лелика, теща которого была соседкой все того же Кастангова. Лелик сказал, что сдает экзамены и проводит все дни и ночи в колледже, так что Милий Арьевич сможет жить в его квартире хоть до окончания века.

Было это в пятницу, когда изгнанник Милий, уже обретший новую обитель, по обыкновению, облекшись после душа в халат, бросил на себя взгляд в зеркало, на него смотрел все тот же патриций, что и в "Мортимере", с седой волосатой грудью, но и со следами усталости, с мешками под глазами, впрочем, они нисколько не портили лица пожилого римлянина. Он еще раз бросил на себя взгляд и, откинувшись на спинку кресла, набрал Машкин номер, чтобы рассказать ей о переменах: на этот раз его пригласил один из преуспевающих бруклинских дантистов, среди пациентов его — весь цвет Нью-Йорка, включая даже их с Машкой родственников Нормана и Милтона Эрлихов.

— Миля, ну это же чудненько, — словно ожидала этого сообщения Машка, — дедуле как раз нужно переделать мост, если бы ты видел, как он шамкает, а наш дантист просит с нас три тысячи долларов. Факен мен! Потом стала жаловаться на клиентов "Ностальгии", от которых больше доллара не дождешься, и на цены в "Блюмендэйле" — ни к чему не подступишься! А когда перебрали все темы, вдруг вспомнила о романе. "Ах, Миля, как хочется влюбиться!" Она сейчас же прочитает ему новую главу. Залевский запротестовал:

нет, нет, по чужому телефону? Они и так долго говорят, Володя-дантист был к нему так добр!

— О, бой, какой церемонный! Да будет ему известно, что за звонки внутри Нью-Йорка денег платить не надо. "Милечка, хани, я же все-таки женщина, — одну-единственную главку!"

Как он и ожидал, это была подлинно рыцарская баллада. Хотя и с некоторыми для него неожиданностями. Начались они в главе о главной героине — голубоглазой Сабине, восемнадцатилетней продавщице из Мэссиса, волей случая оказавшейся замужем за дряхлым и мерзким старцем.

— Понимаешь, Миля, — прервала она чтение, — она женщина, ей хочется одеться, чем-то себя порадовать, а он не успевает продрать глаза, как достает свой факен кондуит и начинает считать. Да, да, она не хочет эту грязь даже включать в роман. Слава богу, они нашли с Алексом студию, раньше у него квартира была, где встречались, в центре Манхэттена, но он разорился, нечем стало платить.

— Кто разорился? — прервал этот поток Милий.

— Кто разорился? Твой факен Пушкин! Ты что, только родился? Не слышал про сток-маркет? В общем слушай, глава 26, называется "Рио-де-Жанейро" — это куда они бежали от этого гада.

— А что же с квартирой, где встречались? — закралось к нему подозрение.

— Кто встречался?

— Н-н-ну, этот самый Алекс со своей Собиной!

— Какая, Миля, пошлость?! При чем тут квартира, если это роман о любви? Слышал? — "Ай лав ю!" "Ай лав ю, хани!" — воскликнула Машка и, прошелестев в трубку страницей, принялась за чтение главы о Рио-де-Жанейро. Туда тайно бежали влюбленные, и этот мерзкий шейлок послал своего лойера, чтобы живую или мертвую Сабину вернуть. Лойер нанял частных детективов, они пытались Сабину выкрасть, но за все под-

лости его наказал Бог — по дороге к своему любовнику Родриго (лойер был гей) мерзавец погиб в автомобильной катастрофе. Глава затягивалась, и, улучив момент, Милий предложил дочитать ее в следующий раз: в любую минуту может позвонить Лелик!

— Неужели, Миля, этот факен дантист тебе дороже внучки! — обиделась Машка и продолжила чтение.

Залевский как в воду глядел. Лелик, решивший узнать, как устроился гость, все утро не мог пробиться в собственную квартиру. И почувствовав, во что ему обойдется великодушие, был на этот раз краток и деловит: теща решила срочно перебраться к нему, на Брайтон-Бич. Он очень сожалеет, но Милию Арьевичу придется не позднее вечера выехать.

И снова неизвестно, что случилось бы с Милием, если бы в тот же день не произошли другие, совершенно непредвиденные события. Началось с того, что после разговора с Машкой он, голодный и погруженный во всякие предчувствия, спустился на улицу, чтобы перекусить. Перешел на другую сторону и увидел над дверью вывеску, на которой по-русски было написано "Ресторан "Тбилисо". Зал был совершенно пуст, единственно, кого увидел, был могучий, в гигантском черном кепи грузин, который за обе щеки уписывал дымящееся харчо из пластмассовой миски.

— Приятного аппетита! — сказал Милий.

— Фенкью! — оторвался от харчо грузин и взглянул на Залевского. — Слушай, какое знакомое лицо, вы случайно не родственник Моисея Рагинского, нашего знаменитого поэта-сатирика? Не знаете Моисея? Да его даже мэр Коч знает! Но где я вас, слушай, видел? В "Арарате" бываете?". И когда Милий представился, отставил в сторону харчо:

— Князь Зураб Мамаладзе, хозяин этого заведения и тбилисский бизнесмен. Всех там знал, включая супругу товарища Шеварднадзе. Слушайте, прирежьте меня, но я вас где-то видел. Постойте, постойте, вы по

советскому телевидению не выступали — в новогоднюю ночь, по программе "Добрый вечер, Москва"? Отличная программа. Не то что здесь — одна реклама да голые жопы! Скажу откровенно, за американский народ, слушай, обидно, большего этот народ заслуживает. Вообще, если что нужно, всегда пожалуйста, Вы же знаете, что такое душа грузина! А если окажете нам с царицей Тамарой честь и переберетесь пожить, то станете самым дорогим гостем".

Итак, судьба снова оказалась милостива к Милию. Лишившись крова, он мог со спокойной душой отправиться к своему новому знакомому Зурабу Мамаладзе. На Брайтон-Бич уже спускался вечер, когда, оставив в гардеробе чемоданы, они вошли в горящий сотнями огней зал. Праздновали еврейскую пасху, и шел повсюду пир, но особенно Милия поразили лица. В каких только ресторанах мира он ни бывал! От Хельсинки до Сингапура! Но никогда в жизни еще не видел такой массы счастливых людей, предававшихся трапезе столь увлеченно, что, пока они с Зурабом шествовали по залу, никто и глазом не повел в их сторону. За поджидавшим их столиком два места уже были заняты: сверкавшая с ног до головы золотом и бижутерией толстуха гигантских габаритов и рядом совершенно юная пышечка, в жокейском карнавальном пиджачке, с мощными под пиджачком грудями. Обе, искусно орудуя приборами, вдохновенно и шумно разделявали только что приплывшую утку и, увидев Милия, словно по команде оглядели его с ног до головы.

— Здравствуйте, девушки, — сказал Зураб и церемонно, словно важной птице, поцеловал толстухе руку, после чего поднялся из-за стола и, обращаясь к залу, сказал, что хочет поднять тост за дорогого московского гостя и знаменитого советского режиссера господина Залевского Милия Андреевича. Милий хотел поправить — не Андреевича, а Арьевича, но не успел. Сидящие по правую руку от него толстуха и пышечка

решительно захлопали ему в лицо, и он, ощутив острое желание расслабиться и забыться, опрокинул в себя полный бокал водки.

— Да, господа, — продолжал Зураб. — Две тысячи лет народ наш вырывался из лап фараона и, обретая свободу, приветствует на американской земле одного из своих сынов. Откровенно говоря, нам, жителям Брайтон-Бич, выпала большая честь: нашего дорогого лауреата знает весь мир, а это не шутка, дорогие товарищи, — как истый оратор, перед тем как сказать главное, Зураб выдержал паузу. — И потому я думаю так, друзья: а не пришло ли время и нам с вами, вот здесь на Брайтоне, на берегу самого светлого моря, открыть свой русский драматический театр? Вот так, господа, отсель грозить мы будем шведу! — набрав воздуха, воскликнул он, прерванный жидкими аплодисментами. Все были заняты. Пушки палили шампанским. По залу плыл звон, и склонившись над кушаньями, которых все прибывало, вдохновенно, в десятки ртов, работали живые гаргантюа и Пантагрюэли. Боже, как все естественно и просто! — встретился Милий взглядом с пышечкой, которая, отложив приборы, обеими руками расправлялась все с той же жареной уткой. — Что наша жизнь? Одни лишь условности, и от них, запутавшись в трех соснах, корежится человечество! А ведь человек рожден для любви и счастья, вино любви недаром нам на счастье дано... — снова поймал взгляд соседки Милий.

— Товарищ Залевский, дорогой, — все еще не мог закруглиться Зураб, — один час ты в нашем кругу, а как будто всю жизнь! — Он хотел сказать что-то еще, но его опередил взлохмаченный, в подтяжках напекрест маленький крепыш, встреченный бурными аплодисментами зала.

"Поэт Моисей Рагинский, большой шалун!" — пояснил ему на ухо Зураб. Сильным взмахом головы

крепыш отбросил назад густую копну волос и выразительно посмотрел на Милия:

— Люди знают честное и неподкупное перо Моисея. И театр, господа, — это, конечно, прекрасно, но наш дорогой гость — живой человек, и как говорят в Одессе, ему тоже хочется кушать и не только, понимаете, хлеб, но и зернистую икру из магазина "Интернейшнел фуд". Вот она, владыка мира! — вскинул он в воздух стоящую перед ним баночку икры и, повернувшись к Милию, торжественно, нараспев, продекламировал:

— О знак судьбы, в восторге млея,
Дарю тебе перо Моисея!
Пошли нам, Милий, Мельпомену,
А мы тебе — в любви признание.
Нет больше радости, поверьте,
И в дополнение к любви — чекец приличный в
розовом конверте!

Он подошел к Залевскому и, показав из кармана пиджака кончик конверта, низко поклонился ему в пояс. Милий, прижав ладони к груди, тоже ему поклонился. "Чек — это совсем неплохо! От денег военно-промышленного комплекса остались рожки да ножки". И, широко раскинув руки, погрузил Моисея в объятия. Одну минутку, господа, у него, старого российского актера, тоже есть пара слов. И первое слово о нашем скромном брайтонском поэте! Именно так, полагаю, начинал будущий Лонгфелло. ("А все же любопытно, на какую сумму чек!" — поймал себя на нехорошем чувстве Милий, чье красноречие явно иссякало).

— Не считите, Моисей, за лесть, но я продолжу мысль дорогого Зураба, — раскачивался он над столиком. — Да, две тысячи лет скитаний, ни много ни мало, и в день этого светлого праздника мы обязаны вспомнить нашего великого пророка, Моисея, который вывел наш народ из плена египетского.

— Правильно! — поддержал голос из зала.

— Как режиссер, я хорошо все это вижу, пустыню, бредущую усталую толпу людей, а впереди, а впереди, друзья мои, идет пророк... — торжественно улыбнулся Милий и перевел взгляд на Рагинского, — ... пророк с лицом, чем-то похожим на лик нашего уважаемого поэта... Моисея... Моисея... простите, не знаю, как вас по батюшке, Рагинский...

— Иванович! — крикнул из зала тот же голос.

Зал грохнул.

— И все же, дорогой Моисей Батькович, с одним вашим пунктом я категорически не согласен.

— Стихами! — снова напомнил о себе голос.

— Стихами? — улыбнулся Милий, — хорошо!

Когда-то на студенческих капустниках он молниеносно сочинял экспромты. На мгновение замерев, он торжественным, качаловским, в три октавы голосом, стал декламировать:

— Спасибо, друг любезный, за стих, прочитанный тобой,

За сердца доброту, что вывела народ наш из плена египтян,

За чек, подписанный мне щедрою рукой...

— Бра-во! — снова выкрикнул мерзкий голос.

"Что я мелю? — подумал Милий. — А, ничего! Все складывается не так уж плохо! Когда я пьян, мне все нравится, даже этот пророк в подтяжках!" — повернулся он снова всем туловищем к Рагинскому:

— Но верь, поэт, не нужно мне ни денег, ни икры,

А нужен мне лишь маленький топчан.

Чтоб мог у сцены я его поставить

И душу, друг сердешный, тут оставить!

— Да, друзья, это так! — послал Милий в зал воздушный поцелуй и, не удержавшись, взглянул на конверт, торчащий из кармана Моисея.

— Чего так смотрите, Милий Арьевич? — загадочно улыбнулся Моисей. — Просите топчанчик — получите

топчанчик, а чек... А чек, товарищ Залевский, отдадим пенсионерам.

Он расхохотался и, распахнув перед глазами Милия пустой конверт, дружески похлопал Залевского по плечу:

— Чего-чего, и сердце, и душа, и вызволим из плена египтян, но юмор, друг сердешный, тоже надо понимать, что цента у Лонгфелло не занять! В этой стране, друг сердешный, чтоб получить башли, надо ого-го-го!

Но что все-таки необходимо, чтобы заработать, он так и не успел объяснить.

— Эмиль Андрейч, — услышал Милий из-за спины, — а правда, что вас пригласил в Америку президент Буш, чтобы русский театр создавали?

— Рейган! — неожиданно вырос из небытия обладатель мерзкого голоса.

— Чей-то Рейган? Рейган в отставке!

— Вот как раз ему и не хера делать.

— Эмилий Андрианович, — увидел вдруг Милий своих соседок по столу — увешанную золотом толстуху и жавшуюся к ней пышечку с мощными грудями, — Вы не послушаете нашу Джессику, если бы вы знали, какие она пишет стихи!

— Тетя Фира, я краснею, — потупила взгляд Джессика и испуганно заозиралась по сторонам.

— Джаз, господа! — раздался со сцены голос конферансье. — Прошу вас, еврейская народная песня "Аидыше мама!" Хозяйка "Интернейшенел фуд" всеми уважаемая Эсфирь Соломоновна поздравляет племянку Джессику с пятнадцатилетием и дарит ей этот музыкальный сувенир.

"Господи, как славно!" — подумал пьяный Залевский и, встретив многозначительный взгляд Эсфирь Соломоновны, пригласил Джессику танцевать. Она покорно сунула ему в руку свою мокрую ладошку и, устремившись в его объятия, выдернула из рукава платочек: "Только чур не прижиматься, о'кей?"

— Господа! Кто хочет пожертвовать на русский театр, записывайтесь у меня! — услышал он голос со сцены, возвращая горящую от счастья Джессику Эсфири Соломоновне. У говорившего был кавказский акцент. — Двадцать тысяч долларов, кто больше, господа, на русскую культуру! — Эсфирь Соломоновна и жмущаяся к ней Джессика снова выросли перед ним: "Так я на вас надеюсь, Эмиль Андрианович!". "Я тоже!" — на прощанье подала ему ладошку Джессика (такой чудный басок, как когда-то у молоденькой Клары!). Обхватив обеими руками ее ладошку, он приблизил пылающую Джессику к себе: "Нет, нет, в другой раз, о'кей? Когда почитаем стихи!" — рванулась она к Эсфирь Соломоновне и, обернувшись, помахала ему платочком.

После ресторана Зураб привел Милия к себе — в доме, расположенном по соседству, было душно, пахло всякими вкусными вещами и все на свете скрипело. Включив огромную, в полсалона люстру, хозяин сказал, что гость может чувствовать себя, как дома. "Хочешь телевизор, Милий Андреевич, — слушай телевизор. Хочешь рассола — налей рассола", — кивнул он на банку маринованных огурцов. Над огурцами вилось густое облако мух, а над раскладушкой красовалась цветная фотография Зурабовой царицы Тамары в годы юности. Фотограф запечатлел ее во весь рост, она грудью шла на Милия с улыбкой победительницы, держа в одной руке топор, в другой — за шкуру только что зарезанного барашка: "Были и мы, слушай, когда-то рысаками!" — засмеялся Зураб, поглаживая крупного, похожего на теленка пса, лениво съехавшего с кожаного дивана.

— Джеки, не обижай гостя! О кей, Джеки, гуд герл! — спяну Залевский не сообразил, что Джеки — женщина и к тому же в положении, отчего и была невообразимым гигантом. ("Как занятно, — подумал Милий, — кругом беременные!"). — Слышь, Джеки, придется тебе уступить свое место гостю Милию

Андреевичу, о'кей? Скоро у нас будут с тобой детки, гуд герл!

Оставшись один, Милий, сняв с себя театральные лодочки, от которых гудели ноги, бросил взгляд на исполненную восточного блеска царицу Тамару. Он представил, как она каждую ночь ждет своего Зураба (в грузинках столько огня!), и, растянувшись на перине, обессиленный, провалился в сон.

Ночью ему почудилось, что он скатывается на пол: большую часть кровати занимала бесформенная, скользкая туша, усыпанная острыми, как иглы, волосками и не дававшая Милию пошевелиться. Последнее, что у него осталось в памяти, была роскошная грудь царицы Тамары. И он никак не мог взять в толк, откуда взялась эта мерзкая громадина, пока туша не фыркнула. Милий понял, что это беременная Джекки. Он принялся ее stalkивать, Джекки не сопротивлялась, но и не сдвигалась с места. Только когда поединок, видимо, наскучил ей, она, презрительно смазав Милия хвостом по лицу, всей тушей сползла на пол. Где-то в углу скреблась мышь, где-то в трубах фонтаном бил кипяток, отчего в комнате стало нестерпимо душно, и Милий в одних трусах и в тех же лаковых лодочках заставил себя выйти на воздух. Очень близко, почти над головой, прогрохотал сабвей, голова трещала, но на душе неожиданно стало легче, и эта вдруг возникшая в нем легкость странным образом была связана с тем, что произошло вчера. Жаль, он не запомнил, что было в самом конце, после того как кавказец пожертвовал на театр двадцать тысяч. Он даже не запомнил его лица: "Двадцать тысяч на пьесу о родном Брайтоне. Эмилий Андреевич, разрешите пожать вашу мужественную руку!.. "

"Губошлепы, не могут запомнить имени-отчества!" — подумал Милий, но, с другой стороны, почему бы всему этому и не свершиться? И чем больше раздумывал, тем меньше оставалось доводов против. "Это же Аме-

рика! Страна неограниченных возможностей!" Вокруг гудели кузнечики, неизвестно откуда взявшиеся в этих местах. Должна же, наконец, фортуна улыбнуться и ему! На Брайтон-Биче — 90 тысяч соотечественников, от каждого по 10 долларов... И, возможно, завтра объявится кавказец, а, если не кавказец, так его родственники Эрлихи. Кто ему говорил, что у них общий прадед? Может быть, прапрадед? Если бы только с ними встретиться... И разговориться... По-родственному... С глазу на глаз... Между ними не может не возникнуть духовной близости, он — известный на всю Россию актер, они — цвет нью-йоркской элиты! И, возможно, даже видели его спектакли, а если не видели, так слышали. Что-то должны были услышать. Как писали газеты, только он и Станиславский — и никто другой в мире! — могли так захватить душу зрителя. "Человек — это звучит го-о-рдо! Человек — это-о-о великолепно!" Не их человек — его! Простой и естественный, как эта тихая со стрекоучими кузнечиками улица.

Вот так, прогуливаясь в трусах и актерских лодочках по ночному Брайтону, он набирался веры. Он, конечно, разыщет Эрлихов, он чувствует — уж близок час, и они, возможно, удивятся тому, что он так долго не появлялся, — где же он, черт его дери, пропадает? Им как раз до зарезу нужен русский интеллектуал, разве не слышал он, что они издают самый блестящий в Нью-Йорке журнал под названием, под названием... Ах, какая разница какое название — они будут целые вечера просиживать вместе и беседовать об искусстве, что может быть прекраснее этого занятия! Даже если рядом никого и не будет. Впрочем, хорошо бы, чтобы какая-нибудь душа появилась, скучно в жизни одному, очарованная душа, да вот хоть такая, как эта циркачка — Джессика, которая в танце отдала ему все ноги. Сколько ей, пятнадцать лет? Столько же, сколько набовской Лолите? Он давно смирился с мыслью, что среди советских актрис ему не найти ничего подлинно

возвышенного. В этом тред-юнионе все похоже на эту уродину из группы миманса, благодаря которой он заработал инфаркт и которая хотела одного: его крови! И вот в этот материальчик он всю жизнь должен был переселять души чеховских и ибсеновских героинь. Какой жалкий жребий! Клара с той их несчастной ночью и перманентом вместо косы была заключительным аккордом. Но, странное дело, произошел снова обман природы, как тогда со Сталиным. Природа жульничает на каждом шагу. Ведь именно из чрева Клары вылепилась Дарья, этот волшебный цветок, пробившийся сквозь всеобщий развал и грязь. Или все это мираж? Если бы он встретил ее на улице, то не остановил бы взгляда. Как, собственно, и было в те первые дни у Клары, на Ленинском проспекте. Тогда у них только начиналось, и эта выросшая из-под земли школьница с торчащими, как заячьи уши, косицами явно была третьей лишней. Клара виновато улыбнулась и сказала, что это дочь, завтра же она отправляется к своему папе, Жульену. Однако не Жульен, а природа забрала ее, чтобы хорошенько поработать и вылепить из тусклого подростка маленькую женщину в джинсовых брючках, с чуть подкрашенными губами. Она была похожа на Жульена, вылитый Жульен, курносая кацапка, но ей шел шестнадцатый год, и, по-видимому, в этом было все дело.

Произошло это как раз в тот вечер, когда, наблевавшись после встречи с фашистом, он приехал к Кларе. Накрыв на стол, она велела дочери отправляться спать. Та сидела, как изваяние, и тарасила на Милия глаза.

— Дашка! Я кому сказала — в постель, первый час!

— Не уйду! — О, это был особый взгляд — взгляд маленькой убийцы, готовой прикончить собственную мать. Что было затем — стерлось из памяти. Кажется, Клара все-таки выдворила ее из комнаты, — та в истерике стучала кулаком в дверь. Затем и последовала пыточная ночь, во время которой он стал импотентом. И

не в силах признаться в причинах, все валил на миллиейского ублюдка. А валить надо было на подлость жизни. Клара, прижавшись к нему, гладила его эзотерический член, а он, устремив взгляд в темноту, не мог заставить себя избавиться от Дарьи. Вот и все. И политика была ни при чем (органы фашиста возникли уже на рассвете, иначе как бы он их заметил!). Просто его эзотерический брат, не знающий предрассудков, взял и взбунтовался против его состарившейся Клары, чтобы она уступила дочери... место в постели. Всего-то навсего! Как там сказано в библии? Не прелюбодействуй? Слова... Милий-то знал, что они не о том! Да и когда это было? Все в ту же палеозойскую эру, от одного воспоминания о которой его тошнит! И Дашка осталась там, во тьме, его единственный шанс, как остался и он, бывший народный артист СССР, бывший режиссер и... бывший мужчина Милий Арьевич Залевский, бродяга, ищущий себе место под небом Нью-Йорка.

Пусть не винит меня, читатель, за эту затянувшуюся сцену — да и не за горами конец моей повести, когда мой герой, оказавшийся в манхэттенской квартире, свершит свой поступок, может быть, главный поступок жизни (после которого и ворвется отряд полиции). Вполне вероятно, что этот поступок смутит вас, — чертыхнетесь в мою сторону и воскликнете: "Экая сценка. Ничего себе! Это ж надо, что нынче предметом литературы становится!" Тогда и вспомните эту мою романтику и поймете: ничто в мире не однозначно — где взлет, там и падение, где юмор, там и трагедия, где грязь, там и высшая чистота жизни.

Возвращаясь же к тексту, отметим: все же было что-то провидческое в натуре моего героя, если мозг погрузил его именно в ту мечту, которой суждено было сбыться, пусть и не на сто процентов, но хотя бы в этой ее части, которая относилась к его встрече с Эрлихами.

5

Утром он стал подсчитывать ресурсы — и ужаснулся: в бумажнике остались последние пятьдесят долларов. Во рту была горечь, будто наелся накануне бузины, и не было никакого пира и никакой Джессики, все как будто сон. Из зеркала на него смотрел совсем другой, мало известный ему Милий, за одну ночь переставший быть респектабельным римлянином.

Вошел Зураб и стал выяснять, как ему спалось, жарко было или холодно, и, главное, не приставала ли ночью эта засранка Джеки, — если будет лезть, вы, Эмиль Андреевич, ее под зад коленкой, под зад! А насчет театра он уже кое-кому позвонил, да разве с русскими кашу сварить? Удавятся! Слышали, как вчера Мартиросов из "Аларата" разорвался — душу отдаст за русский театр! У него миллион есть, старый фарцовщик. А я, знаете, человек дела, звоню ему утром и сразу быка за рога: "Ну что ж, говорю, армянская кровь, выкладывай двадцать тысяч, которые обещал!" Так он — бе-ме, ведь он сейчас в прогаре и вообще, дорогой Зурабчик, — разве можно верить пьяной женщине?

В комнату вошла высокая статная старуха в съехавшем на лоб черном платке. В руках держала поднос, уставленный всякой снедью. Лицо ее Милию показалось очень знакомым, будто где-то видел, но, с другой стороны, где видеть-то мог?

— Эмиль Андреевич, я ж вас не представил своей царице Тамаре, — сказал Зураб, — будет ухаживать за вами, что надо готовить.

"Царица Тамара" безо всякого выражения на лице подала Залевскому тощую руку, он церемонно припал к ней губами, но и это не вызвало реакции.

— Не говорит ни на одном иностранном языке, кроме осетинского, — вздохнул Зураб. — Девятый год в депрессии. Не может понять, что ее Осетия по срав-

нению с Нью-Йорком, — просто не знаю как сказать, чтобы не оскорбить уха человека искусства.

Очень скоро о театре все забыли — и Мартиросов, армянская кровь, и Зураб, княжеский потомок, а об остальных и нечего говорить, — словно ни вечера не было, ни вообще ничего на свете.

Лишь Моисей, бескорыстный служитель музыки, раз Милию позвонил и то ли задал вопрос, то ли экспромтом продекламировал: "Что слышно у моего актера? Сумел ли доллары собрать? Иль, друг сердешный, лавку закрывать и тихо на хер всех послать?"

— Боюсь, дорогой Моисей, придется избрать альтернативу номер два, — сказал Милий и с грустью подумал, что надо снова что-то придумывать, но что?

Даже Машке звонил уже без прежнего энтузиазма. Да, теперь он гость грузинского князя Зураба Мамаладзе, хозяина крупного нью-йоркского ресторана, и поселился в его роскошной бруклинской вилле. Песня лилась сама собой, не вызывая особых эмоций у самого Милия. Так вот, отец Зураба, грузинский князь, бежал из России, и сын пригласил Милия пожить к себе.

— О бой! Везет человеку! А я вкалывала весь день в своем факен салоне. Домой пришла — дедуля похрапывает, укрывшись "Нью-Йорк таймсом". Скажи, Милия, а князь интересный?

— Какой князь? — не понял Залевский.

— Ну да князь, не старпер, а молодой, о котором ты прожужжал мне уши?

— Машка, он Аполлон, — взглянул на себя в зеркало Залевский и с грустью подумал, что уж который день ходит с оторванной пуговицей. — Присмотрел себе в "Мэссисе" замшевую куртку, 100 долларов, где их взять? С другой стороны, на что ему все эти замши и куртки? А с третьей стороны...

Словом, все должна была решить встреча с Эрлихами, о которой ему и сообщил Кастангов. Он был в

ударе: не далее как завтра в 7.00 вечера Эрлихи ждут их у себя в Сохо, на углу Гранд- и еще какой-то стрит, строение 10.

Кастангова он в этот вечер увидел впервые, хотя по телефону они давно подружились и даже успели пару раз поссориться. Для непосвященных это звучит странно, но с помощью телефона в Америке делается все. Чтобы ускорить дело, по телефону даже разводятся, не все, конечно, есть такие, коим не жалко на это времени, — для выяснения отношений встречаются и портят друг другу нервы. А время-то в этой стране-деньги.

Кастангов оказался на голову ниже Милия, в черных роговых очках, с орлиным, полукругом носом. Он протянул Залевскому маленькую руку, и, прицелившись из-под очков острыми глазами, сказал:

— Надеюсь, адмирал, вы понимаете, что в разговоре с этими людьми превыше всего уровень: это вам не мадам Подграбиничек и не рав Шмуклер. Помните, что во главе угла — идея создания международного центра в защиту интеллекта. Остальное приложится!

От "адмирала" Милия передернуло, но он тотчас пересилил себя, бунтовать было уж слишком несвоевременно. Вот так они и попали в самый модный район города, нью-йоркское Сохо. Чтобы не задерживаться, описывать его не стану, но ради правды факта реакцию моего героя все же отмечу:

— Послушайте, Р-р-ой, наверное, я старомоден, но навстречу нам еще не попался ни один нормальный человек.

— Вы большой оригинал! — бросил в ответ Кастангов и, по-видимому, желая избежать дискуссии, кивнул на полуоткрытую дверь. Дверь вела в чрево старинного, исполосованного трещинами дома, с квадратными черными глазницами окон — это и было строение 10 на углу Гранд-стрит.

Поднявшись по узкой железной лестнице на третий этаж, они через распахнутую настежь стеклянную дверь вошли в темный коридор, заставленный доверху железными шкафами. Коридор вывел их на другую лестницу, по которой спустились на каменную площадку с мутными стеклянными перегородками вместо стен. Потом снова дверь; отворив ее, попали в странный зал — шестигранник — на этот раз со стенами, но без потолка, точнее, потолком был кусок нью-йоркского неба с нависшими над шестигранником клочьями облаков. За досчатым, заваленным горой бумаг столом сидели два живописных пожилых хиппи — один мощный, в джинсах, с растрепанной седеющей бородой, другой, в отличие от первого, по поясу раздетый, в коротких цветных шортах и с вьющимся в три волоска чубчиком на розовом голом черепе.

Кастангов сказал, что они с Милием ищут такое-то и такое издательство, в ответ на что бородатый, холодно оглядев их, ответил:

— Что, рукописи? Прием рукописей в номер закончен!

— Эрлихи! — успел Кастангов шепнуть Милию. И, прицелившись очками в бородатого, представился президентом всемирного центра по спасению интеллекта, а спутник — известный русский режиссер и актер Милий Залевский, и к тому же профессор ГИТИСа. Так вот, у них есть проект, даже не один, а несколько, и они хотели бы их обсудить с владельцами издательства.

— Понятно! — мотнул крупной головой бородатый, и, подав гостям руку, подошел к кипящей на газу кастрюле, из которой деревянным половником наложил себе макарон.

— Видите ли, джентльмены, — продолжал Кастангов, — судьба людей интеллектуального труда оказалась в руках университетских профессоров типа Бжезинского и Киссинджера, и в этом заключена вся проблема.

Бородатый, представившийся главным редактором и президентом Милтоном Эрлихом, разложил макароны

еще в три тарелки и полил их кроваво-красным кетчупом.

— Дэтс файн! — придвинул к себе макароны его напарник в шортах, с тремя волосками на голом черепе. — Разрешите представиться, джентльмены — Норман Эрлих, зам. редактора и генеральный директор.

— Настало время издавать всемирный журнал интеллектуалов, где бы каждый талантливый человек мог получить трибуну, а не ходил кланяться бжезинским и компании. Расскажите, профессор Залевский, каким издательствам вас подвергли университетские деятели этой страны.

Милий, с утра не бравший ничего в рот, неохотно отставил уже начатую тарелку, бородатый, увидев это, попросил Кастангова прерваться и снова наполнил ее доверху. Но Милий уже есть не стал, а сделал Кастангову знак, чтобы тот переводил. Раньше всего он хотел бы уточнить один личный вопрос. Так сказать, генеалогический... Не потрудятся ли уважаемые Милтон и Норман вспомнить, как появился в этой стране их прапрадед по отцовской линии? Откуда приехал этот человек? Кастангов, п-п-переводите? Переводите, тут имеет значение каждое слово. И прочтя на лицах Эрлихов недоумение, взволнованно проговорил: т-т-тогда я вам скажу, что этот человек был из России, более того, это был наш общий с вами прадед, Самуил Исаакович Эрлих!"

— Дэтс файн! — сказал бородатый, — так мы значит родственники? Норман, подумай, у этого пожилого джентльмена общий с нами генетический код. Послушайте, Залевский, но вы ведь были коммунистом?

— Никогда! — решительно отрезал Милий.

— Ах, бросьте, думаете, что это для нас так важно? Главное, что вы не правый! Вы же не правый, мой друг, не правда ли?

— Я ж-ж-жертва правых, — вот кто я! Хотите знать, почему я здесь? Обыкновенный фашизм! Только наберитесь терпения — это очень страшно!

— Прошу вас, не волнуйтесь, — поднялся со стула лысый Норман, оказавшийся на голову выше бородатого. — Вот вам, товарищ, моя рука! Мы будем вас слушать до утра, и хотя номер закрыт, мы пошлем этот материал в досыл, посвятим ему, если надо, полжурнала!

— Джентльмены! — блеснул очками Кастангов, — между прочим, фашизм — вторым пунктом повестки! Сегодня мир гибнет не от фашизма, а от псевдоинтеллектуалов типа Бжезинского. Продолжайте, Залевский. Итак, какую поддержку вы получили в Питтсбурге от профессорши кислых щей Подграбиничек и ее подручного рава Шмуклера?

— Видите ли...

— Да или нет? Тут собрались люди дела.

— Я бы сказал так: и да, и нет, профессор Подграбиничек была готова помочь, но у них не оказалось денег. — И, выдержав испепеляющий взгляд Кастангова, продолжал: — Но я, джентльмены, не об этом! Я о фашизме: известно ли присутствующим, какой разговор произошел у меня в Москве с одним милицейским чином?

— Так не пойдет, Залевский! — снова сверкнул очками Кастангов. — Наши уважаемые друзья просят перейти к пункту номер один, то есть к вопросу об использовании интеллектуальных ресурсов страны. И об издании журнала. Вот вы, адмирал, известный режиссер, народный артист...

— Я не адмирал и прошу прекратить это издевательство! — не дал ему закончить Залевский.

— Хорошо, не адмирал, биг дил, для меня адмирал — это синоним уважаемого человека. Скажите, сэр, что вы будете делать со своим интеллектом в этой стране?

Да, именно к этому вопросу он и переходит, он приехал, чтобы создать театр, а пока он готов служить обществу любым способом. Что ему вообще в жизни надо? Раскладушка да чашка геркулеса на завтрак! И он хоть завтра готов переехать в дом к какому-то богатому интеллектуалу, где по вечерам они смогут вести беседы об основах бытия, если угодно, о Платоне, Овидии, Марксе...

— Браво! Дэтс фajn! — захлопал в ладоши бородастый Милтон. — Норман, этот русский мне положительно нравится. Но, послушайте, сэр...

Почему бы, например, ему не поселиться в доме их дяди Авраама Эрлиха, о котором он слышал как о человеке поистине недюжинного ума?

Сказав это, ничего не подозревающий Залевский увидел, как на лице Милтона появилась странная гримаса. Борода его дрогнула и, обхватив себя за бока, он в гомерическом хохоте стал съезжать со стула. Лысый Норман смеялся, продолжая жевать, отчего из его хохочущего рта стала вываливаться длинная макаронина.

— Что это с ним, Рой, что за дикий смех?

— Аба беседует о Платоне — дэтс фajn! — вытолкнув изо рта макаронину, тряся от смеха Норман. — Дэтс бьютифул!

И в этот момент Залевский увидел его фигуру на стене. Это был карандашный рисунок, призванный, видимо, изобразить драму Нормана, о чем и должна была свидетельствовать вся его печальная длинная фигура с впалой грудью и тремя волосинками на розовом черепе. Под ногами у него лежала не замечаемая им красotka в джинсах с лицом Марии Магдалины. На что ему эта развратная девка? Раздираемый тоской, он грустно вглядывается вдаль, в мужские тени, одиноко бродящие по улицам ночного Сохо!

— Ах, дорогие друзья, тут нет ничего смешного, — сказал Милий. — Мир запутался в трех соснах, и его

нужно вернуть к первореалиям. Это сделает мой театр. Вы слышали о переселении душ? Душа героя переселяется в душу актера, исполняющего его роль. Сцену установим на одной из нью-йоркских улиц, на Бродвее, например.

Милий заметил, что Кастангов перестал переводить, и его сильная челюсть в бессилии отвисла. Наступило всеобщее молчание.

— Может быть, вы не хотите меня слушать, может быть, жалеете: де, бедный русский актер. Но, господа, человека жалеть не надо, жалость унижает его. Человек должен жить по-человечески и не должен, понимаете ли, спать с собакой. Человек должен спать с женщиной.

— Мистер Кастангов, о чем это он? — не выдержал бородастый.

— Да ни о чем! — махнул рукой Кастангов, — вы же знаете этих русских, — о том, что мужчина должен спать исключительно с лицами другого пола и вести нормальную половую жизнь.

— Интересно! — каким-то странно угрожающим голосом произнес Милтон.

— Что он сказал? — насторожился Норман. — Может быть, он хочет отнять у этого общества основные права человека?

Залевский почувствовал, как сверху на него упала капля дождя. Он вскинул голову и снова увидел кусок нью-йоркского неба, которое заволокло тучами, — вот бы где установить сцену, на этом нью-йоркском небе! И оттуда высказать миру все, что у него наболело. Взгляд его встретился с обиженным взглядом Милтона, лысый Норман вообще отвернулся. За что он их унижает? Что дурного они сделали своему гостю? От обиды у Нормана навернулись слезы.

— Что, рассердил я вас? — улыбнулся Милий. — Напрасно, господа, обиделись, я русский актер, а русские актеры любят разыгрывать всякие пьески и роли.

Хотите про собаку — прошу: "Дама с собачкой", "Дикая собака динго!" Может, слышали? Дама живет с собачкой, и это пишет Антон Павлович Чехов, но ведь может и мужчина жить.

Дождь усилился, Милтон ринулся в боковую дверь и, появившись на верхнем торце стены, стал натягивать над помещением брезент. Делал он это с удивительной ловкостью, как будто выполнял ежедневно повторяемую и давно привычную работу. И вернувшись в преотличном настроении, словно дождь вымыл из него весь его гнев, нежно погладил по спине взгрустнувшего Нормана. Тот тоже оживился и в свою очередь ласково потрепал бороду кузену.

— Ну так вот что, джентльмены, бекицер! Хотите журнал? А доллары у нас с вами есть? — взглянул бородатый на Кастангова.

— А у вас с нами есть? — не моргнувши, встретил его взгляд Кастангов.

— Послушай, Норман, доллары у нас есть? — повернулся бородач к лысому. — У нас-то есть! — улыбнулся Норман. — Завтра на ланч. А вот у джентльменов — сейчас посмотрим, — и он извлек из комода большую цинковую кружку. — Прошу, господа, в пользу жертв эйца и преступных абортот!

Кастангов покопавшись в карманах, достал превратившийся в железный комочек доллар. Милий тоже полез в карман и, достав двадцатипятицентовую монету, опустил ее в кружку к Норману. Тот необычайно оживился и мгновенно вытащил из кармашка джинсов два бумажных листка.

— Друзья, благодарствуйте, а это вам реситы для списания налогов! — разложил он листки по карманам гостей. Потом сунул им по листовке, приглашающей на демонстрацию протеста (против чего — Милий так и не понял).

— Ну, что дальше, джентльмены? — устало зевнул Милтон.

Кастангов поднялся и сделал своему спутнику знак, что пора идти.

Но тот неожиданно заинтересовался, где туалет.

— А потерпеть, адмирал, нельзя? — окинул его саркастическим взглядом Кастангов, чем возмутил сразу обоих Эрлихов. И как бы в знак протеста Норман нежно обнял Милия и проводил к клозету, оказавшемуся в том же шестиграннике, но за фанерной перегородкой.

— Ну, в общем, бай, джентльмены, было очень приятно! — подал руку гостям Милтон, когда Залевский вернулся.

— Приятно было познакомиться, бай! — последовал его примеру Норман и печально приклонил свою лысую с тремя волосиками головку на грудь Милтону.

— Я чувствую, друзья, что вас ждет срочное и важное дело, не будем мешать, — оглядев по очереди обоих Эрлихов, усмехнулся Кастангов и приказал Милию немедленно собираться.

Назад возвращались в том же построении: впереди Кастангов, словно пробивающий в катакомбах путь своим орлиным носом, за ним — своей широкой и величавой походкой Милий.

— Послушайте, адмирал! Какую вы несли чушь! — раздалось мощное эхо вдоль лестничных пролетов.

— Опять адмирал? Не смейте!

— Так не адмирал, биг дил! Это все вы со своей идотской раскладушкой, когда надо было говорить о журнале.

— Да что я? Если у этих людей нет денег!

— Нету денег? Вы что, видели их счета? Да они, может быть, богаче барона Гирша, эти два либерала.

— Ах, боже! Забыл позвонить внучке, — восторженно Милий.

— Забыл позвонить? — саркастически рассмеялся Кастангов. — Да у них телефон за неуплату выключен!

Увидев на противоположном углу улицы автомат, Милий попросил Кастангова минуту подождать и отправился звонить Машке. Он уже приготовился сообщить, что идет от двух видных нью-йорских интеллектуалов, устроивших в его честь прием. Снял трубку, но тут же повесил ее назад, увидев в витрине свое отражение: каким-то образом на пиджаке оторвалась еще одна пуговица, теперь на другом рукаве. Под глазами нависли синие мешки, но самое неприятное — почему-то вытянулся нос, который, единственный теперь выделялся на его крупном породистом лице, большой еврейский нос! И из-за этого он уже казался себе похожим не на римлянина, а на старого еврея-пенсонера, из тех, что с утра до вечера забивают на московских бульварах козла. Ко всему еще раздулся живот, и было невыносимо дышать, все из-за этих макарон, которыми набил живот у Эрлихов. Великие интеллектуалы! Гении! Интересно, кто из них там жена, а кто муж? Он отошел от витрины и стал искать глазами Кастангова. Мимо шли незнакомые люди, Кастангов исчез. Надпись на углу уведомляла, что это была все та же Гранд-стрит. Он явно потерялся, но ничего страшного, — он спустится в сабвей и сам преспокойно вернется домой, на Брайтон-бич. Он огляделся по сторонам: строения 10, откуда они вышли с Кастанговым, с этого угла не было видно. Все исчезло, кроме окутавшей его темноты, из которой неожиданно вылез гигантский негр в шортах. Негр приблизился вплотную к Милию, и, отвратительно рыгнув, обхватил его своими мощными клешнями. Милий в ужасе вскрикнул, негр добродушно улыбнулся и, припав мокрыми губами к его уху, густым, словно из колодца, басом, вскричал: "Сэр! смоук! смоук!". И Милий тотчас понял, что это уличный торговец марихуаной, один из тех, кто, как саранча, заполняют вечерние улицы Нью-Йорка. И когда негр исчез, всучив ему за десять долларов маленький самодельный пакетик, снова огляделся по сторонам.

Над головой зажегся тусклый, мутный фонарь, осветивший неизвестно откуда взявшуюся свалку мусора. Из мусора, не спеша и переваливаясь из стороны в сторону вылезла крыса и просеменила у самых ног Милия. "А эта пакость откуда?" — отпрянул он от крысы, и вдруг почувствовал, как наворачиваются слезы. Все из-за этого черного ублюдка: он бы прикончил Милия, не поддержи он его бизнеса. Интересно, что это за мерзость? Он извлек из кармана пакетик, дрожащими руками надорвал его и осторожно понюхал содержимое. Бывший великий режиссер! А ныне наркоман. От великого до смешного один шаг. Выбросив пустой пакетик, он почувствовал легкое головокружение. Настроение улучшилось, и к нему пришла странная мысль: из-за чего он себя все время мучает! Кто он и кто все они? Пускай он немного опустил — как будто это важно для настоящего человека, аристократа духа. Он может себе позволить все на свете, даже выйти на сцену в чем мать родила. И в таком виде высказать все, что о них думает. Позволить не только слова. Кто нынче верит в слова! У него есть и другой способ показать им их место в жизни — истинно народный способ: взобраться на сцену и с ее подмостков на виду у всего народа... помочиться на них, чтобы не считали себя умнее всех. Он слышит крики: "Милий Залевский? Посмотрите, он сошел с ума!" Римский патриций не шевельнет и бровью. Крысы, копошащиеся в помоях... Разве понимают они, что это и есть безыскусность бытия, истинный театр, который ему предназначено создать в этом городе!

Почувствовав, что зябнет, Милий поднял руку и остановил такси: какое удивительное чувство — лететь по ночному Нью-Йорку, как на облучке, и какое счастье, что он остался человеком, самим собой, и сохранил сорок баксов на дорогу. А мог бы истратить на этот дурацкий "смоук", от которого кругом идет голова. Таксист подвез его к самому порогу Зурабовой оби-

тели. Он легко отпер дверь. Еще минута, и он со своими светлыми чувствами переселится в другой мир, в какой? Приблизившись к дивану, он поднял одеяло и в ужасе отпрянул: перед ним, на его постели, лежала гигантская волосатая туша... Он узнал в ней Джекки! Развалившись на простыне, туша негромко посапывала, лениво сгоняя с себя хвостом мух. Милий подумал, что следовало бы ее переселить на пол, но, с другой стороны, зачем? Что она ему сделала худого? Всякая тварь поет хвалу господу! И не все ли равно — Кларочка или Джекки, в субстанциональном-то смысле обе ведь женщины и даже в одном и том же физическом состоянии. И почувствовав к Джекки прилив нежности, Милий, так и не раздевшись, почесал ее за ухом и приткнулся к ее волосатой спине.

На другой день случились сразу два события, одно из которых, возможно, и не стоило бы поминать: по совету Кастангова, Милий пошел к эмигрантскому адвокату Рабиновичу и, как и следовало ожидать, ушел ни с чем. Он нуждался в поддержании духа, а этот Рабинович склонял его собирать бумажки, чтобы ходатайствовать перед эмигрантским ведомством. Последнее было противно самой натуре Милия. Зато про другое событие можно сказать, что оно даже укрепило в нем чувство собственного достоинства, которое было ему дороже всего на свете. Произошло это событие на углу Бродвея и 42-й, как раз когда он в препаскудном настроении плелся от адвоката Рабиновича и, наблюдая за окружающим миром, увидел шахматистов, припавших к каменной ограде. Перед ними лежала внушительная горка долларов.

Кряхтя, он присел на корточки и предложил сидящему рядом толстому добродушному негру партию. Негр, одетый в майку с надписью "Ай лав Нью-Йорк!", весело оглядел его: "А ты играть-то умеешь, старик, — ты кто?" "А ты кто?" — спросил в свою очередь Милий.

— Я — Джонни, — подал ему руку негр.

— А я — главреж, — сказал ему Милий. — Слышал такое слово? — и сделал ход пешкой: "Е2 - Е4." "Ай фак ю!" — сплюнул через плечо Джонни.

— А я знаешь кто? Я — Сикамбр, и мой органон отравлен алкоголем, ду ю андестенд? Да ты же, парень, не знаешь, кто такой сикамбр! А про Сатина слышал? — Он подвинул вперед коня, затем ферзя со слонем, и на тринадцатом ходу поставил противнику мат. "Ай фак ю!" — спокойно резюмировал Джонни и проиграл пять партий кряду. И Милий впервые в Америке заработал 20 долларов.

С этого дня по утрам он каждый день отправлялся на угол Бродвея и сорок второй улицы, чтобы играть и зарабатывать себе на жизнь. Дней этих я описывать не стану, они были похожи один на другой. И по логике вещей я бы должен был перейти к событию заключительному, разговоры о нем, чувствую, вам изрядно надоели, но не могу опустить еще одну встречу из прошлого Милия. В глазах его совершенно неожиданную, какой-то дурацкий эпизод, а вот обойти не могу: в жизни всегда одно вытекает из другого, взлет из падения, чушь собачья из вселенской мудрости... Как сказал бы наш герой, идет переселение душ, а что из чего вылупилось в этом, данном случае, об этом судить не мне.

6

Так вот, когда мой герой сидел с негром Джонни за шахматной доской, к нему подошел странного вида человек, в щегольском голубом берете и с пористым бордовым лицом, недвусмысленно говорящем о роде пристрастия щеголя. Человек положил Милию на плечо руку и на чистом русском языке спросил: "Залевский, вы? Что вы тут делаете, Залевский?" Странно, что Милий не узнал его сразу. Сколько раз виделись в подвале ЦДЛ, в ЦДРИ и Доме актера, — известный столичный поэт, из той же некогда группы молодых, что и Жульен, но рангом пониже, — Жульен для бедных!

Милий даже не столько знал его, сколько тотчас вспомнил его жену, — какое совпадение! — была ею та самая бездарь из миманса, которая довела его до инфаркта, наглая и румяная деваха с двумя детьми (и за каждого шли ей от разных мужей алименты). На них и существовала вместе с поэтом. На них он и пил, а после его отъезда в Нью-Йорк стала пить и жена. Так вот, в последний вечер в Москве она проникла к нему в кабинет. Знал, что неисповедимы пути этих дебилок из миманса, но чтобы заявила эта, не мог представить даже в кошмарном сне. Пришла, видите ли, излить ему душу, ни больше ни меньше! После всего, что было! Ее благоверный, ее "Жульен для бедных", не хочет возвращаться домой. Написал ей, что в Америке истинных поэтов на руках носят, не то что у нас, где "никто никому на хер не нужен". Так что если Милий Арьевич будет в Нью-Йорке, то, может быть, согласится поговорить с ним?

Залевский поморщился и взглянул на часы.

— Торопитесь? Сердитесь на меня за прошлое? Ну и зря! Я, может, как раз перед вами извиниться пришла. Живем-то, Милий Арьевич, один раз, да и то не живем, а протухаем. А все ведь из-за этой вашей Клары — жульенки, все из-за нее. (Он никогда не знал, что Клару в театре звали "жульенкой"). Что нашли в ней, Милий Арьевич? Сама знаю, что: наглость, амбицию! Мужчины обожают таких. Бывало, придет к нам, в миманс: "А ну-ка девочки: кто на сцене всех милее, всех прекраснее, белее?" Это такой юмор у нее был, а главное — хотела выведать, кто как на ее вопрос прореагирует. Вы ее подальше послали? Поздновато, Милий Арьевич! Состав переведен на запасный путь, к главрежу Костянецкому Борису Львовичу, к вашему преемнику.

— Послушайте, может быть, хватит?

— Началось у них знаете когда? Да что вы знаете! В прошлом веке началось, когда Борис Львович еще там был,— вскинула она вверх палец. Вы, конечно,

думаете, что вы один-единственный-незаменимый и что из-за вас ее в театре держали: свежо предание! Борис Львович ее держал. Она его иногда уважала, а он ее за это держал. Очень даже романтическая история! Двух уважала одновременно — и вас и его!

Что она мелет? Наглость этой стервы бесила Милия, и он уже было встал, чтоб показать на дверь, И не смог...

— Но бог Жульенку тоже достал, не прямо, нет, а через родную дочь! Во-первых, уродка, чтобы у такой матери такая кацапка, а главное — стерва! Говорят, из-за нее вы и бросили Клару: то ли она мать изводить стала, то ли к вам подкатывалась? А еще я, знаете, что слышала? За стул держитесь? Костянецкий с Кларочкой в Израиль намыливаются!

Какая поразительная личность! — впервые с интересом взглянул Милий на гостью. — Только в нашей стране возможны такие божественные создания. И какое счастье, что уже завтра в это время он будет за тысячи миль. С деньгами, с иностранным паспортом. Может быть, уже в Нью-Йорке, время-то идет назад, и он почти с физическим наслаждением нащупал во внутреннем кармане пиджака бумажник с документами и долларами.

— Милий Арьевич, а у меня знаете что есть? — вернула она его на землю. — А вот что! — И достала из сумки бутылку марочного ереванского коньяку. — Выпьем, Милий Арьевич, на посошок. Да вы не думайте, по чуть-чуть. Знаю, что меня презираете, но по наперсточку...

Мир сговорился, чтобы испортить ему этот последний вечер в Москве. Перед ее приходом позвонил какой-то аноним и звонким юношеским голосом в трубку воскликнул: "Залевский, вы? Бежите, как жалкий трус? Коллективу театра стыдно за вас! Да, да, сударь, стыдно!" И затем все та же заезженная пластинка о его

статье — изменил идеалам, всех он в жизни предал, даже любовницу оставил без куска хлеба.

— Так по наперсточку, Милий Арьевич! — выбила она опытным ударом пробку из бутылки.

От чего согласился — вот что интересно! Логика безмолствовала. Все было одно к одному. И аноним — последняя капля! Она налила ему на донышко рюмки. Потом еще. И по-мужски решительно встала и выключила свет. Здравый смысл отказывался что-либо понимать. Милий лишь успевал поражаться ее беспардонности. Все равно ничего не вышло: жалкая пародия, лишний раз унизившая его достоинство. Ко всему, она была пьяна: поправляя у зеркала галстук, он чувствовал, как дышит ему в спину, даже спина ощущала отвратительный перегар.

"Господи, как бы сделать так, чтобы она сгинула, вся как есть, в одном исподнем!" Так же, как в ту несчастную ночь с Кларой, но то была все-таки Клара! Верно писал Маркс, что история повторяется дважды, сначала — как трагедия, затем как фарс. Это как раз про него. Между тем, она и не думала уходить. Развалившись в кресле, уперлась голыми коленями в его письменный стол.

— Милий Арьевич, а вы знаете, что я вас любила? Не верите? Достоевщина? Конечно, достоевщина! Любовь — род ненависти или ненависть — род любви? Забудьте все эти собрания — демократия, шизократия, все отсюда, — указала она пальцем на сердце, — от бабьей дури! Что тут можно объяснить? Необъяснимо, Милий Арьевич. Цель была такая — если не со мной, то и ни с кем, извести вас хотела ... по капле. Мне и роль-то была нужна, чтобы с вами сблизиться.

"Великолепно!"

— Может, помните гадалку в Поленове, пасьянс вам с внучкой раскладывала? Забыл? Старенький стал? А ведь гадалкой-то я была! Переодетой. Как сыграла, а?

Под гримом. А то, что рыбной костью подавитесь, это правда, бойтесь рыбы-карпа.

"Что она несет?"

— Это я вам свой талант хотела продемонстрировать, чтобы не думали, что я такая бездарность. Потом бы взяла и во всем призналась. Роль все равно бы не дали, зато повод с вами сойтись. Милий Арьевич, можно еще выпью? Она налила полстакана коньяку, достала из сумки платочек не первой свежести, чтобы вытереть рот, но вместе стерла и помаду. — А почему свой план не осуществила? Обидели меня — вот почему, своей статейкой про Сталина! Я ж в лагере выросла, в семье репрессированных. А с другой стороны, Милий Арьевич, и за жопу могли взять, правда ведь? В стране перестройка, а куда режиссер Залевский нас зовет? Что, ерунда? Да, конечно, ерунда! А из ерунды и жизнь состоит, из чего же еще? Легла, дала и дальше пошла, ха-ха-ха! Сейчас вон сама пожаловала, думала — выгоните! Любовь-то надо было закруглить. Закруглили! Может, еще по наперсточку? Тут уж ничего не осталось, — вылила она остаток коньяку, — Милий Арьевич, а можно вопрос? Только вы не обижайтесь, я так, из любопытства, знаете женскую натуру. А правда, рассказывают, что вас завербовали органы?

"Так, так! Это ему за то, что не выгнал в первую минуту, как появилась. Гуманист!" — Вон! — едва слышно выдал Милий.

— Знаю, что все это брехня, завистников-то вон сколько, — не услышала она его слов. — Я бы сама в органы пошла, если бы взяли. Ужасно тяжело с двумя детьми! Одному штаны купишь, другой просит. Папа-то наш в городе Нью-Йорке, — снова достала она платочек и стала вытирать слезы, смыла тушь и, оставшись без косметики, мгновенно превратилась в старуху.

— Милий Арьевич, только не сердитесь.

"Господи, ты велик и могуч!"

— ...Никогда в жизни у меня этого не было. Но что я хотела спросить? Не найдется двадцаточка, одолжить матери-одиночке? До получки...

Он выдвинул из письменного стола ящик и достал пятьдесят рублей.

Спрятав деньги в сумку, она убрала со стола колени и, мгновенно одевшись, отправилась к выходу. У двери обернулась снова: "А насчет ГБ выбросьте из головы, ну их всех на хер! Главное, бумажник берегите!" И как-то странно подмигнула ему. Что за странная мимика? Он проводил ее глазами до двери, вдруг его обдало холодом, и он с размаху ударил себя по пиджаку: "Украла! — карман для документов был пуст. — Украла, хотела отомстить. Когда тушила свет: иностранный паспорт, доллары, авиабилет до Нью-Йорка. Все!" И, почувствовав, как останавливается сердце, стал тянуться к другому карману, для удобства чуть крутанулся на крутящемся кресле. Боже! Какое счастье! Все на месте, он просто спутал правый карман с левым! Сколько дней без отдыха, по лбу текли ручьи пота, неужели он в самом деле покинет завтра эту страну?

Это все промелькнуло в голове Милия, хотя, вероятно, не так выпукло, как я описал. Происходило-то совсем в другой жизни. Как будто происходило. Теперь Милий ни в чем не был уверен.

— Послушайте, Залевский, вы человек или нет? —дохнул ему прямо в ухо водкой муж этой несчастной из миманса.

— Бывший человек! — даже как бы с гордостью ответил Милий.

— Хорошо, согласен, бывший! Хотите, бывший человек, зайти ко мне в гости, в мою манхэттенскую квартиру?

У него было странное лицо — с одной стороны, амбициозное, сгусток электричества (не прикасайтесь, съезжу), а с другой стороны, как бы виноватое и даже жалкое — у кого он видел это выражение? Ах, вот у

кого! У лысого с чубчиком Нормана, изображенного на картине в цветных шортиках и — рваных, в которых наблюдалось отсутствие всякого присутствия. Пустые шортики! Мужчина без намека на член, "интеллектуалы без членов!" — засмеялся вслух Милий. "Что вам смешно, Залевский? Дом мой смешон?" Только теперь Милий увидел, что они вошли в подъезд, где проживал этот Жульен для бедных.

Студию, где очутились, описывать не стану. То, что увидел Милий, он мог бы увидеть в кооперативе на Каляевской: все в одном месиве, без границ между столом и полом, между рукописями и немытыми кастрюлями — одна со вчерашними щами, другая — с недоваренными сардельками, рядом гора окурков, тут же пишущая машинка "Эрика" и — как венец всего — недопитая бутылка "Столичной" с прильнувшей к ней банкой килечек.

— Поэтический беспорядок? — заметил Залевский.

— По-русски говоря, бардак! — стал разливать хозяин недопитую "Столичную".

— Но я сей бардак ни на какой ваш столичный рай не променяю. А знаете почему? Потому что в этой стране ценят поэтов, он опрокинул в себя стакан. — И еще как ценят! Ого-го-го! Президент Буш лично приглашает к себе на ранчо самых талантливых и выясняет, не нужна ли материальная помощь. — Он достал из-под стола еще водки, и они снова выпили, отчего перед глазами Милия все начало идти кругами. — Да что тебе, дед, сказать, сам посуди, — перешел хозяин на "ты". — Знаешь ведь, как я по ночам работаю, — как зверь, до рассвета. Из-за этого моя жена и обижалась на меня. Она, между прочим, только с виду блядь, а в душе такая чистая женщина, свет в окошке, да что я тебе говорю, она ведь у вас в мимансе служит. Так о чем я? Ну да, о том, как работаю. Как вол! Я и здесь сижу все ночи за машинкой. А утром проснусь, не успею высаться, — телефон, — и кто вы, Залевский, думаете (снова

перешел на "вы"), не упадите со стула: Киссинджер! Час проходит — снова звонок: Бжезинский! Еще час — Бекер, госсекретарь. На таком уровне и никак иначе! Знали бы, какая это держава, какой накал культуры! Я тут вечер давал в Филадельфии, в Джуиш комюнити центре, прелестный такой вечер, прочитал им сагу о Трумпельдоре, верлибром. А после вечера, думаю, дай к Валюшке, сейлсменше, заеду, у нас с ней сентиментальный роман. Приезжаю, спрашиваю, где такая-то и такая. А соседи мне говорят: нету, сэр, уехала! Как так уехала? Куда, ебена мать, уехала?

Он вытер рукавом губы и, подперев ладонями лицо, обреченно уставился в угол: "Представляешь, дед, уехала Валентина, последняя надежда остаться!"

Залевский достал из кармана пакетик и, надорвав его, немного подышал.

— Не ж-ж-ж-елаете, эликсир настроения? — протянул он хозяину.

— Не, не, бог избавил, — замахал тот руками, — мы по другой части. — И влил в себя остаток водки.

— Знаете что? — бросил на пол Милий пустой пакетик. — Я внимательно выслушал все, что вы говорили, о себе, о вашей жизни, и как бывший соотечественник считаю себя обязанным дать вам совет. Вы вот Бжезинского упомянули, а я вам вот что скажу как друг: не и-и-и-мейте дела с этим человеком. Подведет! Кстати, у вас тут туалет есть? В коридоре?

— Пойдите, пойдите, кого вы понесли? Бжезинского? Да вы просто не знаете этого человека! Зря вы это! О Сталине написали — нехорошо, очень нехорошо! Но что к Бжезинскому имеете? Говорите, что к нему имеете?! — угрожающе придвинулся поэт к Залевскому.

— Да я, собственно, ничего, — отпрянул Милий, — просто, насколько я знаю, он не очень хороший интеллект.

— А я говорю вам, не трогай Бжезинского, — лицо поэта стало багровым, — или будете иметь дело со мной!

— Да что вы, успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь.

— Сейчас вот как дам между рог! — замахнулся он на Милия и вдруг на глазах у него выступили слезы. — Не трогайте Бжезинского; Сталина, Ленина, Кагановича — пожалуйста, а Бжезинского — не смейте, как человека вас прошу ... — опустил он на стул и, закрыв ладонями лицо, горько, навзрыд заплакал.

— Успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь, — не знал, что предпринять Милий. — Хотите роль получить в театре?

— Роль? В каком театре?

— В моем—личном, русской драмы в Бруклине. Ставим "На дне" Горького. Буш уже деньги отпустил; я — Сатин, а вы — Актер, Настя — тоже на примете есть. Соглашайтесь!

— А платить сколько будете?

— Ну, это уж не проблема, тысяч 100 на старте сделаем!

— Послушайте, а 120 сделать нельзя?

— Я же вам сказал, что деньги для нас не проблема!

— Даже не знаю, что вам ответить... — задумался поэт и, достав откуда-то из-под дивана новую четвертинку, налил себе в стакан.

— Соглашайтесь, чего думать?

— Я-то, Залевский, согласен, — снова навернулись на его глаза слезы, — но что в кругах скажут, сами видите, с кем общаюсь?

— К-к-круги я беру на себя! — поднялся Залевский. — А вы мне за это покажете, где туалет. У меня, знаете, неприятности с мочевым пузырем. Простата, чтобы ей ни дна, ни покрышки.

На этом нашу пару оставим и более не будем отвлекать читателя их содержательным разговором.

Хотя никто не знает что есть что в нашей литературе, — где чеховское ружье, а где, извините, сапоги всмятку. Так или иначе дома Милия Арьевича ждал новый сюрприз: у царицы Тамары случился нервный срыв, поэтому пришлось ее переложить в салон, на диван Милия. Вот и наступает финал моей одиссеи, который я изложил бы в двух словах, если бы и по сей день не шли в кругах эмигрантов разные слухи. Рассказывали, что в Нью-Йорк приехал знаменитый советский актер, и, оказавшись без средств к существованию, в конце концов погиб от голода где-то на задворках Манхэттена. Хотя оставалось неясно, как в этом богатейшем городе мира могла случиться такая странная смерть. По другой версии, знаменитый актер умер от удушья, и произошло это в манхэттенской квартире одного из нью-йоркских миллионеров — то ли Трампа, то ли Абы Эрлиха, про которого говорили, что он обожает театр и специально пригласил актера, чтобы за рюмкой бренди вести беседы о древнеримском искусстве. Примешивался и третий слух, совсем нелепый, — будто актер, который завел себе пса, подорвался с ним на бомбе, пытаясь спустить несчастного из окна: хорошо, что вовремя подросла полиция!

Детектив этот так поразил мое воображение, что я решил провести собственное расследование. Так вот, вечером того дня, когда Залевский застал на своем диване впавшую в психоз царицу Тамару, он позвонил Кастангову и сказал, что теперь уж точно — дело его труба. Раньше он только в газетах читал, что в Нью-Йорке есть бездомные, живущие зимой на улице, а теперь он сам кандидат... Но он готов жить где угодно, да и что ему от жизни надо? Единственное желание — чтобы не было собаки, вообще-то он ничего против собак не имеет, но просто по ночам бессонница.

— Какая собака, при чем тут собака! — в раздражении воскликнул Кастангов, он лихорадочно раздумывал, как помочь Милию, — в который раз, и это

желчный сухарь Кастангов, — поистине загадочна человеческая натура! И так, во время беседы с Милием к нему пришла гениальная идея — обратиться за помощью к своему поклоннику, члену президиума их центра и, главное, бизнесмену со связями тридцатилетнему Алику М. Ходили, правда, слухи, что он обанкротился и банк наложил на его квартиру арест. Вот и поселить туда Милия... (Да, поразителен был этот Кастангов!) — Так вот, адмирал, мой друг предоставит вам квартиру 21 века, на углу Бродвея, на 36 этаже, виден весь мир. От вас требуется одно-единственное — не водить в квартиру женщин и не задавать лишних вопросов.

Назавтра состоялось вручение ключей: на такси подъехал молодой с иголки одетый блондин, увидев которого Милий остолбенел: он определенно знал этого голубоглазого парня с ослепительно белыми зубами и лицом юного Дантеса. Окончательно его добило то, что блондина звали Алекс. Но как ему задать вопрос, чтобы не вызвать подозрений? Милий лукаво улыбнулся и спросил, не является ли он случайно героем романа одной юной американки.

— Кто знает, всякое случается в этом сумасшедшем мире! — дипломатически избежал тот ответа.

— Хорошо, открою вам карты, — решил взять быка за рога Милий. — Писательница, о которой он говорил, никакая не писательница, а массажистка, из салона красоты "Ностальгия". Его внучка, девушка с самыми длинными ногами в Нью-Йорке.

— Постойте, из Квинса она? Мужской мастер? — Это же Мэри, его герлфренд, вчера ночевала в этой квартире. — Муж старпер, хозяин бензоколонки!

"Какой еще Квинс? Какая бензоколонка? Крути, друг, крути! Ясное дело, Машка с ним спит, с этим бандитом, и еще сделала героем своего графоманского романа. Вот к чему привел ее брак со стариком, он всегда это знал!" И, потеряв всякую охоту продол-

жать беседу, он поблагодарил Алекса за ключи и распрощался. А вечером, подсчитав заработанные ба-рыши, пригласил Машку и Карла в кафе, расположенное в нижнем Манхэттене, на шумном и живописном углу Гудзона.

На этот раз не было рассказа о том, что он поселился в центре Нью-Йорка, в квартире фантастического миллиардера (о чем муссировали слухи среди эмигрантов). Когда сели за столик, он написал Машке свой новый адрес и стал изучающе ее разглядывать: адрес этот что-то для нее значил! А она спрятала бумажку в сумку и сделала вид, что не понимает, о чем речь.

Все дальнейшее можно было изложить и вовсе в двух словах, например, что, несмотря на Гудзон, это была третьестепенная рыбная забегаловка и весь вечер Залевский вел себя очень странно, хотя, следуя своему правилу, и на этот раз расплачивался сам. Но увидев, что Машка с Карлом заказывают морского окуня, решительно от него отказался, и официант принес ему целое блюдо какой-то экзотической океанской бурды.

Не надо говорить, что не было в моем герое блеска, каким он всегда поражал молодых, — напротив, выглядел он настолько дурно одетым, что, увидев его, Машка воскликнула:

— Миля, что случилось, где твои пуговицы?

На ее вопрос он никак не ответил, но за столиком сам начал разговор, опять же очень странный. Смысл разговора сводился к тому, что для него давно потеряло значение, как он выглядит. Да, он начинает новую жизнь. Как некогда Лев Толстой, босой и раздетый, бежавший от Софьи Андреевны и вставший на путь опрощения. Но Толстой был литератор, а он — режиссер и актер, и задача, стоящая перед ним, выглядела куда сложнее.

— Ты д-д-д-умаешь, мне нужен этот Манхэттен и квартира этого хлюста, с которым меня свел Кастангов? — тщетно пытался он что-то прочитать в Машкиных

глазах. Нет, ему необходим другой Нью-Йорк, нищие обитатели Бродвея, бездомные бродяги, проститутки, с которыми он и собирался совершить главный поступок жизни. Какой именно? Ах, это не так просто объяснить, поскольку он теперь следует не пустым правилам и условностям цивилизации, а исключительно своему внутреннему голосу.

В общем, он набирает актеров для спектакля будущего, который ему т а м не дали поставить. И сам исполняет главную роль ("Он сик-к-к-амбр, его оргانون отравлен алкоголем, он спит с беременной собакой по имени Джекки!").

Все происходит на улице, и он начинает с хода пешкой Е2 - Е4, на что его противник мерзкий, блудливый негр Джонни отвечает: "Ай фак ю!". Барон у него тоже есть, бывший московский поэт и, кстати, близкий друг Бжезинского и Киссинджера. Но он не может найти главный образ, очарованную душу, с мечтами о ней он прошел через всю жизнь. Набоков нашел, а он не в состоянии. Душа эта промелькнула перед ним раз в жизни, в доме его московской приятельницы, и исчезла в небытие. Так, может быть, Машка согласится прийти в его театр будущего? Ему, право, не совсем ловко, но он надеется, что она его поймет, дело в том, что ему нужна проститутка...

— Что? — расхохоталась Машка, — о бой! Послушай, а куда денем моего факен мужа? — кивнула она на ничего не понимающего Карла. — Он же отдаст без меня концы!

— Все на Бродвее получают роли, Карлу дадим роль татарина. Надеюсь, он сможет выучить одну-единственную фразу по-русски: "Жить нада честна!"

Только теперь Милий обратил внимание на то, как Машка раздражена на Карла. Возможно, из-за того, что он был без протеза (видимо, старый сломался, а новый не был готов) и, когда ел окуня, то плевался и страшно шамкал губами. Милий вспомнил блестящего бело-

зубого Алекса, и настроение его мгновенно испортилось. А Машка, похоже, не желая свое раздражение выказать, нервно расхохоталась:

— Что же, господа, проститутка — так проститутка, все-таки лучше, чем этот факен-салон, платить-то, Миля, сколько будешь?

— Мамашка моя! — млел от восторга Карл.

— Мамашка твоя выходит на панель! — оборвала она его по-русски и, не в силах сдержать злости, набросилась на официанта, который забыл приготовить им "догги бэг", пакет с несъеденной Милием рыбой. — Факен сервис! Пускай специально жарят для ее собаки!

Перед уходом она сунула в кожаную сумку Милию пластиковый мешок с горячей рыбой — молодые, как всегда сели в "Кадиллак", а он отправился в свою новую манхэттенскую квартиру.

Еще немного, и перелысается моя повесть в настоящий вестерн, со злоумышленником в окне небоскреба, выстрелами, специальным подразделением полиции по борьбе с террором. Но при чем тут Милий, не способный обидеть цыпленка? Ваш вопрос от того, что не приемлете живой жизни, хотите, чтобы все по здравому смыслу, а жизнь-то абсурдна и непредсказуема! И не только у моего героя, бывшего артиста, бывшего главрежа и так далее, но и у других, периферийных персонажей, как и Милий, взятых мной из реальной жизни. Не верите? Тогда посмотрим: телеграфным стилем — голая информация, как и положено в после словие, пусть и передвинутым с последней страницы в самую гущу повествования.

Начнем с сорокалетней дочери Залевского Греты С, известной в Москве страстью менять мужей, матерщинницы и обожательницы цветов. Ее любовь к цветам (хоть злые языки примешивали какой-то расчет) перевернула ее жизнь: она неожиданно оставила своих подруг-редакторш, заявив им в присутствии всего коллектива: "Ну вас всех на хер, девки, с вашим интел-

лектуальным трудом. Отдадимся единственно прекрасному, что осталось в стране". И купила себе у метро "Сокол" цветочный ларек, где торгует за прилавком волшебными гладиолусами по полсотни за штуку. В перчатках, с дырками для пальцев, чтобы легче было в стужу подсчитывать выручку.

Поскольку в магазинах нынче ничего не достать, жена Милия Алевтина больше не посещает лекций в Политехническом и, чтобы как-то прокормиться, дни и ночи вкалывает на огороде в Поленове, рядом с черносотенкой и комсомолкой двадцатых годов Сельдеевой, — по субботам и воскресеньям они вместе ездят на поленовский базар торговать свежими помидорами и огурчиками.

Что же до подруги Милия, стареющей красавицы Клары М., которой он в минуту раздражения предрек постель и унижение с новым главрежем, Борисом Львовичем Костянецким, то, как все предсказатели, он угодил пальцем в небо. Постель-то была делом прошлым, и хоть перешла Клара к новому шефу, но ведь без привнесения малейшей пошлости, предреченной Милием, а с целью вполне романтической и частично уже нам известной. Словом, оба-таки репатрировались на историческую родину: Клара служит уборщицей в тель-авивской гостинице "Шератон". А ее многолетний покровитель Б.Л.Костянецкий, потянувшийся вместе с ней к своему народу, моет посуду по соседству, в ресторане "Аякон". Говорят, что оба написали Милию письмо, на адрес Жульена, в гостиницу "Мортимер" — де, оба стали жертвой обмана на так называемой родине предков и просят их любым способом с этой родины выволить. По понятным причинам ответ ими так и не был получен.

Тут следует сказать пару слов и о другой Кларочке. Дело в том, что она-таки развелась с Мишей-компьютерщиком, что можно было предвидеть при ее лукавстве и темпераменте, и вышла замуж вторично, но вот

за кого — просто невозможно догадаться (как любят говорить мои герои: "Держитесь, господа, за стул! Держитесь?"). В общем, ее супругом стал реформистский рав Шмуклер, с которым еще в начале своей американской жизни она кокетничала по телефону. Не пытайте меня, что и как случилось, — но вскоре после рождения ребенка (кажется, опять же в еврейский рош ашана) влюбленные слетали в святой город Иерусалим, разумеется, втайне от раввинши, чей голос мы слышали в свое время по телефону. С Кларочкиного превращения в питтсбургскую раввиншу все только началось, для затейливой Кларочки это было бы слишком просто, — с равом Шмуклером она тоже развелась и вышла замуж за престарелого хозяина питтсбургского отеля "Хилтон", без малого столетнего эмигранта Денисова, без особого труда пережила его и сама сделалась единоличной хозяйкой "Хилтона", — вот уж воистину "наука умеет много гитик"!

Жульен на обратном пути из Рио-де-Жанейро женился четвертый раз — на скромной еврейской девушке из Венесуэлы, дочери президента компании "Венесуэла нефть" и, вызвав из России домработницу Катю с тремя детьми от прошлых жен, снова вернулся на передовую линию огня в Нью-Йорк.

Не знающий покоя мятежный Кастангов, убедившись в тщетности попыток спасти интеллектуальный потенциал мира, изменил направление своей деятельности и ныне возглавляет общество по борьбе с газетным террором.

Да вот еще о Машке, которая, расставшись с Карлом, все-таки пошла по стезе искусства и устроилась говорящей моделью в телевизионно-рекламной компании Эй-би-си. Так что, если увидите на экране улыбающуюся вам красотку с ногами до шеи, то не исключено, что это как раз она — последняя из потомков замечательного русского режиссера Милия Арьевича Залевского. Не менее интересен и тот факт — считайте

будничным, считайте фантомный, — что мужем ее стал тот самый похожий на юного Дантеса молодой Алекс, который передал моему герою ключи от манхэттенской квартиры, а через три дня встретился с его внучкой — впрочем, в силу печальных обстоятельств, о которых еще пойдет речь. Так что и тут все оказалось одно к одному.

Оттолкнувшись от этих сюжетов, мне легче собраться с духом и отправиться вслед за Милием в его последнее пристанище на американской земле. Если одна из блестящих представительниц столичного бомонда бьет у "Сокола" каблучками и покрикивает: "Господа, господа, гладиолусы!", а известный раввин Питтсбурга снимает для своей мелитопольской подружки трехкомнатный люкс в святом городе, то не будем удивляться и происшедшему с Милием: что он, бывший народный артист, бывший лауреат государственной премии и так далее, в одном халате показался в окне упомянутой манхэттенской квартиры, на углу 56-й стрит и Бродвея. Последнее, естественно, не могло не вызвать беспокойства у нью-йоркской полиции, была она оповещена звонком некоей нервической особы: какой-то неизвестный творит над ее балконом такие безобразия, что у нее просто не хватает слов! Полицейский полковник всю эту беллетристику пропустил мимо ушей, но, наставив на окно полевой бинокль, обратил внимание на положение рук злоумышленника, последний угрожающе направил в сторону Бродвея некий невидимый с улицы предмет. Именно так держат руки палестинские террористы прежде, чем открыть огонь из автоматического оружия по гражданским объектам. После того, как полиция сделала три предупредительных выстрела в воздух, злоумышленник с подоконника исчез, а квартира, где он находился, была взломана и подвергнута штурму. Таковы несколько скудных фактов, по которым мне пришлось восстанавливать последние дни жизни моего героя. Мы и по сей день не знаем,

сколько времени Милий Арьевич Залевский провел в этой манхэттенской квартире. Известно лишь, что когда он туда вошел, она поразила его своим сверхсовременным видом, хотя обнаружились и некоторые смущающие обстоятельства. В квартире были отключены телефон, электричество и вода. Кроме того, отсутствовала мебель, если не считать, что на зеркально натертом полу он обнаружил матрас с подушкой и одеялом.

Я не упомянул еще одного обстоятельства, быть может, самого драматического. Вскоре после его появления неизвестные люди (как выяснилось впоследствии, из домовой охраны) заперли со стороны лестницы дверь, в одно мгновение превратив моего Милия в затворника, обреченного на мучительную неизвестность. Единственной его пищей стали остатки рыбы, положенной ему в сумку Машкой и принесенной им в пластиковом мешке из кафе. Тут, впрочем, существовали две версии. Согласно первой, не очень вероятной, он съел рыбу в первую же ночь, во что трудно было поверить, если принять во внимание весьма обильный ужин в той самой рыбной шараге на берегу Гудзона. Другая версия сводилась к тому, что в первое утро он все-таки смог покинуть квартиру и провел весь день на углу Бродвея и Сорок второй, где за шахматной доской заработал порядочно денег. Но далее у входа в Мак Доналд, расположенный на той же 56-й, он был ограблен неким черным по имени Джонни, его постоянным партнером по шахматам, внешне очень добродушным и тихим человеком. При задержании этот Джонни заявил, что он просто вернул свое, так как русский, которого он обчистил, все это время мошенническим путем выманивал у него деньги.

Дальнейшая судьба Джонни неизвестна, а герой мой, в одних трусах, добрался до квартиры, где, смертельно голодный, набросился на принесенную им из кафе рыбу. Когда раздирая ее на куски, чуть не подавился, то

подумал: "Ах, было что-то в гадании этой авантюристки из миманса!" Рыбные кости, разбросанные около матраса, недвусмысленно говорили, во что обошлась ему эта последняя трапеза в жизни. Затем он уснул, однако сон его был крайне беспокоен и прерывался сновидениями. Позже, когда прибыла полиция, рядом с ним была найдена фотография его внучки и мелко исписанный дрожащим почерком листок. Чуть поодаль был обнаружен другой, напечатанный на машинке и вчетверо сложенный, последний был отправлен для графологической экспертизы в Эф-би-ай.

По мере того как с помощью полиции я расследовал эту историю, она выглядела все более захватывающей. Сама Машка никаких показаний о квартире не дала, заявив, что о ее существовании узнала лишь накануне, в кафе, куда дед пригласил ее вместе с мужем. И я бы оказался в тупике, если бы не одна деталь, из-за нее и врывается в мою эпическую прозу полицейский детектив. Дело в том, что мелко исписанный дрожащей рукой листок, найденный рядом с трупом, оказался предсмертным письмом Залевского. В нем он сообщал, что принял решение совершить главный поступок жизни, но какой именно, оставил неизвестным.

Судя по письму, Залевский отнюдь не был уверен, что квартиру скоро отопрут. И был вне себя от радости, услышав с лестницы звон ключей, но пришел в недоумение, когда увидел высокую молодую женщину, почти голую, в бикини и на очень высоких каблуках. Было очевидно, что к нему забрела уличная проститутка: не выдержав ночного одиночества, она, по-видимому, рассчитывала найти в доме пристанище. Но что его чрезмерно поразило — откуда у этой особы ключи от квартиры, и он решил без обиняков ее об этом спросить. В ужас его поверг даже не ее ответ о том, что квартира принадлежит ей, а голос, показавшийся чрезвычайно знакомым. Присмотревшись, он чуть не лишился чувств: проститутка, проникшая в квартиру,

была его внучкой Машкой. Он подумал, что это нелепый сон, ущипнул себя и огляделся вокруг, — это была именно та квартира, в которой он поселился, с массой зеркал, без электричества и мебели, с надраенным до блеска паркетом и брошенным на полу матрасом. И теперь еще с полуголой уличной девкой, нагло выдававшей себя за его внучку. Он был так ошарашен, что не нашел ничего лучшего, как повторить вопрос: даже, если она на самом деле Машка, то и тогда непонятно, откуда у нее ключи.

— Послушай, Миля, может быть, ты все-таки предложишь мне стул, — насмешливо сказала вошедшая и, не найдя ничего подходящего, расположилась на полу. — Раньше в этой квартире был, по крайней мере, диван. Факен банк, видимо, все вывез.

— О чем ты? — никак не мог придти в себя Залевский.

— Все о том же, видимо, у тебя настоящий маразм, если ты не помнишь, что я сказала минуту назад. Эта хата моя, моя с Алексом! Та, которую описал банк, подумаешь, человек несколько месяцев не платил, я просто тронусь, если нам негде будет жить.

Залевский хотел воспользоваться случаем и, наконец, выяснить, при чем тут Алекс, когда у нее есть законный муж Карл, но понял, что в создавшейся ситуации вопрос бессмыслен, — по-видимому, с Карлом у нее все кончено. Впрочем, и это с горем пополам можно было понять: в конце концов, она молодая женщина, а этот бзззубый Карл, если разобраться, годился ей в отцы. Но вот ее видик и манеры!

— О бой! Действительно, маразм крепчал, — капризно сморщила нос Машка. — Кто меня пригласил на роль проститутки? Не ты ли, главный режиссер русского театра Милий Залевский? Так вот, у меня маленькая поправка. Пока откроется твой факен-театр, я хочу потренироваться в жизни, ю андестэнд? — перешла она на английский. — Кстати, и кое-что

заработаю. За ночь буду получать вдвое больше, чем в этом факен-салоне. По крайней мере, выкупим с Алексом хату.

Милий не верил ушам — его Машка самостоятельно пришла к тому же решению что и он, — не просто валять на сцене дурака, чем он занимался всю жизнь, но переселиться на улицу, на Бродвей, о котором он мечтал всю жизнь.

Проститутка, выдававшая себя за порядочную женщину, — нет большего лицемерия! Но порядочная женщина, выходящая на улицу, чтобы начать простой и естественный образ жизни, — не есть ли в этом переселении души великая чистота?

И слава Богу, что он не один, а вместе с Машкой совершит свой главный поступок жизни. Правда, ей понадобится мужество: не так-то легко начать продавать свое тело, он ей должен помочь, притом сегодня же, не откладывая! Но как?

— Милий, но проблем! — словно уловила его колебания Машка и, многозначительно подмигнув ему, стала прямо на полу сбрасывать с себя одежды. Поймав себя на мысли о кровосмешении, Залевский заколебался.

— Послушай, дружок, у нас же нет времени, четвертый час ночи! Такая темнота, даже не видно, где тут уборная, — факен апартамент!

При упоминании уборной Милий, как всегда вовремя, почувствовал желание опорожниться и, бросив взгляд на голую Машку, крикнул и вышел из комнаты. Она приказала, чтобы он шел назад. Как была наглой, такой и осталась: неужели не понятно, что из-за больной простаты он не в силах терпеть! Когда он вернулся, Машка исчезла. Под одеялом лежало нечто громадное, чей силуэт и отдаленно не напоминал ее восхитительной фигурки. Милий просунул под одеяло руку и наткнулся на громадную скользкую тушу Джекки. Он вспомнил, что когда Машка открывала дверь, с

лестничной площадки доносился лай. Мерзкая сука, из-за нее он вечно терпит неприятности! Он изогнулся, чтоб столкнуть Джекки на пол, — неподвижная туша была холодной, как камень. Проведя по ней ладонью, Милий почувствовал, что Джекки мертва. Его внимание отвлек стук каблучков в передней, он бросился туда и тотчас увидел Машку: с одеждой в руках и в одних туфельках она решительно направлялась в сторону парадной.

— Послушай, Машка, это же бесчеловечно — так поступать!

— Знаешь, ты слишком долго копался! — сказала она.

— Но куда девать мертвого пса? — спросил он.

— Куда? Лучше всего на воздух, подальше от греха, — сказала она и покинула квартиру.

Позже он удивлялся, откуда у него взялись силы вытолкнуть мертвую Джекки в окно. Единственное воспоминание — это ворвавшийся в квартиру ночной ветер, настолько сильный, что Милию стоило больших усилий закрыть жалюзи и снова вернуться к матрасу.

Когда открыл глаза, в квартире было совсем светло, в зеркалах играли отсветы манхэттенских небоскребов. Чувствовал себя Милий преотвратно — от голода сводило кишки и подташнивало: ощущение, что во время сна его тело выпотрошили и вот-вот он потеряет сознание. Держась за стены, Милий проковылял в коридор проверить, открыта ли парадная дверь, — как и раньше, она была заперта. Тогда он вытащил из кармана блокнот, и написал письмо, о чем именно — теперь мы имеем представление. Затем набросил на себя любимый халат, который, к его удивлению, был ужасно грязен, и раздвинул жалюзи. Интересно, с какой скоростью он будет лететь вниз. Он попытался припомнить какие-нибудь сведения на этот счет — и не смог, что и понятно: это был прыжок на тот свет, откуда еще никогда не поступала информация. Но отсюда не

следовало, что, повинаясь внутреннему голосу, он струсит и свернет. В конце концов, что сделано им в течение жизни? Ровным счетом ничего, поскольку он всегда играл чужие роли, играл сам и заставлял других. И только сейчас сыграет самого себя, не выдуманного Горьким, а истинного Человека, который оказался на дне жизни и опустился до того, что спал в одной постели с собакой, но при всем этом остался самим собой. Осторожно, чтобы не поскользнуться, Милий взобрался на батарею, затем поочередно поставил одну ногу за другой на подоконник и, держась за рамы, вытянулся во весь рост. В ослепительных лучах солнца перед ним открылась величественная панорама Манхэттена. Он действовал не спеша, прислушиваясь к внутреннему голосу. Голос просил его не смотреть вниз, чтобы раньше времени не закружилась голова. Да и что он не видел внизу? Суету и ложь, среди которых копошатся эти жалкие муравьи, даже не подозревающие, чего они стоят? Единственный человек, отвечающий своему назначению, — это он, аристократ духа, бездомный, опустившийся актер, который прилетел в Нью-Йорк, чтобы совершить главный поступок жизни. Это будет жест вознесения к Богу и презрения к лживым насекомым, не способным ни на слово правды. Итак: "Милий, действуй!" — услышал он голос и почувствовал, как от ветра распахнулся халат. Откуда-то с Запада, со стороны промышленных районов города налетела копоть. Он набрал в легкие воздуха и приготовился шагнуть в пустоту, но голос, как когда-то в детстве, остановил его: "Холодно, Милий, холодно!" Он снова почувствовал, что ему надо срочно в уборную. Он терпел со времен Машкиного посещения, и организм, не желающий ничего знать, требовал немедленного опорожнения. Получалось, что на пути к поступку он попал в западню — не в состоянии двинуться ни вперед, ни назад. Еще мгновение — и, если он не опорожнится, то лопнет мочевого пузыря. В

эту минуту он снова услышал, как голос, стараясь перекричать ветер, проскандировал: "Вот теперь, Милий, тепло!" Это было странное заявление, он продолжал в нерешительности стоять на подоконнике.

— Чего же ты медлишь? Действуй и утверди себя в безыскусности своего бытия.

Сомнений не оставалось. Распахнув халат, он легко подбросил свой давно не работавший член и с наслаждением, которого не испытывал со времен Клары, помочился. Но покидать подоконник не спешил — капли рассеивались по воздуху, и ему было интересно проследить их путь, ведь они оросят великие строения этого города. Наблюдал он довольно долго. Это и сыграло роковую роль, которой он не мог предвидеть, оказавшись слишком самонадеянным для человека, решившегося на подобный поступок. К тому же, он просто не знал ни удельного веса своей мочи, ни ускорения, которое мог ей придать его эзотерический член. А хилая струйка, разлетевшись от ветра, между тем не достигла ни крыши Метрополитен-музея, куда был устремлен его лихорадочный взгляд, ни даже водосточной трубы соседнего здания Ай-би-эм, приткнувшегося к торцу балкона, расположенного этажом ниже. Она просто угодила внутрь балкона, и тотчас была замечена веселой детской компанией, участники которой, словно по команде, вскинули вверх головы и закричали: "Эй ты, наверху, не видишь, куда ссышь!" Все дальнейшее произошло за какое-то мгновение: женщина, услышав из комнаты крики, моментально позвонила в полицию, та обложила все подъезды и готовилась дать троекратный предупредительный выстрел. Милий из-за ветра никаких голосов не услышал, да если бы и была мертвая тишина, вряд ли он обратил бы на них внимание — мысли его были слишком далеки от подобной прозы. Наконец-то он совершил свой главный поступок, подсказанный ему внутренним голосом, и теперь мог со спокойным сердцем вернуть-

ся к нормальной жизни. Голос исчез, и на миг к нему закралось сомнение: а что если ему все померещилось и он сдуру осквернил этот великий город? Но именно в этот момент откуда-то снизу, с угла Бродвея и 56-й, донеслись троекратные выстрелы — и он тотчас успокоился, даже преисполнился гордости: совершенно ясно, что это салютуют ему. Нащупав ступень батареею и мучимый сердцебиением, он медленно сполз на пол и без сил повалился на матрац. Сколько времени это продолжалось, ни он, никто другой установить не могли: бывший народный артист, бывший лауреат государственной премии, бывший профессор ГИТИСа Милий Арьевич Залевский так и не пришел в сознание.

На его смерть американская пресса никак не откликнулась, но газета "Московские новости" под рубрикой "Обо всем понемногу" сообщила, что в Нью-Йорке при подозрительных обстоятельствах умер бывший режиссер и драматический актер М. А. Залевский, который в кругах интеллигенции приобрел печальную известность сталиниста. Заметка кончалась дежурной фразой: "Ведется расследование". Тут, пожалуй, следует вернуться к штурму мильевской обители. Первое, что испытал престарелый командир полицейского подразделения, ворвавшегося в дом, было недоумение: квартира, в окне которой видели злоумышленника, была пуста. Но спустя минуту его помощник обратил внимание на дальний угол одной из комнат, который не просматривался из коридора. Войдя в комнату, увидели матрац и на нем тело мертвого старика, укрытое грязным халатом и запорошенное городской копотью. Невдалеке валялся пластиковый мешок, рядом с ним куча обглоданных до синева рыбных костей. Облик старика, особенно слипшиеся клочья его волос, не оставляли сомнения: это был один из тех, которые плодились в Нью-Йорке, как муравьи, и полиция давным-давно махнула на них рукой. Однако бывалый полковник не

без чувства страха представил себе возможный поворот дела. Из этого полоумного он сделал опасного террориста и, не считаясь с расходами, согнал полицейских чуть ли не со всего города. Он уже видел, как начальство, которое его недолюбливало и настаивало на экономии каждого цента, поднимет его насмех и, возможно, воспользуется случаем, чтобы отправить на пенсию. "Сан оф дэ бич!" — со злостью перевернул он ботинком труп и в этот момент увидел на матраце два листка. Первый, написанный по-русски, полковник оставил без внимания, другой — на бланке и напечатанный на английской машинке — поднял и прочитал. В нем удостоверялось, что податель сего является уполномоченным советского военно-промышленного комплекса, поэтому всем организациям и гражданам СССР предлагалось оказывать ему всемерную поддержку. "Есть еще на свете бог! — с облегчением подумал полковник и наутро отправил подозрительный документ в Эф-би-ай. А вечером позвонило начальство, чтобы сказать полковнику, что он и его парни проделали в этот день неплохую работу. Все дальнейшее происходило в Эф-би-ай, и нам остается только догадываться, что установило расследование, упомянутое газетой "Московские новости". Известно лишь, что среди его результатов был и такой: пяти московским военачальникам, одному за другим, было отказано в разрешении на въезд в Соединенные Штаты Америки. Вот, пожалуй, и вся эта фантастическая история — можете считать, детектив, можете — драма. Как будто жанр способен хоть что-то прояснить в том, что случается в жизни!

Лорен АЙЗЛИ

КОМЕТА*

Перевод с английского Д.Н.Брецинского

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПЕРЕВОДЧИКЕ

Д.Н.Брецинский родился в 1938 г. в Китае в русской семье, детство провел в Австралии, высшее образование получил в США, окончив Колумбийский университет. По специальности русист, преподает в университете Пурдю, работая в области древнерусской литературы. С 1965 г. неоднократно бывал в СССР, его научные статьи выходили в изданиях Академии наук. Переводить Лорена Айзли стал лет шесть назад, познакомив с его творчеством русскоязычного читателя (публикации в журнале "Смена" и газете "Книжное обозрение"). В настоящее время готовит к печати сборник произведений Айзли на русском языке.

В 1910 году комета Галлея — та самая, которая среди множества своих появлений ярко вспыхнула над Англией при нашествии норманнов в 1066 году, — вновь осветила ночное небо Земли. "Угроза с небес!" — неистовствовала бульварная пресса.

*Первая часть эссе "Звездный дракон", вошедшего в сборник Айзли "Невидимая пирамида" (1970). В оригинале эта часть, представляющая собой законченное художественное произведение, не имеет названия. - **Здесь и ниже прим. переводчика.**

Как и сотни других мальчишек новорожденного века, я был поднят отцом на руки под тополями холодной и безлиственной весны, чтобы поглядеть на посланца, несущегося к нам из глубин космического пространства. Отец произнес тогда слова, которые запали мне глубоко в душу, став одним из самых ранних и наиболее сокровенных воспоминаний моего детства.

— Если ты доживешь до глубокой старости, — сказал он вдумчиво, приковывая мой взор к полному зрелищу, — ты ее еще раз увидишь. Она вернется лет через семьдесят пять. Помни, — шепнул он мне на ухо, — меня уже не будет, но ты ее увидишь. Все это время она будет лететь в крошечной тьме, но где-то там, далеко-далеко, — он махнул рукой в направлении голубого горизонта равнины, — она повернет обратно. В своем искристом пробеге она покроет миллионы миль.

Я ухватился крепче за отцовскую шею и непонимающе глядел на небо. Снова он заговорил, под самым моим ухом, чтобы никто другой не слышал.

— Помни, тебе только надо беречь себя и ждать. Тебе будет лет семьдесят восемь — семьдесят девять. Я думаю, ты ее еще увидишь... за меня, — прошептал он немного грустно, с присущей ему дальновидностью.

— Да, папа, — сказал я послушно, не имея ни малейшего представления о том, что значит семьдесят пять лет или что такое миллионы миль неведомых космических путей. И все же я на всю жизнь запомнил этот случай — запомнил, несмотря на свои молодые годы, из чувства любви к грустному человеку, который держался за меня так же крепко, как и я за него. Мне предстоит пройти еще немалый путь, хотя я и задыхаюсь уже, как уставший марафонец, но знакомый голос не перестает звучать в моих ушах, и я знаю с убежденностью, которая приходит с годами, что тот великий, невероятный наш спутник уже изменил свое направление и спешит обратно на свидание с Солнцем.

В четырехлетнем возрасте я был поражен головокружительной мыслью о необъятности пространства и

совершенной бесконечности времени, получив, в соответствии с унаследованными мной наклонностями и темпераментом, ностальгическое наставление не торопиться уходить. К тому же то, что я сказал тогда отцу, было равносильно отчаянному обещанию. "Да, папа", — сказал я ему по-детски беспечно, не подозревая о превратностях судьбы. После посещения врача в этом году, я написал озабоченное письмо другу-астроному. "Брэд, — спросил я его, — где теперь находится комета Галлея, в какой точке своего обратного пути? Знаю, она уже миновала апогей, но где по твоим расчетам она находится, как далеко — и долго ли еще надо ждать?.."

Его ответ лежит передо мной. "Не торопи события, старик, — пишет он. — Не думай, что скоро ее увидишь: ты слишком молод. Орбита кометы около 18 астрономических единиц, то есть миллиард пятьдесят миллионов миль. Направилась она в нашу сторону, наверное, в 1948 году".

* * *

1948 год. Утомленно роюсь я в рухляди воспоминаний о холодной войне, о Корее, о блокаде Берлина, о шпионах, о тайнах атома, которые невозможно было утаить. В течение всего этого времени во тьме космического пространства бесконечно малая точка света спешит, торопится, бежит быстрее, чем я, — на тысячи миль быстрее, — поворачивая в сторону Солнца. Благодаря своему отцу и в силу данного мной ему обещания некая невидимая нить связывает меня с кометой. Я не думаю сейчас о том, что предзнаменовала она, пролетая над Гастингсом в 1066 году.* Мне мнится, она

* 14 октября 1066 года, когда комета Галлея находилась в околоземном пространстве, под английским городом Гастингсом войска герцога Нормандии Вильгельма одержали решительную победу над силами англосаксонского короля Гарольда II, изменив дальнейший ход истории Англии (о нашествии норманнов говорится и в начале рассказа). Появление неизвестного тогда небесного светила над полем битвы вызвало разноречивые толки в современной литературе.

мчится к Солнцу специально для того, чтобы дать мне возможность увидеть ее вновь растянутой по небосклону и хоть на миг воскресить невинность 1910 года.

Но есть и внутреннее время — "личная, частная хронометрия", как сказал мне однажды знакомый нейрохирург. Есть также и внешнее время, которое безжалостно терзает нас до гробовой доски. Бывают ночи, когда, глядя в темной комнате на потолок, я вижу свет, как бельмо в глазу, как головной прожектор отдаленного поезда, мельком виденного мной в прериях моего детства на западе Америки. Жалобный вой паровозного гудка отдается в голове, перемежаясь с черными провалами ночи. Это слышимый мной голос кометы, круто возносящейся по дуге пространства. Наконец, я настраиваюсь в темноте на сон. Я натягиваю одеяло до подбородка и думаю о радаре, бесконечно прощупывающем горизонт, и о межконтинентальных ракетах, покоящихся в своих непробойных шахтах.

Но нет, сон мой глубже. Я ухожу назад, проникая, как волшебник, сквозь толщу времени. Жизнь была ничуть не лучше и, относительно говоря, даже не столь безопасна в нагорных укреплениях неолита, крохотные траншеи которых видны из самолета, когда пролетаешь над известковыми холмами южной Англии. Маленькая горсточка воинов, сопровождаемая семьями, прижалась бессонно к земле, держа наготове плохо выкованные мечи, в ожидании атаки на рассвете. А до того — пещеры и леденящий холод, каждой осенью ползущий все дальше на юг, вместе с наступающими льдами.

Мертвых мы хоронили у кострищ, вымазав тела их красной охрой, цвет которой обозначал кровь: мы были охочи до магии и аналогий. Охра была для загробной жизни — и на прощание. Мы покидали гробницы, кутаясь в шкуры, и листья и снег заматали следы нашей юности. Все время мы двигались через тундру на юг, идя долгой тропой мамонта. Кто-то из нас увидел яркое пламя на небе и указал на него пальцем, но тогда оно

еще не называлось кометой Галлея. Блеск его был виден сквозь зеленоватый свет и мягко падающий снег.

Еще дальше назад — через два наступления льдов и два долгих межледниковых лета. Мы были грубее теперь, с неопределенно блуждающими, шальными глазами, менее уверенные в том, что мы люди. Мы не носили больше шитой одежды, и нашим единственным оружием был тяжелый заостренный камень, который мы держали в руке, без рукоятки. Даже лица наши, с запавшими глазами, стали похожи на пещеры, в которых мы обитали. Были трудности с огнем: не всегда удавалось его высечь. Мертвых мы оставляли там, где они падали. Женщины плакали меньше, и группы людей не были столь большими. В нашей памяти тлели лишь тусклые огни, затаенные под нависшими надбровными дугами. Мы не делали настенных рисунков и не умножали при помощи магии число убитых зверей. Мы общались между собой, но необходимых нам слов было меньше. Часто мы голодали. Выживали только самые крепкие дети. У нас были добрые намерения, но мы были ужасно невежественны и легко впадали в бессильный гнев. Мы копили в себе многое, чему еще не было выхода.

Мы были орудием в чьих-то руках, и, пожалуй, это-то и приводило нас больше всего в безотчетное бешенство. Мы были ни зверьми, ни людьми, а лишь мостом жизни, перекинутым в будущее. Я сказал, что мы были звероподобны и что наши познания были ничтожны — что-то, а это-то уж мы отлично сознавали, от чего и приходили в ярость. Не было слов это выразить, они никому не приходили на ум. Иногда нас выслеживали гигантские кошки, но охота за собственной душой была куда страшней. Я увидел на небе звезду с пламенным хвостом и от страха бросился в кусты, мыча нечленораздельно. Это совсем не смешно. Животные так не поступают. Они видят мир иначе, чем мы — да, даже чем мы.

Теперь, кажется, мы уже перевалили последнюю ледниковую эпоху и стоим ближе к истокам. Огня у нас

совсем нет, но мы о нем не вспоминаем. Нас занесло далеко на юг, климат здесь теплый. За исключением случайной костяной дубинки, орудий у нас вообще нет. Мы двуноги, но теперь, кажется, мы животные. Мы низкорослы, даже пигмеи. Одежды на нас нет никакой. На звезды мы больше не глядим и не думаем о сверхъестественном. Мертвые — просто мертвые. С наступлением ночи никто за нами не крадется в темноте. Не надо это повторять, но, по-моему, мы уже животные. По-моему, мы находимся по ту сторону моста. Здесь нам хорошо. Ни слова об этом никому!

* * *

Я вздыхаю во сне, но удержаться на той — животной — стороне моста не в силах. Комета, совершив свой далекий пробег в космосе, поворачивает обратно, сверкая. Вновь я карабкаюсь с косматым зверьем вверх по лестнице времени. Мы проходим одну ледниковую эпоху, потом другую. Тут много слез, тут преизбыток воспоминаний. Весь путь предстоит проделать заново и идти дальше. В Афинах люди в белых тогах умно рассуждают. Я слышал, как человек по имени Пиндар с восторгом намекал на то, что у нас якобы есть сходство с бессмертными. "Что за путь по заходе солнца, — вопрошал он, — предначертан нам судьбой?"

Что за путь по заходе солнца? Я следил за многократным возвращением кометы, пока наши умы и тела менялись. Комета вернется еще раз; еще раз я за ней прослежу. Но на этом нить обрывается, и я уже не буду больше частью моста. Не знаю, может быть, мне дано будет вернуться к истокам. Время и пространство — мое наследие от отца и от звезды. Я не поднимусь выше по лестнице огненных возвращений, разве что на одну ступеньку. То, что ждет меня там, радости особой не вызывает, но таков не только мой удел, но и удел звезды. Уже окончательно проснувшись, я лежу в темной постели. Я чувствую, как сердце мое стучит в груди, и жду несущуюся навстречу мне точку света.



Игорь ЧИННОВ

ЗАБАВЛЯЙСЯ МУЗА, СОЗЕРЦАЯ

Идеи? Идеалы? — Идолы!
О, фокусники, лицедеи!
Болотные огни, мы вас увидели, —
И мы не верим вам — идеи!

Законами и страхами пугая нас
(Скрижали на горе пустынной!),
Еще стоят поддельными Синаями
Окаменелые пингвины.

Чревовещатели, гробокопатели —
Как голос их могильно мрачен!
Все заменители, все подражатели —
Ты одурачен, околпачен?

Тиранозавры, жабы, кобры, совратители
Пустых умов — мне вас не надо!
Я не хочу вас слушать, лжеучители:
Зачем мне ваша буффонада?

* * *

Семь густых, высоких струй фонтана:
 Семь полупрозрачных привидений?
 Лучше — души ланей и оленей,
 Обитателей Альдебарана!

Кипарисы белые в метели?
 Или семь оживших сталагмитов?
 Или в ризы светлые оделись
 Семеро танцующих джигитов?

Нет. Протуберанцы на Сатурне?
 Нет их. Или ангелы и арфы?
 Ангелы, я думаю, лазурней.
 Но не пляска фурий или гарпий?

Нет, сравните с тем, кто добродушней.
 Скажем: души нежные дельфинов
 Пляшут под напев арабских джиннов
 (Чем загробней, милый, тем воздушней).

Глупости. Но пусть другой напишет,
 Что мечтам и струям есть граница,
 Что взлетев приходится спуститься,
 Что нельзя, нельзя подняться выше.

Блеск и трепет. Может, символ рая?
 Не струится, кажется, нирвана?
 Забавляйся, муза, созерцай
 Светлое движение фонтана.

* * *

На прелестном острове Гаити,
 В пестром городе Санто Доминго,
 Мы сначала поиграли в бинго,
 А потом поехали, глаза,

В поисках заманчивых открытий,
 И в этнографическом музее
 Проводник сказал нам: "Посмотрите".

Скрюченный скелет лежал в витрине,
 Челюсти скривились в страшной корче.
 "Задыхнулась, да, в песке и глине,
 Не хватало воздуха, короче —
 За грехи живую закопали:
 Изменила, обманула мужа".
 Стало тихо в охлажденном зале.
 В женских лицах я заметил ужас.

Долго, может быть, не засыпали
 Милые туристки. Их пугали
 Некоторые странные детали
 Мира, где грехи не торжествуют:
 Как ее землею засыпали —
 Теплую, кричащую, живую.

* * *

Серели, желтели развалины
 (Колонны и — старец седой),
 Три облака были расставлены
 Над сине-зеленой водой.

Казались янтарными сливами
 Тяжелые бусы твои
 И бусинками некрасивыми
 Казались глаза змеи.

Сияние было мелодией,
 А тоненький хамелеон
 Застыл прекрасной уродиной,
 Знакомый с древних времен.

Был близок берег Далмации,
 Был парус и кипарис.
 Одной обнаженной грации
 Дарил улыбку Парис.

А может быть — берег Аркадии
 И звоны дриад (и цикад).
 Овальные две виноградины
 Слегка отражали закат.

* * *

Ты Мики Мауса не признавал. Ты говорил:
 — Таких существ на свете нету. —
 Мой семилетний друг, скептический зоил,
 Поостранствуй по другому свету!

Твой простодушный ум, твой простодушный смех...
 Ты не подозревал, что в той, загробной жизни
 Ты встретишь существа еще страннее тех,
 Которые придумал Дизни.

Ты не подозревал, что сам Иеронимус Босх
 Не мог вообразить невероятных тварей,
 Какими населил не Вельзевул, а Бог
 Свой светлос звездный bestiарий,

Что даже на Земле есть мириад существ
 Необычайней, чем мышонок Мики.
 Но что Земля? Что ад? Теперь ты — житель мест,
 Где светят ангельские лики.

* * *

В этом доме живут долгожители,
 Обыватели и отравители
 (А напротив живут - небожители).

Вечерами весенними, летними
 Тридцать ведьм развлекаются сплетнями,
 Осуждают губами столетними.

И тринадцать вампиров морщинистых
 (С париками на лысинах глинистых)
 Разъезжают на бесах щетинистых.

И выносят они обвинительный
 Приговор пришлецу из пленительной
 Светозарной страны, небожительной:

"Да, казнить! Он соседей сторонится,
 У него от безделья бессонница,
 Он до нашей еды не дотронется,

Он питается ветром и грозами,
 Говорит он не с нами, а с розами,
 Облаками, туманами, звездами".

Стал преступник скромнее, смиреннее.
 Поздно! В тихое утро весеннее
 Приговор — приведен — в исполнение.

* * *

Я говорил глухому перуанцу
 На неизвестном, странном языке:
 Вы разучились поклоняться Солнцу
 И ваши храмы — в щебне и песке.

И девушек и юношей прекрасных
 Вы в жертву не приносите давно
 И я узнал из ваших взглядов грустных,
 Что вам с богами быть не суждено.

Да, племя кечуа, потомки инков,
Империя — закрытая тетрадь.
Огромных и таинственных рисунков
В пустыне Наска вам не разгадать.

Я под дождем бродил по Мачу-Пичу.
Дождями стерт был идол-ягуар.
Я удивлялся грозному величью
Не города пустынного, а — гор.

Империя? Не храмы, не чертоги —
Людишки в бурых тряпках, бурый хлам.
И лепятся хибарки и лачуги
К могущественным скалам и горам.

Ты слышишь, а? Империи не вечны.
Развалины — на фоне гор и скал.
Но перуанец — спал, лежал, беспечный,
И не ему я это говорил.

* * *

Ну, а тебе — дела не опротивели?
Не надоело волноваться?
Давай, поблагодуетствуем в Тиволи,
Где веет райская прохладца.

Побалуем скучающую душеньку
Чайком, винцом, воображеньем.
Послушаем копеечную музыку,
Колпак с бубенчиком наденем.

С большими ангелами повстречаемся,
Побалагурим и подвыпьем.
И к повести, которая кончается,
Добавим неземной пост-скрипtum.

* * *

И жизнь — будто мельничный жернов на шее,
будто бревно, рухнувшее на зеваку.
Жизнь, как смерть — только нет в этой смерти
покоя.

Где он, покой, похожий на светлое летнее поле?
Не золотые сады, в которых
живут Геспериды. Просто
дорога в ухабах, коровьем и конском навозе
и мы выходим в летнее милое поле.

* * *

Утоли мои печали
Летним ветром, лунным светом,
Запахом начала мая,
Шорохом ночного моря.

Утоли мои печали
Голосом немного друга,
Парусом, плечом и плеском.

Утоли мои печали
Темным взглядом, тихим словом.

Утоли мои печали.

* * *

Так и живу,
жуком, опрокинутым на спину,
жертва своей скорлупы.

Беспомощно бьюсь,
барахтаюсь, шевелю

жалкими конечностями,
членистоногий.

Да, конечно, законы тяжести —
спорить — напрасно.
Уже занесен,
уже надо мной
черный сапог,
любитель хруста.

* * *

Ветер воспоминаний тревожит увядшие письма,
На острове воспоминаний шумят сухие деревья.
Призракам, старым, не спится в небесной
гостинице ночи.

Там забытое имя ложится на снег синеватую тенью
И тени веток сложились в неясную надпись. Я не
знаю
Языка загробного мира. Я видел в Британском
Музее
Черную египетскую птицу. Вот она — сидит
неподвижно.
Желтый глаз, как маленькая луна. Она более
птица,
Чем все птицы на свете.

Вечером на Гаваях я проходил между сучьев
Окаменелого леса. Было безлюдно, мне захотелось
Услышать хотя бы тик-тик моих часов. Но они
Остановились из уважения к вечности. Нет,
Я не намекаю на сердце, я говорю
О тишине бессонницы, увядших письмах.
Если зажечь их, в камине будут оранжевые
бабочки,
Лазоревые бабочки, синие бабочки, черные
бабочки,
Тени забытого имени, маленькие саламандры.



Надежда КРЕМНЕВА

РОДИНА СТРАХА, ЭПОХА СТЫДА

Шестая одна... всех читая, одна...
смертельно больная родная страна,

к чему ей слова и припарки,
и жалкие наши подарки:

встречаем ли праздник ударным трудом,
построим ли в срок образцовый дурдом

и как обуздаем погромы
в местах, где не ходят паромы.

Ей больно и тошно дыхание длить
и в тех, кто приходит наследство делить,

она запускает скандалом
по старой привычке к скандалам.

Наследников прорва и слуг, и подруг,
да жаль, разворован последний рундук,

остались два старых романа,
солдатский сапог и румяна.

Ей нужен не пастырь, а морфий вздох
и лед на пылающий в сумерках лоб,

чтоб самые страшные муки
не видели бедные внуки.

1990

Зима. Эпоха классицизма.
Горячий глянец изразцов.
Канва небесная капризна,
но росчерк снега образцов.

Еще не скованные воды
текут, державинские оды
державной спесью не горчат,
но дальний умысел природы
взведен — в российские широты
уже завозят арапчат.

Как вольно дышится на срезе
времен! В помпезном затрапезе
блажен младенческий уют.
Но стынут формы. Сохнут губы.
Не зря даря соболями шубы,
крепчает резвый абсолют.

Во всем дойти до отрицанья —
не это ль русской славы чужь?
Зима. Эпоха созерцанья.
Алмазный воздух режет грудь.

1987

АРМАВИРСКИЙ РОМАНС

Это старческое — детство вспоминать,
грошик медненький на золото менять.

Это старческое — раны беречь,
два конца одной веревочки сводить.

Все казачки мне мерещатся в платках,
газировка в грубо срубленных лотках,

скверы пыльные, церквушка, бугорок,
с гулким гэканием кубанский говорок,

да за печкою чирикание сверчка,
да коленца городского дурачка,

лужи, ямины, заплеванной фонтан,
платья мамины в горошек и волан,

лысый памятник в гранитном сюртуке
и баржа на буро-вспененной реке.

Здесь когда-то громыхал монетный двор,
а теперь скрипит обжорка в сто рессор,

ждут отметки хуторяне в паспортах,
да печатей не хватает на местах,

и толкуются в исполкомовской ругне
френч, бушлат и кацавейка на ремне.

Боже мой, и дом снесли и кот издох,
по глухим степям рассыпался горох.

Не с кем, негде мне победы пировать.
Это старческое — крохи собирать.

1987

Я не участвую в массовках,
великих спайках и тусовках,
где хором плачут и поют,
и коллективно рыжих бьют.

Нет, я гуляю поневоле
без провожатых в чистом поле,
где дует свежий ветерок
в мой сухопутный свитерок.

За мною Муза, изнывая,
идет, меня не узнавая,
но у черты береговой
кивает рыжей головой.

1987

Вечером книгу листая,
утром срезая цветы...
Где же ты, радость простая,
тихая вечная ты?

В поле, в лесу затеряться,
в лодке смоленной скользят...
Сколько же можно терзаться
или иначе нельзя?

Синяя и золотая
рвется осенняя нить.
Вечером листья сметая,
утром газету купить...

1986

Все ожидаю: потопа, суда,
шороха черных марусь.
Родина страха. Эпоха стыда.
Краткий классический курс.

С этой гашеной известкой в крови
нам ли алтарь воздвигать?
Только пугаться "Господь сохрани!"
да слабонервных пугать.

Всех-то сокровищ: тетрадь и свеча.
Всех-то свобод: зарыдать сгоряча.

1986

Я не люблю классических примеров.
Рим цезарей велик, но вечен град
Рим цензоров и Рим легионеров,
и Рим кровосмесительных усад.

Да, Форум свят и Флавиев зверинец
мудрен для гладиаторских затей...
Но я вхожу как первый палестинец
в Рим волчьих тог и сжатых челюстей.

1990

О ВИДАХ И ЖАНРАХ

В России панегирик не в ходу,
античный панегирик, не французский
(хотя молоть с восторгом ерунду
и льстить в глаза — вполне образчик русский),

зато отбою нет от храбрецов,
бичующих пороки мертвецов.

России свойствен массовый психоз:
будь то Европа, церковь иль колхоз —
берем нахрапом, все у нас глобально.
Все потому, что русский Бог — муштра,
и что вопить: "ату" или "ура" —
в конечном счете не принципиально.

В почете ода или некролог,
ну и конечно, жанр эпистолярный —
донос, не претендующий на слог,
и даже тем печально популярный.
Нет, нет! Карету мне! В Париж! В Париж!
Кого в России ямбом удивить?

1990

* * *

Как страшен наш звериный род!
Взгляните в зеркало, как страшен:
сведен улыбкой хищный рот,
а мыслью лоб обезображен.
И столько злобы в простоте
и лицемерья в состраданье.
Какое в звездной высоте
способен выстроить он зданье?
В нем гармоничен лишь разлад,
а неумна — жажда слова.
Но вспомню рай и вспомню ад
и все простить ему готова.

1990

Григорий МАРК

СКВОЗЬ КАМЕННЫЙ ГОРОД

Сквозь мертвой Грамматики город,
В крылатой упряжке спряжений
Глаголы несутся, в которых
Спрессован прообраз движенья.

Чуть цокают их окончанья,
Расплющенные удареньем,
Размеренным гулким бренчаньем
В булыжнике улиц осенних.

И месяц прозрачной дугою
Летит над упряжкой беззвучно,
Он тащит ее за собою
Сквозь каменный город, сквозь тучи.

Въезжают, прожавшись друг к другу,
На небо с хрипеньем тяжелым
Силлабо-тоническим цугом
Мои коренные глаголы.

Отверстие круглого рта,
 Лиловой мембраны мерцанье.
 Под нею помады черта —
 Неряшливый знак вычитанья.

В напудренных складках висят
 Исчадия глаз подведенных,
 Как страшно раскрашен фасад
 Бессмертной души, заключенной

В обтянутый кожей сосуд...

Облака, будто хищные птицы,
 В полночь вьются над Зимним дворцом.
 По ступеням у трона струится
 Тень расстрелянной императрицы,
 И вокруг нее — лунным кольцом —
 В неподвижных напудренных лицах
 Чуть слезятся глаза мертвецов...
 Над разграбленной нищей столицей
 Облака, облака будто птицы...

ВОЙНА

Город сжался в комок в ожиданье удара.
 Словно еж, ошетинился иглами шпилей,
 В темноте напряглись сухожилия арок,
 Сбились в кучу дома, плотно двери закрылись,
 Громяхая суставами петель, затворов...

Как гудящая Азия Божьего гнева,
 Саранча вертолетов несется на город,
 Лопастями кроша беззащитное небо.

СОНЕТ

Слова мои — зеки — колонной по трое
 Шагают по мертвой земле на работу,
 А сбоку и сзади, как вохра, конвоем
 Казенные рифмы в тулупах добротных.

По сгорбленным спинам гуляют приклады:
 "Шаг в сторону будет считаться побегом!"
 Вдоль вышек с охраной, засыпанных снегом,
 Идут оцепленные в строфы отряды.

Из месива сгорбленных спин, автоматов,
 Тулупов, сопенья, собачьего лая,
 Слезящихся глаз и хрипящего мата
 Порядок в движении слов проступает.

И ритм сонета в снегу отбивают
 Опухшие зеки ногами из ваты.

ОГОНЬ

Наощупь — по лестнице — в небо — все выше,
 Не имеют ладони ободранных рук.
 Хрипящими клочьями пламя вокруг
 Дрожит, извиваясь, прерывисто дышит,
 Стекают железом расплавленным крыши.
 Весь до горизонта горит Петербург.

И сажей, как хлопьями черного снега,
 Лицо заметаает...



ПУБЛИЦИСТИКА.
СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА

Ричард ПАЙПС

РАСПАД ИМПЕРИИ БЫЛ НЕИЗБЕЖЕН

Когда в 1917 г. Российская империя взорвалась революцией, В.В.Розанов с удивлением отметил, как быстро увяла его страна — "за два дня. Самое большее три". И на вопрос, что же от нее осталось, сам и ответил: "Странно сказать, ничего". Подобный распад произошел и в наши дни. Это случалось и ранее, в конце XVI века, когда правящая династия Рюриковичей вымерла, не оставив наследника, и Россия погрузилась в смутное время. И сейчас, в третий раз в российской истории, крушение государственной власти почти привело к распаду общества.

Это поразительное явление. Революции обычно приводят к замене одного правительства другим; в России же, и только в ней, они вызывают крах всей организованной жизни. Чтобы объяснить эту особенность ее истории, нужно сказать несколько слов о политической системе России — системе, которая обнаруживает по-

РАСПАД ИМПЕРИИ БЫЛ НЕИЗБЕЖЕН

119

разительную способность переживать изменения форм правления и официальной идеологии.

Начиная с XIV в. российское государство отличал не столько абсолютизм — явление, известное и в большей части современной Европы, — сколько своеобразный тип неограниченной власти, соединявшей владычество и собственность. Страна, управляемая таким образом, существует как целое только до тех пор, пока правительство твердо и решительно; как только оно ослабевает, общество распадается. Именно это случилось в Смутное время, затем в 1917 г. после отречения Николая II, и снова в 1990-1991 гг. вслед за роспуском коммунистической партии, подлинного правителя "советского" государства.

Западному общественному мнению трудно осознать этот факт, ибо оно видело в Советском Союзе государство, организованное по привычной схеме, с правительством и гражданами, сосуществующими в определенном равновесии. Конечно, в последние десятилетия царизма Россия двигалась в направлении к такого рода режиму, но этот процесс прервала революция. После октября 1917 г., когда большевики захватили власть, Россия была отброшена к политической практике XVI-XVII вв. Каковы бы ни были его теоретические притязания и пропагандистские лозунги, коммунистический режим в действительности утвердил в наиболее крайних формах принципы московского "патримониализма", лишив граждан всех прав, в особенности права создавать независимые организации и владеть собственностью. Передав всю политическую власть и собственность государству, коммунистический режим уничтожил какое-либо подобие равновесия между правительством и обществом.

Когда в середине 80-х гг. коммунистическое руководство решило ослабить свою политическую власть и установить с обществом ограниченное партнерство, дабы преодолеть тревожные симптомы политического и

экономического застоя, к своему ужасу оно обнаружило, что общества и, следовательно, партнера не существует. Имелись только миллионы атомизированных индивидуумов, отчасти отчужденных и озлобленных, в большинстве же безразличных, которых за 70 лет коммунизма научили заботиться только о себе и оставлять общественные дела вышестоящим товарищам.

Наученные реагировать на сигналы сверху, советские граждане быстро почувствовали, что центральная власть слабеет и не может более заставить выполнять свои приказы. Страх, главный инструмент коммунистического контроля, ослабел, а затем и вовсе исчез. Ободренные этим, граждане воспользовались затруднительным положением режима, чтобы взять реванш за 70 лет угнетения. Вместо того, чтобы поспешить на помощь правительству, они отплатили ему той же монетой, атомизируя его так, как оно в свое время атомизировало их.

Результатом был гигантский, направленный внутрь взрыв. Начиная с 1985 г., коммунистическое государство и экономика, которую оно рассматривало как свою собственность, подверглись массированным атакам со стороны населения, которое режим лишил малейшей доли заинтересованного участия. Целью населения было не столько улучшение или замена существующих институтов, сколько их разрушение.

По этой причине недавние события нельзя назвать собственно "революцией". Термин, который описывает их лучше всего, это "дуван", слово турецкого происхождения, которое казаки использовали для обозначения дележа военной добычи, захваченной в походах на персидские или турецкие поселения. Советский Союз подвергался систематическому "дуванированию", его растаскивают и распределяют между экскоммунистическими организациями, республиканскими и местными правительствами, государственными предприятиями, преступными бандами и — последнее по

месту, но не по важности, — отдельными гражданами. Не осталось почти никакой общественной власти или национальной экономики: то немногое, что еще есть, существует по инерции. Вот почему все проекты реформ как политических, так и экономических, кончились ничем. Просто не существует более механизма для превращения идей в политику.

В политической сфере власть либо распалась, либо парализована. Центральное правительство перестало действовать задолго до того, как его официально распустили, и далеко не очевидно, что утерянная им власть перешла к республиканским правительствам, занявшим его место. В малых республиках, например, в Грузии и Молдове, где население боится русского вмешательства, национализм создает в определенной степени политическую сплоченность. Это верно и для Украины. Но в России, крупнейшей из республик, на которую приходится половина населения и 70% промышленного производства бывшего Советского Союза, чувство национальной солидарности все еще слабо развито; то, что существует, находит себе выход в основном в ксенофобии. Время покажет, сможет ли новый президент России Борис Ельцин перевести свою популярность во власть. Пока признаки не очень обнадеживающие: здесь больше, чем в каком-либо из государств-наследников, дуван проводит свою разрушительную работу.

Крах политической системы неизбежно привел и к распаду национальной экономики. Чтобы покрыть нарастающий дефицит, российское правительство стало выпускать банкноты со скоростью, ограниченной только возможностями печатного станка. Рубль теряет свою стоимость со скоростью 2-3% в неделю. Как всегда в условиях гиперинфляции, люди начинают избегать пользоваться собственной валютой. Кто может, накапливает доллары, кто не может — товары. Экономика страны в сущности низводится до бартерных сделок,

включая бесчисленные, незаметные для статистики, частные обмены товаров и услуг. Обращение к столь примитивной деятельности имело фатальное воздействие на промышленное производство, так как управляющие более не могут рассчитывать на поставки частей и сырья. Неблагоприятное воздействие это оказало также и на распределение продовольствия, производители которого отказываются продавать его за обесценивающиеся рубли, или, если все же продают, назначают цену в рублях, соответствующую по курсу цене в долларах, что делает их товар недоступным для большинства населения.

Примерно 200 лет назад Николай Карамзин на вопрос: "Что происходит в России?" ответил коротко: "Крадут". Сегодня это верно как никогда раньше. Коммунистические руководители избавляются от партийного имущества и, по слухам, припрятывают выручку в иностранных банках. Управляющие присваивают продукцию своих предприятий: например, руководители Тюменской области, как сообщают, заключили договор с Японией о продаже нефти за автомашины. Продовольствие, производимое в совхозах, направляется на частный рынок, равно как и иностранная гуманитарная помощь.

Мы, таким образом, присутствуем при катастрофическом — хотя для России и не беспрецедентном — распаде политического и экономического целого. Тоталитаризм уступает место своему антитезису, анархии. Наблюдая за происходящим, можно вспомнить горькие жалобы Александра Керенского: "Слово "революция" совершенно неприменимо к тому, что случилось в России (в феврале 1917 г. — Р.П.). Целый мир национальных и политических отношений ушел на дно, и в один момент все существующие политические и тактические программы, какими смелыми и хорошо продуманными они ни были, оказались бесцельно и бесполезно подвешенными в пространстве".

Если бы Россия не была гигантом, простершимся на двух континентах, оснащенным десятком тысяч ядерных боеголовок, судьба ее была бы всего лишь материалом для интеллектуальных спекуляций. Но при существующем положении дел ее судьба должна быть предметом постоянной озабоченности для всего остального мира. Даже если не считать стран, находившихся от нее в колониальной зависимости, население самой России составляет 150 миллионов человек, проживающих на обширной территории от Балтики до Тихого океана; одно ее геополитическое положение обеспечивает ей ведущую роль в международной политике.

Два года назад я высказал предположение, что горбачевский Советский Союз стоит перед альтернативой: развал или закручивание гаек (по-английски: breakdown или crackdown. — Ред.). Это и сейчас наиболее вероятные возможности, и они взаимно не исключают друг друга: развал идет полным ходом, попытка закручивания гаек была сделана и провалилась, но она может повториться. Наименее вероятная возможность состоит в упорядоченном, постепенном переходе к демократии и свободному рынку, на что надеются западные правительства, сделавшие это предварительным условием для оказания помощи.

В прошлом российскому Смутному времени пришло на смену восстановление авторитарного правления. Этот прецедент наводит на мысль, что и нынешние беспорядки могут разрешиться аналогичным образом. Российская интеллигенция тоже этого боится. Но прошлое не может служить неизменным образцом. Травма, которую испытала Россия при коммунистическом правлении, была столь разрушительной и столь трансформировала национальную психологию, что прецедент может потерять свою силу. Да, в России существуют слои, мечтающие о возврате "сильной руки". К ним относятся две крайности социально-экономического спектра: бывшая привилегированная элита, обиженная

потерей власти и льгот, и бедные, наиболее затронутые крушением субсидируемой потребительской экономики.

Эти две группы составляют потенциально опасный блок, но, как показал провалившийся путч в августе 1991 г., они не могут рассчитывать на лояльность широкого и многочисленного среднего класса, который ни привилегий не терял, ни от крайней нищеты не пострадал. Опросы общественного мнения показывают, что большинство россиян тоскуют по "нормальной жизни", которую они приравнивают к политической и экономической вестернизации. В Китае "старая гвардия" смогла нанести поражение прозападным силам, потому что 80% населения страны — крестьяне, которые ведут автаркический образ жизни и мало интересуются политикой. В России, где трое из 4-х человек живут в городах, уровень политической сознательности много выше и возможность того, что диктатура "старой гвардии" вытравит либеральный дух независимости, соответственно гораздо меньше.

Можно, конечно, представить себе более обдуманную попытку захвата власти, чем прошлогодний августовский путч, особенно если положение с продовольствием в городах будет и далее ухудшаться. Но чего нельзя представить, так это того, что коалиция генералов и бывших коммунистических аппаратчиков — единственно мыслимых вождей такого переворота — будет править Россией более эффективно, чем они это делали в прошлом, когда были у власти и своей бездарностью довели страну до ее нынешнего тяжелого состояния. Россия более не может управляться без сотрудничества между правителями и управляемыми и, следовательно, без какого-то рода институционализованного равновесия между государством и обществом.

Альтернатива диктатуре, по крайней мере более вероятная и значительно более привлекательная, пуга-

ет тех западных государственных деятелей, которые превыше всего ставят стабильность. Это — продолжающийся распад политических и экономических структур страны до тех пор, пока от коммунистического наследия не останется ничего.

В одном аспекте этот процесс практически завершен: советская империя разбита. Любая попытка восстановить ее потребует мощного военного вмешательства, но Москва попросту не располагает силами достаточно крупными и достаточно надежными, чтобы вести кампанию колониальной реконкисты. Русские солдаты уже продемонстрировали свое нежелание сражаться с восставшими народами Кавказа; попытка заставить их сражаться против республиканских национальных гвардий привела бы, вероятно, к гражданской войне, которую никакая диктатура не пережила бы.

Распад империи был неизбежен в том смысле, что в эпоху всеобщей деколонизации история не может сделать исключения для Российской империи. Со стороны президента Буша было донкихотством рассказывать украинцам о преимуществах свободы под российским правлением. Для представителей его администрации — администрации страны, рожденной в колониальной революции, — было попросту абсурдно заявлять, что Вашингтон не признает односторонних деклараций независимости.

Можно оценить по достоинству чиновничью ностальгию по добрым старым временам, когда договоренности с Политбюро и центральными министерствами были обязательны для всей страны, когда Москва вовремя платила свои долги, а советское ядерное оружие было в "надежных руках" (как не назвавший себя вашингтонский чиновник признался газете "New York Times", "здесь серьезно озабочены последствиями краха коммунизма и Советского Союза"). Но эти времена прошли безвозвратно. Роспуск компартии сделал распад империи неизбежным, так как партия

была цементом, который ее скреплял. Поэтому чем быстрее Запад установит с новыми республиками формальные дипломатические отношения, тем лучше. При этом не должно пользоваться меркой приверженности демократическим принципам. Сколь бы это ни было желательным, это не ставилось условием для признания сталинского Советского Союза или маоистского Китая. Критерий для признания должен быть традиционным: правительство данной страны способно осуществлять на своей территории эффективный контроль. Шансы на то, что созданное в конце 1991 г. Содружество Независимых Государств просуществует сколько-нибудь длительное время, невелики. Единственный еще осуществимый союз — это экономическая ассоциация, наподобие Европейского сообщества, внутри которой подлинно суверенные государства со взаимно дополняющей экономикой ведут многостороннюю торговлю. Но чтобы такая ассоциация стала реальностью, Москва должна отказаться, и в мыслях, и в делах, от своих претензий на республики. Это будет нелегко. Империалистическая ментальность укоренена в российской психологии, даже в демократических кругах, ибо она исторически тесно связана с идеей российской государственности. Некоторые замечания Ельцина относительно необходимости урегулирования границ России с Украиной и Казахстаном дают основания для беспокойства, ибо такое "урегулирование" всегда будет в пользу России. И конечно, делу мирного перехода от империи к свободному сообществу суверенных государств не помогут идущие из Вашингтона сигналы, что он предпочитает устойчивое единство неустойчивому разнообразию.

Почему для России желательно продолжение распада до тех пор, пока от ее институциональных структур ничего не останется? Потому что это единственный путь к избавлению страны от покровительственной психологии и ее носителей — коммунистических кадров. Тако-

го рода радикальная хирургия является необходимым предварительным условием для подлинного прогресса.

Поставленный вне закона и формально лишенный власти, коммунистический аппарат все еще вполне жизнеспособен. Своим выживанием он обязан тому факту, что при режиме, который наделил его политической монополией, лишь он один имел возможность приобрести административные навыки. Это первая причина, по которой демократическая интеллигенция не смогла его заменить. Но старый аппарат умудряется удерживать свои позиции еще и потому, что его основного соперника, интеллигенцию, можно побудить к действию только тогда, когда надо сопротивляться. Как и российское общество в целом, интеллигенция зависима от государства, что в данном случае выражается в сопротивлении государственной власти, а не в принятии на себя правительственной ответственности. Одно из разочарований последних лет состоит в том, что интеллигенция не смогла или не захотела совершить переход от индивидуального инакомыслия к коллективному лидерству. В этом отношении 1991 г. тревожно напоминает 1917 г.

Отсюда аномалии сложившегося положения: коммунизм уничтожен, страна привержена демократии, и все же гражданские службы в основном и военное командование полностью находятся в руках бывших коммунистов. В российской сельской местности и в небольших городах заправляют те же люди, что были у власти при Брежневле. Это аппарат без головы, однако все его прочие органы сохранились в целостности и функционируют. Эти люди более не получают приказов из ЦК партии, но многолетняя дрессировка позволяет им инстинктивно понимать, что от них ожидается. Подобно царским и советским бюрократам, эти аппаратчики рассматривают общество как врага; они презируют демократию во всех ее проявлениях; они боятся и ненавидят Запад, как источник подрывных идей. Внеш-

не они подчиняются, но в то же время умеют систематически подрывать общественные инициативы. Особенно это верно для КГБ, чьи щупальца до сих пор проникают повсюду.

Для того, чтобы Россия двигалась к нормальному состоянию, этот аппарат должен быть искоренен. Не смирившиеся со своим падением, злобные и мстительные, старые функционеры первыми перейдут на сторону победителей, если Россия круто повернет вправо на дорогу, ведущую к диктатуре. Несмотря на поддержку ими августовского путча, они не были изгнаны. Это растопка для костра, ожидающая поджигателя, намеренного вызвать пожар по всей стране, дабы выступить в роли ее спасателя.

Сейчас Россия получила уникальный шанс построить государство заново с самого фундамента и в процессе этого строительства избавиться от наследия патриониализма. Такая перестройка по необходимости будет дестабилизирующей, по крайней мере в течение некоторого времени. Но этим стоит рискнуть, ибо, как показал пример Румынии после свержения Чаушеску, "стабилизация" нереформированного коммунистического режима ведет к сохранению *in situ* старой правящей элиты. В дальней перспективе создание государства, основанного на общественном консенсусе, увеличит стабильность России, ибо предотвратит превращение политических кризисов в общественные катаклизмы.

В течение 70 лет российская политическая система имела вертикальное строение, пронизывающее все общество; столпы государственной власти служили его стабилизаторами. Это было хитроумное механическое сооружение, внушавшее почтение и казавшееся нерушимым, пока оно сохраняло свою целостность, но более чем бесполезное, если только поддерживающие его столпы сгнили. В общественной ткани были только нити основы и не было утка. Первейшей необходи-

мостью для страны сейчас является создание сети боковых связей, соединяющих между собою отдельных лиц и их группы и не зависимых от государства. Это дало бы обществу необходимую сплоченность, позволяющую уравновешивать государство и вступающую в действие во времена жестоких политических кризисов. Чтобы такое произошло в стране с российскими традициями, людям надо отучиться ждать приказов сверху. Они должны быть предоставлены самим себе и вынуждены организоваться, дабы выжить.

Становление политического режима — процесс скорее органический по своей природе, нежели механический. Оно не может быть простым по многим причинам, не последняя из которых состоит в недоверии, которое коммунисты, дабы легче было управлять подчиненными, сознательно насаждали среди них. Русские необычно, неестественно подозрительны друг к другу и к любой власти. Это недоверие, ставшее инстинктом, бывшее надежнейшей гарантией выживания в условиях коммунизма, должно быть преодолено, если мы хотим, чтобы возникла лучшая политическая система. На это потребуется целое поколение, а возможно, и больше. Научить этому нельзя: доверие к своим согражданам — основа гражданского общества, оно приходит только с опытом.

То, что было сказано о политике, относится и к экономике. Когда централизованная государственная экономика распадается, ее место с неизбежностью занимает новая. По необходимости — ибо русские вовсе не собираются ложиться и помирать от голода и холода потому, что правительство не может более снабжать их пищей и топливом. На руинах социалистического порядка уже возникает примитивная бартерная экономика, а наряду с ней и гораздо более передовые формы экономической деятельности, такие, как товарные биржи.

Если свободному рынку суждено стать реальностью, гораздо более вероятно, что он возникнет из этих

ростков, а не из "регулируемого рынка", некогда придуманного Горбачевым и коммунистическими реформаторами. При всех трудностях, которые создает для России и ее бывших младших братьев крушение централизованной экономики во время переходного периода, его следует приветствовать как необходимое предварительное условие для появления более эффективной системы производства и распределения.

Русские, склонные к колебаниям между крайностями — между хвастовством и униженностью, — в настоящее время находятся в состоянии самоосуждения. Они рассматривают себя и свою страну как историческую неудачу и отчаянно ищут образцов за рубежом. Они хотели бы походить на Соединенные Штаты, а еще лучше на Швецию, которая восхищает их своей способностью соединять демократию, процветание и социальное равенство. Но эти иностранные модели неприменимы к стране с особой историей и политическими традициями, какой является Россия. Такое задание должно быть выполнено дома. Чем скорее обстоятельства заставят русских постоять за самих себя, тем скорее они создадут политическую и экономическую систему, соответствующую их собственным условиям и культуре.

Могут возразить, что единственной такой системой является автократия. Действительно, на протяжении всей своей истории Россия имела автократические режимы, которые жертвовали правами индивидуумов ради коллективной безопасности. Такие режимы, однако, результат не врожденной неспособности к самоуправлению, а скорее недостаточного развития общественных и политических институтов, что делало деспотическую власть единственной альтернативой чему-то еще более худшему, а именно анархии. Если таким институтам будет дан шанс для созревания, — а это может произойти лишь в условиях не слишком неблагоприятных, — нет причин, по которым русские не

создали бы политический и экономический порядок, более соответствующий требованиям современности.

Из всего этого следует, что у российской трагедии нет быстрого решения. Страна должна преодолеть 75-летнее наследие коммунизма и многовековое наследие царизма, главными институтами которого были автократия и крепостничество.

В этом процессе излечения внешние силы могут играть только ограниченную роль. На Западе ведутся острые споры о размерах и характере экономической помощи, которую промышленные демократии должны оказать государствам — наследникам Советского Союза. Одни хотят связать массированную помощь с далеко идущими реформами и демилитаризацией. Другие возражают против такой помощи на том основании, что она приведет к стагнации умирающего старого режима. Аргументы этой второй группы более убедительны. Условия, при которых Соединенные Штаты предложили план Маршалла для помощи Западной Европе после второй мировой войны, были в основе своей отличны от тех, что господствуют сегодня в странах, выбирающихся из-под развалин коммунизма. Европа была тогда разрушена физически, но ее населяли народы, обладавшие необходимым умением и институтами, необходимыми для восстановления экономики. В России же, напротив, заводы, фабрики и т.п. относительно целы, но нет нужного умения и институтов. Многомиллионные впрыскивания твердой валюты лишь помогут поддерживать status quo.

Даже если оставить в стороне эти соображения, сами масштабы задачи перестройки советской экономики при помощи иностранного капитала делают эту задачу утопической. Западная Германия, как ожидается, должна будет в следующие три года потратить 250 миллиардов долларов из правительственных фондов для восстановления восточной половины страны. К этому нужно добавить сотни миллиардов частного капитала,

который будет там вложен западными немцами. А ведь бывшая Германская Демократическая Республика с населением, равным 1/17 населения СССР и 1/2 населения России, обладала самой передовой экономикой в коммунистическом блоке. Чтобы сравниться по масштабам с помощью, оказываемой ГДР, России потребовались бы финансовые вливания, достигающие триллионов долларов. Таких денег сейчас нет нигде.

Однако существуют и другие, более скромные формы помощи. Речь идет прежде всего о "ноу-хау", особенно об управленческом искусстве, этой ахиллесовой пяте российских организаций, равно как и о технике руководства муниципальными органами, судами, банками и т.п. Во-вторых, срочная помощь может быть оказана в форме поставок продовольствия и лекарств, чтобы помочь стране пройти через ближайший, самый трудный период, когда риск общественных беспорядков, вызванных всеобщим дефицитом, наиболее велик. В 1921-1922 гг. Герберт Гувер показал, как такая помощь может быть предоставлена России быстро и эффективно.

Но со стороны Запада абсурдно ставить условием такой помощи реформы, которые в нынешних условиях никто не может провести. Помощь должна быть оказана быстро, щедро и без всяких условий, чтобы уровень страданий и нужды не оказался чрезмерным.



Эрлен БЕРНШТЕЙН

НАРИСОВАЛИ ДОМ И ХОТИМ В НЕМ ПОСЕЛИТЬСЯ

*Попытка системного анализа рыночной экономики
в постсоветский период*

Что является тем звеном, которое делает экономику рыночной? Частная собственность? Но ведь частная собственность была и раньше, до рыночной экономики. Всегда была, в течение всего "послепервобытнообщинного" периода. Но экономика рыночной не становилась — всегда что-то мешало. Например, феодальные отношения "сюзерен-вассал". Собственника можно было принудить делать то, что ему невыгодно. И это резко снижало эффективность хозяйствования.

Рыночную экономику создали отношения "производитель-потребитель". Первый работает на второго, производя то, что тот покупает. Чем больше производит-продает, тем богаче будет жить. Стремясь к

максимальной выгоде, производитель нащупывает, чего и сколько ему производить. И делает несколько больше того, что нужно потребителю, ибо обнаружить границу можно только перейдя ее. Потребитель, имея избыток предложений, оказывается хозяином положения — чтобы его угодить, производитель должен стремиться к прогрессу, и это хорошо для обоих. Важно лишь, чтобы ему не мешали, чтобы в его отношения с потребителем не вмешивались внеэкономические факторы.

Почему же говорят, что рыночную экономику делает частная собственность? Ответим вопросом на вопрос: а кто так говорит? Так говорят те, кто никогда не жил в условиях господства отношений "начальник-подчиненный". Говорят и пишут. А мы читаем — кто в оригинале, кто в переводе — и повторяем. И делаем вывод: чтобы перейти к рыночной экономике, надо все передать в частные (акционерные) руки. Ввести соответствующие законы и обеспечить их исполнение. И все само собой пойдет. Государство будет защищать нас от внешних и внутренних врагов, заботиться о слабых и больных, а экономика будет всех кормить. Ей только не надо мешать. Почему-то не получается. Никак не удается все приватизировать, а то, что уже приватизировано, не дает ожидаемого эффекта. Кто-то и что-то все время мешает. Кто, что и почему?

1

Обратимся к уже упомянутым отношениям "начальник-подчиненный". В них все дело, ибо они были основой командно-распределительной системы, которую мы построили и от которой теперь отказались. Эти отношения — совершенно уникальны, подобных им мировая история не знает. Начальники были всегда, но они никогда не были экономически ответственными.

Место экономической ответственности у нас заняли постепенно сложившиеся правила игры, соблюдение которых гарантировало нормальную жизнь ее участникам. Потребителю в этих правилах не было места. Как субъект со своей волей, определяющий смысл хозяйствования, — он попросту исчез. Каждый производитель был ориентирован на своего начальника — главк министерства, отдел Госплана. Их взаимодействие регулировалось системой показателей, которая должна была — по правилам игры — фиксировать непрерывный прогресс.

В количественном выражении это означало требование непрерывного увеличения производства продукции. Необязательно той, которая нужна, а той, которая попадала в утвержденные номенклатурные списки. При их формировании потребность в продукции отнюдь не была главной. Естественно, что значительная часть ресурсов вкладывалась в производство того, что не нужно.

В качественном плане система показателей требовала, чтобы любая выпускаемая продукция была на уровне лучших зарубежных аналогов. Иными словами, каждый отечественный производитель должен был вступить в соревнование со всем миром. Очевидная бессмыслица этого требования лишила производителя каких-либо качественных критериев. Постепенно стиралась разница между хорошим и плохим. Все большая часть ресурсов общества вкладывалась в производство мало пригодной к эксплуатации продукции.

Такая система хозяйствования неминуемо вела к краху. Сама по себе. Даже при самых благоприятных обстоятельствах. Такие обстоятельства были: открытие нефтяных и газовых богатств Сибири, например. Было и долго действовавшее неблагоприятное обстоятельство: высокий уровень военного противостояния.

Взаимодействие обстоятельств влияло лишь на темп движения хозяйственного организма в пропасть. Направление этого движения было задано внеэкономическими отношениями "начальник-подчиненный".

В свете этой логики видно, что главный порок командной системы состоит не в неспособности все учесть и распределить. Будь это так, то можно было бы надеяться. Надеяться на прогресс математики, благодаря ему можно создавать все более совершенные модели распределения. Надеяться на прогресс вычислительной техники, благодаря которому можно все быстро и точно рассчитать. Надеяться на прогресс техники связи, позволяющий быстро получать необходимую информацию. Однако командно-распределительная система была обречена. Прежде всего потому, что принципиально игнорировала потребителя.

Еще одно важнейшее обстоятельство. Рыночный механизм обладает замечательной способностью поддерживать соответствие между производством и потреблением. Но он демонстрирует эту способность лишь при непременном условии — если производится столько, сколько нужно, и немного больше. Если же возникают крупные дисбалансы, он начинает давать сбои — вспомним кризисы западной экономики. Командно-распределительная система оставила в наследство чудовищные диспропорции во всех звеньях хозяйственного организма. В таких условиях рыночному механизму работать еще не приходилось, и нет никаких оснований рассчитывать, что он сможет справиться самостоятельно. Конечно, ему не надо мешать, но помогать ему необходимо. Наследство сегодняшней России уникально, и у нее, увы, опять должен быть свой путь. Какие специфические трудности ожидают нас на этом пути?

2

Первая и главная трудность — это мы сами, наш "совковый" менталитет. "Совок" — по природе своей временщик. Отношения "производитель — потребитель" означают, что каждый автоматически становится собственником. Как минимум — владельцем своей рабочей силы. И должен уметь распорядиться своей собственностью так, чтобы получить не только сиюминутную выгоду. Без этого обычно длительно воспитываемого умения человек, получивший во владение имущество, еще не полноценный собственник. Ему не с чем включиться в рыночные отношения.

В условиях командной системы никто из работников ничем не владел, но каждый чем-нибудь распоряжался. В пределах прав, предоставляемых занимаемой должностью: швейцар — входом в ресторан, врач — больничным листом, генсек — государством. Распоряжался, не неся ответственности за последствия своих действий: благополучие врача, например, никак не зависело от состояния здоровья больного. И так было на протяжении жизни нескольких поколений. Поведенческие навыки человека нельзя изменить в одночасье — менталитет временщика не исчезает вместе со сломом командной экономики.

Быть субъектом рыночной экономики — значит самостоятельно организовывать свою деятельность. Это не просто природный дар, подкрепленный внешней средой, это еще и квалификация. Там, "у них", этому обучают в школах, колледжах, университетах. Мы этого не проходили. Нас учили тому, как устроены разного рода вещи (машины, технологии, материалы), а как действовать, чтобы эти вещи создать — нам предписывали. С помощью распоряжений, инструкций, стандартов. В результате почти во всем, что требует ответа

на вопрос — что и как (в особенности "как") делать — мы оказались без профессионалов.

Всего один пример. Человек окончил инженерный факультет с конструкторским уклоном. Он поднимается по служебной лестнице, становясь старшим, ведущим, главным конструктором. До этого момента его карьера профессиональна. Но вот главный конструктор становится директором завода, затем — министром. И это уже странные с профессиональной точки зрения (хотя и обычные для нас) зигзаги. Ни директор, ни министр не конструируют машины, конструкторские навыки им не нужны. Им нужно что-то другое, чему их не учили (Академия народного хозяйства не в счет, это скорее ритуальное, чем учебное заведение).

Профессиональную подготовку заменяли правила игры, которые они постигали в каждодневной практике. В рыночной экономике эти правила не действуют, на местах директора и министра нужны не выходцы из конструкторов и технологов, а профессионалы. Такие, что смогут вовремя нащупать брешь на занятом конкурентами рынке, быстро организовать производство соответствующей продукции и проникнуть в эту брешь, расширив ее до размеров прибыльной ниши. Это квалификационный отряд предпринимателей, это предпринимательская смолodu карьера, на вершине которой — директора фирм, президенты концернов. Нужны и такие специалисты, которые, стоя уже на позиции потребителей, следили бы за действием рыночного механизма, по возможности предотвращая перепроизводство и предупреждая дефицит. Это квалификационный отряд государственных, муниципальных деятелей, опять же специфическая с молодых лет карьера, на вершине которой — министры экономики, финансов, промышленности, сельского хозяйства, торговли, губернаторы, мэры и президенты.

Активные субъекты рыночной экономики — это не только специально подготовленные профессионалы. Это все работники, на всех уровнях. От их умения ориентироваться и приспосабливаться, от их готовности воспринимать нестабильность своего положения, как свойственную рынку норму, в решающей мере зависит успех реформы. Большинство из нас этим умением и готовностью не обладает, ибо не понимает сути происходящего. Всей сути, пусть не в деталях, но обязательно в целом — а не только отдельных законов, указов и постановлений. Нас нельзя ставить на одну доску с американцами, европейцами, японцами, ибо даже наши деды не работали на потребителя, а знали только начальника и подчиненного.

Если подвести промежуточный итог — у нас некому делать реформу. Некому, но надо — мы такие, какие есть, и других нас нам взять негде.

Но нам еще и нечем ее делать. Нет готового инструмента. Творцы популярных экономических чудес таким инструментом располагали: деньгами и ценами, финансами и бюджетом, налогами и платежами, государственной и частной собственностью, военными расходами и валовым национальным продуктом.

К их услугам были различные экономические теории, использующие этот понятийный аппарат. Благодаря этим теориям они знали, что делать с деньгами, чтобы сбить цены, каким может быть дефицит бюджета, чтобы финансы остались стабильными, как налоги влияют на платежи, какой должна быть доля военных расходов в валовом национальном продукте, чем (и когда) частная собственность лучше государственной. Они могли выбирать между разными теориями, вносить в них коррективы. Ибо это были разные модели той действительности, в которой они жили — рыночной экономики.

К нашей же действительности эти модели отношения не имели, ибо мы создали внеэкономическую систему. Она игнорировала любые экономические законы (что и привело ее к краху). И она была настолько ленивой, что, "отменив" законы экономики, не потрудились выявить и сформулировать собственные, командно-распределительные (такой, например, закон: наличие и постоянный рост дисбаланса между производством и потреблением). Чтобы не выглядеть голой, она надела платье с чужого плеча — обзавелась бутафорским понятийным аппаратом, позаимствовав его у рыночной экономики.

Предприятие никому не принадлежало, им произвольно распоряжались случайные люди — но оно считалось государственной собственностью.

Все получали практически не зависящее от результатов труда жалование — считалось, что это заработная плата.

Для удобства распределения назначенных каждому благ использовались вспомогательные расчетные средства — наличные и безналичные, именные (по ним выдавались товары и услуги в различных распределителях) и безымянные — они считались деньгами. Существовали как бы цены — они назначались и менялись совершенно произвольно. Были и как бы налоги — но их никто "в глаза не видел". На обсуждение и утверждение государственного бюджета уходило один-два дня — ибо это была фикция, в которой не отражались такие, например, "мелочи", как Афганская война. В годы перестройки возник вопрос о военных расходах — ответ так и не был получен: не по причине секретности, а потому, что их никто никогда не считал. Все реальные расчеты велись не в денежном, а в натуральном исчислении — в тоннах, километрах, штуках, в этом смысле наше хозяйство было нату-

ральным, никакие экономические теории ему не были нужны, они были неадекватны его природе.

И вот теперь мы пытаемся заставить работать этот аппарат, долгие десятилетия использовавшийся для бутафорских целей. Описать с его помощью ситуацию, в которой оказались, определить пути реформы. Это все равно как, нарисовав дом, захотеть в нем поселиться.

Снова — пример. На подступах к реформе активно обсуждался вопрос о "горячих" деньгах — что будет, если население пустит их в оборот. Видные экономисты призывали к масштабной товарной интервенции, чтобы предотвратить неизбежный, по их мнению, избыток денег над товарной массой. Они "забыли", что эти "деньги" — всего лишь вспомогательные расчетные средства, с помощью которых разрешалось приобретать лишь незначительную часть производимой продукции (только потребительские товары, и то не все). На эту часть и была рассчитана денежная масса. Настоящую денежную нагрузку — когда за деньги можно покупать все произведенное и производимое — она не могла выдержать, ее должно было резко не хватить. Нынешний кризис наличности во многом порожден этим — не просчетом даже, а как бы сказать помягче, — очевидным недоразумением. То, что этот кризис можно объяснить также и ростом цен, лишь спасает репутацию наших экономистов. (Хотя, почему спасает? Ведь это так просто было предвидеть и просчитать.)

Любая теория моделирует некоторую действительность, только в рамках этой действительности работает ее аппарат, действенны ее выводы и рекомендации. Действительность, в которой мы оказались, можно определить как наследство командно-распределительной системы. Системы, модель которой так и не была

создана, которая — более того — будучи внеэкономической, закамуфлировала себя под некую "социалистическую" экономику. Никакие экономические теории нашу действительность не описывают, поэтому к их рекомендациям надо относиться с максимальной осторожностью. Нам предстоит самостоятельно отыскать законы работы с доставшимся наследством. Было бы большой ошибкой вести поиск под фонарем законов рыночной экономики — только потому, что там светло и есть готовый шанцевый инструмент. Все равно придется копать в темноте, обдирая руки.

Некому и нечем — это, безусловно, главные наши трудности. Но есть и еще одна трудность, которую следует выделить — информационная.

Нет нужды говорить, что общество не может функционировать без полной, достоверной и своевременной информации. Но было бы ошибкой думать, что для получения этой информации достаточно соответствующего указания, компьютерных баз данных и современных систем связи. В уже упоминавшемся случае с военными расходами все это было — но информация так и не была получена. Ибо она просто не продуцировалась. Командной системе важно было знать, какое вооружение необходимо и что должно быть сделано, чтобы его создать. Соответственно этим задачам и была построена информационная структура. Вопросы о военных расходах для командной системы никогда не существовало, и обращаться с ним в информационную структуру было бесполезно — она его просто не понимала.

Всякое общество информационно. Можно сказать сильнее: общество является обществом в той мере, в какой оно информационно. Без информационных связей, обеспечивающих согласованное функционирование всех элементов, общество распадается.

Но каждое общество информационно по-своему. Ему нужны лишь те информационные связи, которые соответствуют законам и правилам его функционирования. Те, что не соответствуют, отторгаются, сколь бы внешне очевидной ни казалась необходимость в них.

В командно-распределительной системе существовала, например, статистика потерь сельскохозяйственной продукции, были соответствующие формы отчетности, но они, как правило, не заполнялись. Правила функционирования системы предписывали постоянный рост урожайности, размера посевных площадей, поголовья скота. Соответствующая информация собиралась, анализировалась, на ее основании принимались решения, призванные обеспечить дальнейший рост показателей. Информация о потерях в правила игры не вписывалась, она портила картину, ее старались не собирать. Потребовался специальный и трудоемкий анализ, чтобы, выяснив, что потери картофеля, например, составляют до 75% урожая, а мяса — до половины произведенного. Уже полученные, эти сведения были проигнорированы, ибо система не знала, что с ними делать — в ней не было механизма, который мог бы выработать и реализовать адекватную реакцию. Более того, было прекращено проведение информационного анализа, предварительные данные которого показали отсутствие заметного влияния роста урожая на количество доходящей до потребителя сельхозпродукции. Командно-распределительная система принципиально игнорировала потребителя, поэтому постоянные информационные связи между производителем и потребителем ей были не нужны.

Но именно эти связи нужны рыночной экономике в первую очередь. Больше того, рыночная экономика существует постольку, поскольку производитель знает —

или может узнать, — что нужно потребителю и как он реагирует на произведенное.

Поэтому переход к рыночной экономике можно вполне правомерно рассматривать и как строительство информационной системы, связывающей производителя с потребителем. Нет этой системы — нет и эффективной экономики, сколько бы ни говорить о приватизации, ценах, стабильных финансах и т.п. А информационная система — это отнюдь не только линии связи и базы данных. Это, в первую очередь, люди, умеющие продуцировать нужную информацию. Новые люди, понимающие особенности перехода от командно-распределительной системы к рыночной экономике. В отсутствии таких людей и состоит суть информационной трудности.

3

Так каков же он, наш путь, как далеко мы по нему ушли, долго ли еще идти и что ждет за ближайшим поворотом?

Путь этот состоит из двух этапов. Первый — отказ от отношений "начальник-подчиненный" в пользу отношений "производитель-потребитель". Второй — освоение отношений "производитель-потребитель".

Первый этап уже позади. Страна оставила его за спиной примерно год назад, когда окончательно рухнули командные министерства и вся партийно-государственная командная структура. Этот этап мы проделали скачком: определенное число промышленных и сельскохозяйственных предприятий сразу оказалось в ситуации, когда им не указывают, что производить и что делать с произведенным.

Был ли альтернативный способ прохождения этого этапа? Похоже, что нет: если между двумя состояниями — тем, от которого надо уйти, и тем, к которому надо прийти — лежит пропасть, то ее можно только пере-

прыгнуть. Похоже, что ситуация была именно такой, ибо производственные отношения, которые надо было поменять, — не просто разные, они антагонистические.

Перепрыгнув, общество оказалось в совершенно другом пространстве — в нем царствуют законы экономики. Царствуют независимо от нас, от того, что мы принимаем в Верховном Совете и постановляем в правительстве. Нам следовало бы осмотреться, осознать, что первый этап реформы уже позади. Но мы этого не сделали, нам казалось, что произошли лишь политические изменения, а к экономическим мы еще не приступали. Последствия не заставили себя ждать.

Государственные предприятия, лишившиеся госзаказа (правильнее было бы сказать — госприказа), оказались в том же положении, что и приватизированные. В положении, когда надо производить продаваемую продукцию, покупать необходимое для ее производства и жить на разницу между доходами и расходами. Но этого руководителям и коллективам госпредприятий никто не объяснил, а самостоятельно понять смогли немногие. Большинство продолжали жить по-прежнему: производили — не думая, есть ли покупатель, продавали — не требуя гарантий оплаты, покупали — не платя. Несколько месяцев такой жизни, и образовался огромный кризис взаимных неплатежей, парализующий всю промышленность. Только сейчас принимаются адекватные меры: одномоментное акционирование всех госпредприятий. Промышленность, уже год как приватизированная по существу, становится приватизированной и по форме.

Это лишь один пример, хотя и наиболее яркий. Что же это означает — осмотреться? Мы оказались в освещенном пространстве, ибо это пространство рыночной экономики. У нас есть экономисты, которые знают действующие в этом пространстве законы, пусть только по книгам. Они спорят о толковании этих законов — это неизбежно. Главная сложность в том, что мы оказались в новом для нас пространстве не налегке, а

обремененные наследством командно-распределительной системы — багаж, с содержимым которого мы толком не знакомы. Поэтому не знаем, как он поведет себя в новых условиях.

Разбираться с содержимым багажа поздно. Выход один — поступать с ним, как с "черным ящиком": применяя — осторожно! — те или иные запатентованные рыночными теориями средства, следить за реакцией. В первую очередь, за социальной реакцией.

Удерживать от споров сторонников разных экономических школ невозможно — пусть эти споры будут. Отгородиться от советов и рекомендаций зарубежных специалистов, международных организаций тоже невозможно — надо их принимать. Но действовать — только в соответствии с социальной реакцией.

Очень не хотелось бы, чтобы споры завершились чьей-нибудь победой. Если победят сторонники жесткого управления экономикой, мы рискуем свалиться в пропасть, ибо перепрыгнуть назад не удастся. Если победят сторонники "обвального" движения к западным рыночным моделям, мы рискуем взорвать общество, ибо на такой скорости невозможно уследить за его реакцией. Необходимо неуклонно идти вперед, но только в темпе, позволяющем следить за социальной реакцией. Это наш единственный критерий на всем протяжении второго этапа реформы, пока рыночная экономика сталкивается с рудиментами командно-распределительной системы.

Как и где следить за реакцией "черного ящика", и кто это должен делать?

Не на улицах, площадях, деревенских сходах — там реакция уже выплеснулась на поверхность и сильно искажена. Следить надо там, где она зарождается — на рынке. Не на рынке вообще, а на множестве конкретных рынков. Тех, где конструкторы создают, а машиностроители покупают проекты машин; где предприятия, нуждающиеся в машинах, покупают их у машиностроителей; где продают и покупают сырье, топливо,

металл, комплектующие изделия и запчасти, красители и отделочные материалы; наконец, на рынках, где торговцы покупают у производителей конечную продукцию — продукты, одежду, обувь, а население покупает все это у торговцев.

Нужно следить за отклонениями от равновесия на каждом таком рынке. Что здесь понимается под "равновесием"? Такое состояние, когда продукции достаточно и нет чрезмерного избытка, когда нет монополизма и цены соразмерны с доходами, когда рабочая сила находит адекватное применение.

Этим должны заниматься информационно-аналитические центры. Таких центров должно быть много — столько, сколько рынков. В них должны работать специалисты разных профилей — менеджеры и маркетинологи, экологи и демографы, экономисты и социологи — объединенные методами системного анализа. Результатами анализа должны быть рекомендации о применении экономических рычагов регулирования на конкретных рынках: о льготном или жестком налогообложении, льготных или жестких кредитах, о правительственных гарантиях банкам, отечественным и зарубежным инвесторам.

Рекомендации информационно-аналитических центров должны быть адресованы государственным органам управления экономикой и органам рыночной инфраструктуры. Эти органы должны быть настроены на восприятие рекомендаций, иначе нарушится обратная связь, и реакции "черного ящика" выплеснутся на улицы.

Для удобства восприятия реакций в структуре государственного управления экономикой следовало бы иметь два уровня: макроэкономический и микроэкономический. Каждый — с правом принятия решений в рамках своей компетенции. Макроуровень — это Минфин, Минэкономики, Миннауки, Госкомимущества, министерства по вопросам труда и социальной защиты. Здесь вырабатываются принципы экономической

политики, устанавливаются диапазоны действия экономических рычагов регулирования. Отсюда на микроуровень делегируются права пользования рычагами в пределах установленных диапазонов.

Микроуровень — это министерства по делам равновесия на рынках продукции и услуг: промышленной, сельскохозяйственной и т.д.

Все вышесказанное очень трудно осуществить. У нас нет подобных информационно-аналитических центров. Наши министерства, особенно промышленные, сельскохозяйственные и торговые не готовы к такому восприятию своих функций. Но сделать это совершенно необходимо. Иначе рынок будет диким, а мы будем "обсуждать" свои проблемы на улицах.

И все это должно происходить на фоне широкой информационно-разъяснительно-пропагандистской работы среди населения, ибо оно — активный субъект реформы.

Здесь нет, разумеется, попытки предложить еще одну альтернативную программу реформы. Речь идет о раме, в которую можно вставить любую программу — и правительственную в первую очередь.

Чем должен завершиться второй этап реформы, сколько времени он займет?

Завершиться — установившимся режимом рыночной экономики, в каком живут благополучные страны. Думается, на это должно уйти лет десять, не меньше. Центральное звено реформы — это все-таки люди, их менталитет. Должна смениться хотя бы половина поколения, чтобы люди с рыночно-собственническим менталитетом заняли ведущее положение в нашей экономике.



Л. АННИНСКИЙ

НА ЧЕМ ДУША УСПОКОИТСЯ

Вопрос, который колом стоит сейчас в головах: заслуживаем ли мы как народ того, что с нами происходит?

Как народ — заслуживаем.

Однако народ состоит из личностей. Личность же в основе своей свободна, непредсказуема и таинственна. Потому и народ, состоящий из личностей, есть понятие не только количественное, материальное и вычисляемое (население, рабочая сила, потребительская масса и т.д.), но и мистическое (судьба, предназначение, миссия). А раз так, то можно представить себе нечто вроде еще одной кантовской антиномии: пару взаимоисключающих суждений, каждое из которых тем не менее справедливо:

— Мы как народ заслуживаем своей участи.

— Мы как народ не заслуживаем своей участи.

То есть, при всем том, что "заслуживаем", — это вызывает в душе такой протест, что иногда и жить невозможно. Откуда, собственно, сама эта максима, торчащая теперь из всех дискуссий? — По Сеньке шапка;

по котлу крышка; всякий народ достоин своего правительства и т.д. Текстологически вроде бы из Жозефа де Местра; впрочем, и у Монтескье можно сыскать нечто в том же духе: всякий народ имеет то правление, которое ему впору. Дело не в том, кто и когда сказал это первым, — перед нами суждение как бы "вечное", висящее в воздухе человеческой истории и извлекаемое именно из воздуха, из атмосферы времени именно в те моменты, когда людей охватывает ощущение незаслуженности страданий, рокового просчета, исторической ловушки.

Русские сейчас — как раз в таком состоянии. Оттого и всплывает максима о том, что мы не заслуживаем своей несчастной участи.

Но вопрос о несчастье или счастье — тоже загадочный, темный, подчас почти необъяснимый. Иногда люди чувствуют себя счастливыми в ситуации, которая потом, задним числом, кажется историкам бесприсветно черной. И наоборот, люди впадают в ощущение безысхода в эпохи, которые потом могут стать объектом ностальгической тоски. Счастье человеческое — тайна.

Конечно, есть объективные обстоятельства, через которые не переступить. Если идет война и миллионы убиты, или если наступает бедствие, гибель, исчезновение народа, его культуры, — это несчастье, абсолютное. Но все-таки даже в недрах чернейших эпох люди могут чувствовать себя необъяснимо счастливыми. Не буду вспоминать революцию, породившую несколько таких счастливых поколений (они себя называли "во-время родившимися"), признанных впоследствии слепцами. Но вот война, мировая война. Предвоенная последняя передышка. Гитлер и Сталин делят Польшу. Не в том даже суть, что "делят", а — две гигантские армии сходятся, деля последнее пространство. Апокалипсис на пороге! В Брест-Литовске — встреча войск. Приемы, речи, тосты. За кого же пьют командиры, за что поднимают тосты? За германский и советский народы,

которые "умеют и любят воевать". Слышите? Любят! Да ведь так и было. Песни предвоенные послушать: все в бой рвутся. Все готовы! Заслуживают ли мировой войны люди 1939 года?

Да они ее сами накликают!

Заслуживают ли революции русские люди "периода реакции"? Да они ее зовут, ждут. "Буря бы грянула, что ли..." Ну, она и грянула. Хотя мало кто из звавших понимал, что именно выпрашивает на свою голову. Особенно хорошо это "что ли" — между прочим, стилистически весьма неслучайное для бесшабашной, рискованной, челкашей психологии русских, определившей взлзание огромного народа в воронку революции.

А теперешние межнациональные конфликты на окраинах рухнувшего Советского Союза? Вроде бы от них стоном стонет, криком кричит земля, и все несчастны. А между тем, одно из главных действующих лиц в этих драмах — "добровольцы".

Так хотим мы "всего этого" или не хотим? Заслуживаем или не заслуживаем?

Кто "мы"? Та или эта личность? Личность — разве достойна этих ужасов? Как может личность отвечать за тектонические движения народных слоев, за эти взрывы и оползни?

Так вот и может. Ибо создается личность тою же ситуацией и черпает из того же потока.

У Толстого в "Войне и мире" есть рассуждение, не часто цитируемое, но пронизательнейшее. Человек каждое мгновение волен в выборе. И, выбрав, он чувствует и знает, что выбрал — сам. Долгое время чувство, что он выбрал сам и что ход событий его жизни от этого выбора зависел, живет в сознании человека. Но постепенно оно вытесняется другим чувством: что сделанное было неизбежно и что человека в его выборе влекла какая-то роковая неотвратимость.

Вот это ощущение и возникает по мере того, как личность (свободно выбирающая путь и всегда достойная

лучшего, чем она имеет) осознает себя в масштабе огромного времени и огромного пространства, в масштабе народа или мира. Возникает — как ощущение рока. И только смирение перед судьбой может спасти личность. "Амор фати". Чувство, что ты заслуживаешь именно того, что выпало... тебе — твоему народу — твоему времени. Не избежать.

Я прекрасно знаю, что эти общие рассуждения имеют конкретнейший "прикол и адрес".

Мы — достойны ли того ужаса, который охватывает сейчас наши смятенные души?

Мы — достойны безработицы? Безденежья? Неравенства? И скитанья беженского? И — делать черную работу, когда настроились на белую и вроде бы ей выучились?

Но разве та работа, вернее, те лукавые полуусилия, которыми мы "обозначали" то, что должно быть работой, — разве этой полудохлой "деятельностью" мы не накликали безработицу? Разве мы не говорили, что "работа дураков любит"? Разве мы не презирали деньги, надеясь прожить "как-нибудь поинтереснее", одним "духом"? Разве не презирали мы "черную работу", теша себя тем, что ее сделают машины, а нам останется только "творчество"? И разве беженство наше не подготовлено тем, как преступали, презирали мы все и всяческие границы, по "всей планете" проходили хозяевами, гуляли напропалую?

Личность — в отчаянии от того, что происходит. Но у народа нет другой судьбы. Не то, чтобы мы не заслуживали иного, — но мы накаркали себе именно это. И не то, что нам надо теперь иное "заслужить", а я бы сказал так: раз мы созданы этим своим несчастьем, то и силы в нас должны быть заложены, чтобы его преодолеть.

Чтобы обернувшись, правнуки сказали: какая замечательная эпоха была — на изломе тысячелетий! Сколько правды было сказано, сколько горьких истин осознан-

но, сколько очистительных слез пролито. Сколько живой динамики в этом пробуждении! Сколько трезвой ясности. И сколь счастлив человек, когда он впервые чувствует, как от его усилий меняется к лучшему его жизнь.

Личность — мимолетна сравнительно с народом: живет — мгновенье. Но личность имеет шанс осмыслить неизбежность того, что происходит с народом. В этом она даже и устойчивее. Есть какая-то историческая фатальность в возникновении и исчезновении народов, держав, систем. Личность, сознающая фатум, духовно как бы преодолевает его: она спасает достоинство. На обычном уровне это звучит проще: можно ли достойно пережить недостойные времена?

Но что значит: "пережить"? Переждать? Или, как выражались трифоновские герои: "перекрутиться"? Нет, это невыносимо. "Пережить" — значит не жить. А надо как-то жить в "недостойные" времена. Потому что других не будет.

Да и где грань, где критерий? Что значит "недостойные"?

Мне было семь лет, когда с началом войны времена впервые в моем сознании переломились. Все достойное осталось там, "до войны". Там была жизнь, был отец, детство. Тридцатые годы, нетронутая катастрофой, счастливая реальность — она-то потом и обрушилась в ад в 1956 году. Двадцатый съезд партии сделал нас несчастными. Или счастливыми? Не знаю. Знаю только, что я не простил судьбе своего детства, в ад рухнувшего, — я эту эпоху возненавидел за то, что она не подтвердилась в качестве счастливой. В "достойных" же закрепились тогда у таких, как я, двадцатые годы. Время красных героев, чистых бесребренников: "голова обвязана, кровь на рукаве..." — эти рыцари противопоставились в моем сознании той реальности, в которой я вырос (а выросал я, как можно догадаться,

среди "тыловых крыс" в то время, как мой отец погибал на фронте).

Но и двадцатые годы продержались в качестве духовной родины недолго — до тех пор, пока Платонов и Мандельштам (Надежда Мандельштам) не выявили в них свернутый ужас будущих тридцатых.

Куда было отступать?

В "позорное десятилетие", которое ждало и призывало революционную бурю? В девятнадцатый век?

Но и там, из-под очищенных до бритвенного блеска фигур Писарева и Щедрина хлестало столько тщеты и злобы, нетерпимости, ненависти и наивности! История убегала все дальше в туманную даль... так что же прикрывалось туманом? Медлительное самодовольство екатерининских орлов? Крутая безоглядность петровских реформаторов, идущих по головам? Темная двуличиесть московитов, переживших Смуту и ожидающих Разинщины? Где в родной истории "достойные" времена?

Меня потрясло когда-то, при чтении русских историков, — что в самые жуткие века, когда из-под татар обманом и хитростью, а то двуличием и подлостью уводили, спасали московский престол (не иду глубже в века: зачем неизбежны оказались татары; Гавриил Попов уже ответил: хватило бы ума самим сплотиться в XIII веке, — не пришлось бы нас плачивать Орде), — так вот: когда всякая очередная попытка москвичей уберечь своего князя кончалась неудачей (казнью, набегом татар), — что они думали, что говорили? Вот какое чувство увековечено: это нам за грехи, эти напасти на Русь — за нестроение наше, это мы заслужили...

Может, из этого смирения — что заслужили — и выковалась воля, собравшая державу?

Ну, а если бы тогдашним смиренным московитам шепнул кто-нибудь о том, что будет? О том, сколько унижения, ненависти придется выхлебать их потомкам на этом самом державном пути? Я даже не про прямое

преемство говорю: кто там из моих пращуров во времена оны бежал из-под Рязани на Дон от барских плетей, а кто — из Германии в Польшу от погромов, — я о преемстве Дела: вот мы наследуем Дело, наследуем Дом, который тогда закладывался. Хороши ли мы как наследники? Дом разваливается, а мы на руинах пляшем, радуемся, что свободны! Так вот: если шепнуть на ухо тем нашим предкам, что удержали на московском престоле Василия Темного, ослепленного Шемякой, — пусть Дом калеченный, но законный! — если сказать им, что тысячелетнюю Империю, в фундамент которой они кладут свои кости, будут провожать в небытие под хохот фельетонистов, — что бы они, эти темные москвиты, должны были ответить? И что сделать?

Да ничего. И делали бы — то же самое. Это было бы — достойно!

Есть в личности что-то вроде внутреннего кодекса, по которому она живет (если не калечена). Откуда это, непонятно. Оно в природе человека. Иногда что-то такое фиксируется в Книгах (Декалог, притчи Христовы, суры Корана). Но это именно — в природе, в основе: ощущение внутреннего строя ценностей, достоинство личности. Оно может совпадать или не совпадать со строем времени. Но оно есть.

Если не совпадает, — тут нужна тайная свобода (но рано или поздно тайное становится явным, и тогда ценности, выношенные в душевном подполье, вымывают и подкашивают фундаменты империй). Но если совпадает, — тогда-то и возникает эйфория "счастья". Не обольщайтесь, однако. Не давайте себе слишком увлечься. Все будет огрублено, опошлено, едва "осуществится". И тогда в глубине опять проснется достоинство, независимое от "времен". Не для того, чтобы "пережить" времена. А чтобы жить.

Делай, что можно, и будь что будет.

А когда будет, что будет, — опять делай, что можно. Ни на что не надеясь, делай из внутреннего ощущения ценностей, которое — "неизвестно откуда".

Но тогда интеллигенция должна отказаться от своей исторической роли. А она ее играла? А может, ее просто втянуло в воронку, и роль задним числом не то, что ей приписана, а "доформулирована" до активной степени? И, опять-таки, задним числом выстроено это умопостигаемое единство: "интеллигенция". И даже ставится тот самый фатальный вопрос: а может, она, стремившаяся играть роль и сыгравшая, — заслуживает своей участи?

Так и здесь надо же различать умопостигаемое (и загадочное) единство: "интеллигенцию" как целое — и необозримость личностей, ее составивших.

Личность — да, стремится. Играет роль. Воздействует на ход событий, занимая ключевые посты в общественной структуре. Ленин — русский интеллигент. Ленин — хотел играть роль и играл. Ленин — расплатился за свою роль. Расплатился и за то, что — интеллигент. То же — Троцкий, Бухарин, Воровский и другие "литераторы, пришедшие к власти". Но интеллигенция как целое — где она была в пору, когда на верхушке пирамиды интеллигенты-большевики дрались с интеллигентами-меньшевиками и интеллигентами-эсерами? Где была масса интеллигентская?

Где она вообще обычно бывает в жизни, "интеллигенция"? Играет роль? Нет, скорее таскает декорации. Учительствует, лечит, пишет, философствует в "щелях" жизни, в "порах" государственного организма.

И раньше — на заре разночинства: вождь интеллигенции Чернышевский мерзнет в Вилюе, а где сама интеллигенция? В земствах, в безмолвии российской "глубинки" тихо копошится вокруг "малых дел".

Конечно, первым же вихрем ее из этих малых дел, из этих щелей и пор вырывает история. Так это ж — история, с ее сверхчеловеческими фатальными поворо-

тами. Не сделай Ленин того, что он сделал, — это сделал бы кто-нибудь другой. Из его окружения или из противоположного лагеря — неважно. У Р.Пайпса я как-то встретил поразительную мысль о том, что царскую власть могло спасти только одно: если бы главой своего правительства Николай сделал Ульянова-Ленина. Фантастический вариант?

С точки зрения эмпирической реальности — полнейший бред. Но с точки зрения "хода событий" — роковая и неотвратимая логика. Подходит срок — и автор "бездарного романа" становится властителем дум: когда жандармы прочли "Что делать?" Чернышевского, они решили: такой посредственно написанной книги можно не опасаться. Наивные люди, они не знали России: когда массе нужен вождь, она не то что из автора посредственного романа сделает себе героя-мученика — она и убийцу вроде Нечаева в синодик введет. А что? Тоже интеллигент. Способный мальчик, приехал из глуши в столицу учиться, а тут способных мальчиков пруд пруди. Учиться приехал — не убивать. Выучился — катехизису убийцы-революционера. Сыграл роль.

Интеллигент — по определению — никакой роли играть не должен и не может. Он скорее от этой роли уклоняется. Он из имперского миростроительства сколь может выпадает. Он — от Нила Сорского родословие ведет, от заволжских старцев-нестяжателей, от тех, что бежали "мира сего", спасали душу от его крутой логики. И "лишние люди", украсившие собой русскую литературу в XIX веке, — того же корня и той же стати.

И диссиденты-шестидесятники нашего века, которые тихо шептались на московских кухнях и вряд ли намеревались разваливать Государство Российское. Они об Истине пеклись, о Правде думали, — а история взяла да и развалила "последнюю империю", на их же настроение опираясь.

И нынешнее поколение "неучаствующих", "выпавших" из структуры, поколение "истопников" и "дворников с

высшим образованием" — того же интеллигентского корня. Отказались играть роль! А теперь пьесу так повернуло, что весь эфир и вся печать гудят и звенят от голосов этих "неучаствующих", этих "молчалычников", "отказников", тихонь, святош, постников. Хохот над Лениным, над большевиками, над поколениями русских революционеров от декабристов до Герцена и от "штурманов бури" до последних полуутопленников, прибитых к "Матросской тишине", — это хохот выдвинутых русской интеллигенции, вытолкнутых ходом исторической драмы из "кухонь" на авансцену, вырванных из молчания и "неучастия", корячащихся в актерском раже, играющих "активную общественную роль".

Падет жребий — отыграется роль до конца. Отольются и слезки. Но не "интеллигенция" сыграет эту роль, а те выходцы из нее, каким это будет по силам. Да и по вкусу. И сыграют, и расплатятся.

Интеллигенция — нет. Она останется при своем исконном духовном деле: в "порах" общественного организма, в "щелях" системы, в "складках" жизни. Она должна просто жить. И создавать климат — духовный климат, который не определишь и не ухватишь, а между тем именно он и будет готовить тихо и исподволь все будущие повороты и перевороты истории.

А когда эти надвигающиеся на нас перевороты свершатся, то и интеллигенции уже, пожалуй, не будет, и слово, глядишь, уйдет в историю. А кто, что будет на этом месте? Элита? Менеджерский класс? Новый клир, просвещающий старый мир?

Не знаю.

Да и не хочу знать, пожалуй.

Разве что так: если когда-нибудь мой правнук в стране, которая будет называться... "СНГ"? "РФ"? "Московская республика"? — или пусть забросит его судьба в какую-нибудь за границу, вроде Риги или Ташкента, — если он, потомок мой, обернувшись на нашу сегодняшнюю немыслимость и поняв, куда именно

нас несло в угаре "активной общественной роли", почувствует, как нить преемства и страдания идет от меня к нему, — этого-то мне и будет достаточно. На этом и душа успокоится.

Впрочем, успокоится ли?

В нынешнем хаосе от интеллигенции ждут новых идей, и сама она примеряется к задаче: сплотить распадающийся народ, или так: удержать разбегающиеся народы.

Вряд ли это получится. При начале гласности такая иллюзия еще существовала. Но это была именно иллюзия. Потому что интеллигенция, если взять дело с истоков, сама участвовала в строительстве и укреплении той системы, которую потом изо всех сил рашатывала и разваливала. Потому что именно на ее идеях была спланирована система, и на ее крови замешан тот цемент, которым вся эта гигантская пирамида скрепилась. Потому что разрушая советскую систему, она, интеллигенция, плохо представляла себе, где кончается то, что она разрушает, и как отделить дурную систему от того, что составляет самую плоть жизни.

Теперь интеллигенция бродит среди обломков Советского государства, холодеет от предчувствий и решает: что же это такое развалилось? Семидесятилетняя ли конструкция революционной диктатуры, — хотя поди отдели, где там революционная фраза и диктатура на вывеске и где рыхлая бессильная власть, фразами и вывесками прикрывающая свое бессилие? Или это развалилась тысячелетняя твердыня Российского государства, — и поди отдели, где там последние его семьдесят лет были отрицанием той тысячи, а где — продолжением ее и, значит, спасением государства?

Ничего интеллигенция не строила — она шла в "раствор" строительный. Она подбрасывала строителям идеи и фантазии, утопические проекты и культурные стили, частью взятые напрокат с Запада, частью рожденные отечественными гениями, — но никогда

интеллигенция не была практическим зодчим государства. А всегда — бродильным элементом, "датчиком боли", "противовесом". Когда же скрутили, прижали, припрягли, — так и впряглась тоже на подхвате: "прослойкой", обслугой. А строили государство силы, куда более реальные и серьезные: крестьянство, дворянство, бюрократия, рабочий класс. Вошла Россия в полосу мировых войн, накренилось государство, — и когда только подтолкнуть, свистнуть оставалось, — тут она и сыграла роль: свистнула и толкнула. Даже "возглавить" удалось — на кратчайший исторический миг, пока немногословные сталинцы не перебили многословных ленинцев.

Одно дело интеллигенция сделала гениально: прокричала о страданиях. Своих и народных. Все-таки великая русская литература — ее дело. И образ России в мировом сознании — ее.

Может быть, именно это дело в конце концов и останется в истории. Как веха и духовный опыт. Он никогда не дается даром, а только страшной ценой.

Вот почему я не верю в то, что интеллигенция сыграет роль в России будущего. И не так уж и хочу этого. Роль интеллигенции в реальном положении вещей всегда была эфемерна, и появилась русская интеллигенция именно потому, что в реальном положении вещей возникла ситуация абсурда: европейская власть стала вязнуть в азиатском народе. Тогда и народ начал инстинктивно вырабатывать фермент духовного восполнения; и возникло нечто материально эфемерное и духовно мощное, что-то вроде религиозного ордена с отрицательным богом — интеллигенция. Навербовалась в течение одного-двух поколений: из кающихся дворян, бунтующих поповичей, земских грамотеев и крестьянских детей, прошедших учение, а там и рабочих, учение прошедших. Сделалась нужда — и сошлись люди в интеллигенцию.

Теперь тоже нужда: выскочить из ситуации абсурда. Идем встречным абсурдом: европейская власть велением сверху вводит рынок, то есть имитирует то, что должно вырасти снизу ходом естественного развития. В ситуации двойного абсурда рухнул Союз, обессилена центральная власть, очнувшиеся регионы готовы передаться, на национальных стыках уже и лопнуло, и кровоточит. Свершилось: Левиафан низвергнут! На этом ветрище гуляют неприкаянные народные страсти, интеллигенция же — притихла. Народ жаждет идей, а она не дает. Усвоила урок.

Что будет?

Если судьба хочет от нас раздроба и раздела (а смысл оных — прижать нас к земле, прикрепить — нации к "историческим наделам", работников — к орудиям труда: кончить это безграничное шатание, массовое кочевание, этот морок "всемирности", это пьянящее безделье), — если так, то интеллигенции в будущей России нечего делать, она там работать не сумеет, и она исчезнет, уступит место элите. Или элитой станет.

Если же судьба переложит руль и положит нас в ту же старую траекторию общеимперского спасения "всем миром" (лучше спастись вместе, чем гибнуть поодиночке), — вот тогда интеллигенция очередной раз сыграет свою роль. То есть даст новые идеи, поможет сплотить словами разбредавшуюся массу, а там и скрепит ее. Может быть, и собственной кровью. Ляжет в новую жизнь прокладкой, камнем, жертвой. Продолжит миссию.

Хорошо, если при этом — прокричит миру о том, что с нами происходит. И что значит для мира этот русский опыт. Если русскому опыту еще суждено что-то значить для мира.

Игорь ЯРКЕВИЧ

РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ КАК "ЭКЗИСТЕНЦИАЛИСТ" И "ГРАЖДАНИН"

Тягостное впечатление от нынешнего литературного процесса стало уже общим местом любой статьи, любой рецензии. Но в принципе оно не является новым для российской культурной ситуации.

Кажется, знаменитый афоризм "У нас нет литературы", мимоходом оброненный известным критиком в середине девятнадцатого века, висит как проклятие над русской литературой. То есть с литературой было плохо всегда, но каждый раз по-разному. Этот афоризм стал априорной оценкой, которую современник выносит о современниках, меняется только эпоха. Потом проходит какое-то время, и, к счастью для всех, выясняется, что литература была, и далеко не самая плохая.

Любой нормальный разговор на литературную тему сегодня представляется невозможным. Произошла чудовищная путаница в терминах, каждый из них уже ни-

чего не обозначает или, наоборот, применим к чему угодно. Теперешняя литературная критика напоминает умную собаку: она все понимает, только сказать ничего не может.

Впрочем, это опять же не ново. Гоголя, помнится, в свое время усиленно делали главой "натуральной школы". Потом Гоголь стал писать мистику, а через полтора десятилетия "натуральная школа" превратилась в "постмодернизм". Но изменений по сути нет, в нашем контексте два этих понятия означают приблизительно одно и то же.

Но вообще "постмодернизм" — очень хорошее слово. А "андерграунд" еще лучше! Есть замечательные определения типа "другая литература" и даже более глобальные — "другая культура". Только вот по отношению к кому она другая — к Чингизу Айтматову или Франсуа Рабле? Что же касается андерграунда, то классическим произведением этого жанра теперь можно считать роман Александра Фадеева "Молодая гвардия". Роман — о подполье, все герои безукоризненно подполью преданны и мыслят свое существование только в его пределах, а сделан роман в самом что ни на есть андерграундном стиле — корявом, безыскусном, напрочь отталкивающим любого читателя.

Пусть будет "андерграунд", еще одна яркая зарубежная наклейка. Все-таки в конце концов понятно, о чем идет речь: "постмодернизм" — условное обозначение условного же поворота культуры, а вот "андерграунд" — это все, что не махровый соцреализм.

Но главная особенность сегодняшнего литературного процесса не в появлении новых слов, а в том, что "поминки по советской литературе" грозят перерасти в поминки по русской литературе вообще. Слишком тяжелое наследие досталось втянутому в этот процесс.

Российская культурная среда была в очередной раз обманута социализмом. Считалось, что бой с этим чудовищем будет затяжным и красивым, но чудовище

взяло и рухнуло в один момент, предоставив всем полную свободу, а к ней культурная среда оказалась как раз и не готовой. Наиболее видимую, публичную, поверхность культуры и литературы, в первую очередь, стали определять в основном шестидесятники.

Беда не в том, что пресловутые шестидесятники были плохими в свое время. Беда в том, что их время безнадежно затянулось, и спустя десятилетия они продолжали делать то же самое. И делали они свое дело в конце восьмидесятых так же честно, как когда-то. Но только результаты уже были другие.

В России много всяких бед, а еще одна из них, что никто не умеет вовремя уйти. Более того, отдельный человек или целое поколение появляется на широкой общественной арене тогда, когда его творческий взлет уже далеко позади. Но в целом шестидесятникам можно только позавидовать — они легко и естественно умели произносить: "мы", в их произведениях звучали голоса миллионов. Все романы как бы написаны одним писателем — только если, когда создавался "Архипелаг ГУЛАГ", этот писатель был одинок и сосредоточен, то для получения "Ожога" ему пришлось дышать самыми ядовитыми испарениями московского интеллектуального болота.

Солженицын и Аксенов, несмотря на кажущуюся эстетическую оппозицию, как раз эстетически удивительно похожи. Их эстетика определяется прежде всего за счет коммунистов. Все, что против коммунистов — хорошо, неважно что — джаз, церковь, сексуально-алкогольная шизофрения, народный дух, лагерный бунт... Эта эстетика не допускает "я", разговор идет только от имени масс или поколений. У Аксенова в "Ожоге" протагониста нет совсем, он комбинируется из пяти наиболее характерных представителей эпохи. Как в известных спектаклях Театра на Таганке, где сначала пять актеров играют Маяковского, а потом Пушкина; шестидесятники умели делиться сюжетами.

Для писателей следующих возрастов проблем с "мы" уже не было. Они не имели такого безусловного коллективного опыта и могли произнести только "я". Но к своему "я" им пришлось достаточно пробираться сквозь светлые шестидесятнические воспоминания о том, как все были вместе, и светлые мечты, когда все снова будут вместе.

Для них этот мир, этот "совок" (а "совок" был единственно возможной реальностью) был уже не плох и не хорош. Это единственно возможный мир, иного не будет. И для постижения конкретного, а не придуманного мира оказался нужен опыт Шаламова.

Шестидесятники оценили Шаламова в основном как очередного лагерного свидетеля, а нынешняя критика воздала ему хвалу как очередному социальному страдальцу. Человек сидел, человек страдал, его не печатали, и вокруг все было не слава Богу — такой вот лейтмотив практически всех статей. И вроде бы это правильно, но самого Шаламова здесь явно не хватает.

Шаламов, вероятно, самый "экзистенциальный" из русских писателей послевоенной эпохи. Его творчество точно соответствует призыву Адорно: "После Освенцима не может быть литературы". Шаламову не надо было объяснять смысл этой фразы, после советских лагерей литературы также быть не могло.

Шаламов и не писал "литературу". Шаламов писал "романы" с ударением на первом слоге. На блатном жаргоне "роман" обозначает прежде всего не любовную интригу и не художественную форму, а устный ночной рассказ, которым образованный интеллигент занимается уголовников за определенную мзду. Тема рассказа — любая, на усмотрение рассказчика, лишь бы легла лагерьная ночь.

Шаламов и "тискал" такие "романы", но уже для свободных людей. Недаром среди его "Колымских рассказов" так много повторяющихся сюжетов. Это словно бы один и тот же "роман", который варьируется, об-

растает бесконечными подробностями, а до утра еще далеко.

Но Шаламов меньше всего претендовал на роль новой Шехерезады в качестве гида по миру лагерей. Шаламов оказался первым писателем "конца литературы", отрефлексировавшим свое место. Литература кончилась, потому что ее целью перестал быть социально-исправительный результат. Шаламов никуда не звал и ничего не доказывал. Уголовная романтика, так популярная у шестидесятников, ему отвратительна, и весь свой лагерный опыт Шаламов считает "отрицательным для человека".

Ситуация "конца литературы", обозначенная в европейской культуре в начале двадцатого века, стала близкой и понятной для русской культуры значительно позже, когда "роман" окончательно превратился в "роман". Собственно говоря, сейчас протекает новый "конец", но к таким "концам" уже начинаешь привыкать. Сам по себе очередной "конец" предполагает не исчезновение и не печальный итог, а новый виток или поворот культуры. Но многие незыблемые основания культуры лишаются на таком повороте своей уникальности.

Например, соцреализм. Он совсем не так одинок, аналогов ему вполне хватает. Если посмотреть на него без социальной боли и сквозь призму кино, то выясняется, что знаменитый американский фильм тридцатых годов "Унесенные ветром" по своим художественным достоинствам равнозначен советскому фильму тех же годов "Цирк". А если вернуться к литературе, то романы Л.Фейхтвангера эстетически нисколько не полярны знаменитой эпопее А.Толстого "Петр Первый". Не зря Фейхтвангер так любил Сталина... Соцреализм — это все тот же "большой стиль", но только по-советски — изобретен не здесь, и он полностью равен "большому стилю" в любом другом месте.

И тогда возникает потребность в гирях (писателях) "новой" литературы, которые смогли бы уравновесить весы культуры, перевешенные писателями "большого стиля".

Пишут и те и другие об одном и том же, но перепутать их невозможно. Для писателей "большого стиля" что концлагеря, что проститутки интересны не как самодостаточные ценности, а только как средства к улучшению мира. Поэтому лагерь Шаламова находится в ином измерении, чем лагерь Солженицына, а "Интердевочке" В.Кунина не о чем будет разговаривать при гипотетической встрече с "Русской красавицей" Вик.Ерофеева, хотя они — коллеги. Но если "Интердевочка", лежащая на чаше весов "большого стиля", хочет правду только на земле и вся пропитана зависимостью от социально-политических условий и полным отсутствием рефлексии и метафизики, то "Русская красавица", хоть и не менее уверенно плывет по волнам поп-культуры, но ищет ту правду, которой нет и выше.

Для "новой" литературы ее противостояние "большому стилю" стало главным и поначалу единственным достоянием. Сами по себе различия внутри нее были не так важны до тех пор, пока в "новую" литературу автоматически не стало зачисляться все, что хоть как-то не напоминает "большой стиль".

А потом разбираться уже не было времени. Дальнейшее существование "новой" литературы пришлось на расцвет гуманитарного кризиса, и он уже не предоставил места для внятных разговоров о любой литературе.

И снова не обойтись без участия шестидесятников. Хотелось бы оставить их в покое, но на чужих ошибках хотя бы иногда учиться надо.

Их голоса наиболее звонко прозвучали тогда, когда культурная парадигма безнадежно изменилась. Но для шестидесятников, владевших в конце восьмидесятых

годов всеми "толстыми" журналами и издательствами, время словно бы остановилось. Всему необъятному книжному рынку был как будто сделан приказ равняться на "Доктора Живаго" и "Жизнь и судьбу". И совершенно закономерно для книжного рынка такое равнение ничем хорошим кончиться не могло.

Вероятно, для своего времени это были очень нужные романы, но превращать их в бестселлеры через тридцать лет после создания было полным абсурдом. Люди, определявшие, что издавать, без всяких колебаний считали, что если вся страна прочтет в миллионах экземпляров то, что сами они узнали в далекой молодости из плохого ксерокса, то вся жизнь непременно изменится. Их интересовали только глобальные, а не локальные культурные и эстетические изменения.

Задолго до 1985 г. во всех либерально ориентированных тусовках звучало как девиз: "Если завтра опубликовать Солженицына и Библию, то послезавтра мы проснемся в другой стране". Господство над миром посредством литературы — эта идея грела не только сердца секретарей СП. Разными представлялись только авторы, то есть средства.

Киты русской литературы многолетней давности следовали один за другим, но читатель начинал скучать. И тогда настало время публицистики, она стремительно и честно подняла тиражи. Причем публицистика, как правило, была очень плоха. Это была не история, не историософия, не экономика в чистом виде, а именно публицистика, то есть откровенная спекуляция на малом количестве информации. Где-то и когда-то, пусть слишком поздно, но лучше поздно, советский читатель должен был прочитать то, что он и так давно знал: "колхозы — плохо, Ленин — плохо, уничтожение Аральского моря — плохо" и так далее, список "плохого" оказался бесконечным. Советский человек стал вечным Адамом наоборот, несовершенство мира с каждым новым номером "толстого" жур-

нала открывалось ему новой гранью. Под аккомпанемент вечного первооткрывательства неплохо шла и русская литература. Странно, что издательский кризис не наступил два-три года назад, а только сейчас, когда окончательно изменились социально-экономические условия. Время спекуляций должно было когда-нибудь закончиться.

И этот кризис совершенно закономерен. Любая гуманитарная деятельность, издательская в том числе, определяется в первую очередь степенью эстетического накала. Чем выше накал, тем больше смысла имеет гуманитарная деятельность. В издательской практике конца восьмидесятых годов этого накала не было в принципе.

Официозный литературный процесс шел под прежними флагами. Не возникло внятных издательских концепций, с невероятным замедлением осуществлялась ротация имен, да и в конце концов количество демократии, резко возросшее в политике и экономике, в издательской практике оставалось на прежнем уровне.

Не могли спасти ситуацию и эмигранты. Большинство из них при ближайшем рассмотрении оказались не лучше и не хуже советских писателей, но эмигрант — это уже не советский, а значит — практически зарубежный. Насколько "Панасоник" лучше "Электроники", а "Форд" — "Жигулей", ровно настолько же русский зарубежный писатель казался притягательнее русского советского. Взять в руки журнал или книжку, где бывший соотечественник — это ведь все равно, что открыть банку импортного пива.

Но эмигранты всех обманули. Нетерпеливая общественность ждала не только, что ее одарят произведениями с определенным сроком давности и ощущением связи с мировой культурой. И зря надеялись. В основном писатели уверяли, что за годы проживания на своей новой Родине не выучили ее языка, а также расписывались в своей горячей нелюбви к Западу и охотно

вспоминали годы борьбы с тоталитаризмом. До мировой культуры уже просто не доходили руки. Более того, скоро литературная ситуация в метрополии стала идентичной той, которая сложилась в изгнании: разомкнутость культурного пространства, какие-то вечные "разборки"... И пафос объединения "наших" с нашими, русских зарубежных с русскими советскими, двух половинок одной литературы, уже оставил, кажется, самых ревностных сторонников такого союза.

Официальная литературная песня сопровождалась неизменным рефреном: "Раньше не печатали, потому что было нельзя, а теперь напечатали, и все будет хорошо". Куплеты в песне менялись и переставлялись — Кузмин, Шестов, Иоанн Кронштадтский, Хрущев, Галич, — но рефрен оставался одинаковым. "Хорошо" выводилось из того, что конкретное произведение не было напечатано в России в течение последних семи-десяти лет. И поскольку не печаталось практически ничего, а потом вдруг стало печататься как будто бы все, то сам собой родился миф о безразмерности русского духовного мешка. Казалось, что сколько раз в этот мешок руку не засунешь, то обязательно вытянешь каждый раз что-нибудь интересное и новое.

Но только вот читатель оказался потерян. Под читателем, естественно, подразумевается не вся Вселенная, а до сих пор большой российский культурный рынок. По социологическим подсчетам, этот рынок составляет от семи до десяти миллионов человек. Вроде бы должно хватить на всех.

Но отсутствие внятных издательских концепций (что издавать в журнале, а что — книгой, каким должен быть журнал и т.д.) привело к полному разрыву между читателем и литературой. Читателя неподготовленного второпях вываленный мешок оглушил; а читателю подготовленному содержание мешка стало неинтересно. То есть средний читатель понял, что русская литература, прежде всего, — это что-то о политике давних лет и

исключительно в черно-белом варианте. И сейчас надо доказывать, что современная литература — это не только Ленин и Сталин, но еще и любовь, эротика, метафизика, все традиционные и нетрадиционные "вечные" и "проклятые" вопросы, и ничто человеческое ей не чуждо.

Но где доказывать и как? Представление о "новой" литературе дают в основном альманахи, между выходами которых большие промежутки, создаются они по принципу: "Сделаем номер, а там посмотрим", и большинство из них не доходит даже до читателя элитарного. Инфраструктура разрушена напрочь, отсутствует литературная журналистика, критика, все существуют сами по себе — альманахи, издательства, писатели, читатели, литературный процесс.

И в этом не виновата экономика или другие социальные факторы. Кризис издательский — сначала дело самой литературы. Эстетический накал был настолько слаб, что просто удивительно, как вообще что-то выходило. Издатели второй половины восьмидесятых годов были ориентированы на любую культурную ситуацию, кроме той, что сложилась в реальности, а имя ей (разумеется, опять же условно, но точных литературных идентификаций нет, критика озабочена другим) постмодернизм. И эта ситуация требовала уже совершенно иных издательских концепций, а прежде всего попыток слияния "элитарного" и "попсового". Разделять две эти категории в нынешней ситуации бессмысленно. Хороша такая ситуация или нет — вопрос другой, но еще Пушкин советовал, что лучше быть дураками по моде, чем дураками вне моды. Перефразируя Пушкина, можно заметить, что лучше быть дураками по конкретной культурной ситуации, то есть по "постмодернизму".

Но ни шестидесятники, ни все остальные "дураками" стать не пожелали. И литература оказалась в плотной и надежной изоляции, просто перестав быть частью культуры. Она оторвана от театра, кино, живописи... С

одной стороны, это вполне объяснимо, ведь если раньше все были вместе — художники, музыканты, врачи, поэты, краснодеревщики, то теперь каждому надо идти своей профессиональной дорогой. Но, с другой стороны, изоляция литературы от культуры — феномен откровенно прискорбный. Дело в том, что русская культура, как, впрочем, и любая европейская, всегда "вращалась" вокруг слова, вокруг Логоса, в отличие от тех культур, которые строились на визуальном восприятии. И выпадение литературы из культуры означает для культуры отсутствие "центра", объединяющего и подстегивающего.

А писателю никак не удастся снять с себя доспехи героя. Если раньше он сражался против идеологического идиотизма, то теперь — против экономического. То, что с большой натяжкой можно назвать русским постмодернизмом, вполне соответствует российскому книжному рынку. Писатель барахтается в оппозиции "попсовое" (коммерческое) — "элитарное" (некоммерческое), хотя такое противопоставление абсолютно бесперспективно. Впрочем, для гуманитарного кризиса характерны надуманные, взятые откуда-то с потолка историософские и культурологические схемы как в отношении прошлых лет, так и своего времени.

Равнение на прошлые культурно-исторические пласты без учета сегодняшней ситуации, без критического подхода к необъятному наследию является определяющим в издательской практике. Хороший или плохой философ Бердяев — раньше такой постановки вопроса просто быть не могло, потому что Бердяев, как одно из действующих звеньев борьбы с коммунизмом, был святым. Нет больше коммунизма и необходимости борьбы с ним, но "святость" Бердяева и других персонажей культуры все равно не подлежит сомнению. Издатели "коммерческие" (а иначе, чем в кавычках, их обозначить нельзя, сложно представить, например, во Франции коммерческие издания Бердяева) озабочены

прежде всего созданием полки непререкаемых авторитетов, священной плеяды борцов. И без каких бы то ни было попыток серьезного разговора, насколько дело этих борцов "работает" в сегодняшней ситуации, только "святые" — и все. А самый убедительный довод: раньше ведь не печатали, об этом даже и подумать было нельзя, а теперь вот напечатали, и все должно сразу измениться к лучшему.

Но главная причина такой "святости", пожалуй, в другом. По уже сложившимся стереотипам, Бердяев и другие религиозно-философские писатели несли иную эстетику, чем вскоре победивший ленинизм.

И Бердяев, и Ленин в одинаковой степени выросли на марксизме. Бердяев, кстати, всегда любил Ленина и ценил его. И не случайно, что марксизм наложил на Бердяева не менее значимый отпечаток, чем на Ленина. Знаменитая фраза последнего "Учение Маркса все-сильно, потому что оно верно" могла бы вполне принадлежать и первому.

Самым страшным оружием большевиков всегда была демагогия. Перед фразой, типа только что процитированной, можно только склонить голову и завороченно смотреть, как кролик на удава: никаких логических аргументов против нее найти невозможно. Немало подобных фраз есть и у Бердяева.

В статье 1907 г. "Метафизика пола и любви" он пишет: "Возьмем для примера хотя бы Пшибышевского, отравленного демонизмом пола, проклятием пола. Да и вся почти новая литература пишет о том, как демоничен пол, как не может с ним справиться современный человек".

Прошло много лет, в новой литературе произошла естественная ротация имен, но критика "толстых" журналов продолжает упрекать ее в том, что пишет она только о поле и, следовательно, далека от истинных христианских позиций. И это не удивительно, в последние годы целый ряд "толстых" журналов, как по

приказу, сменили свои невразумительные политические и гуманистические "позиции" на такие же невразумительные, но уже христианские.

Ориентация журналов может быть какой угодно, но упреки к новой литературе — очень похожи. Стрелка часов времени словно бы застыла на тысяча девятьсот седьмом годе.

Держатся эти позиции в основном на зыбких и достаточно инфантильных представлениях, — в частности, что своеобразие России объясняется прежде всего двумя прилагательными: крестьянская и христианская. Но ведь любая европейская страна и даже некоторые страны Америки тоже являются христианскими. И тоже были до какого-то времени исключительно крестьянскими. Но никто же не выводит только из двух прилагательных особенности менталитета среднего жителя одной из этих стран. С Россией как всегда все сложнее: умом не понять, зато можно поверить. Но верить-то можно по-разному.

Неизвестно почему легко забывается, что Россия конфессионально всегда была неоднородна. И дело здесь не в других религиях, которые были территориально рядом с православием, а в том, что, начиная с реформы Никона, дало трещину само православие. Но этот год практически не отражен в современных истории и историософии, в основном он известен по романтическим преданиям. Значительно менее интересные даты упоминаются (хотя и концептуально бесполезно) несравненно чаще. И само православие моделируется по образцу государственно-синодальной религии. Просто удивительно, что религия, имеющая бесконечное множество оттенков — от интеллектуально-изолированного до всевозможных форм "народного" православия, объединяющего древние архетипы с церковной догматикой, сводится к единому знаменателю.

Ожидали от "толстых" журналов на самом деле другого, а именно — заполнения провала, находяще-

гося там, где должна быть христианская этика — своеобразный "мост" между церковной догматикой и светской жизнью. Понятно, что такую эстетику нельзя создать, но попытаться выявить ее и описать было бы вполне по силам. Но нет, все это как-то сложно, гораздо проще в сто первый раз обвинить новую литературу в аморальности, безнравственности, отходе от традиционных для русской литературы чистоты и теплоты.

Да только литература и не обязана отвечать никаким церковным нормам. Она — занятие исключительно светское, а когда критик, который также занят светским делом — литературной критикой, публикует статью с претензиями к светской литературе в светском же издании, все это в итоге выглядит достаточно забавно. С таким же успехом можно обвинять новую литературу, что она не соответствует правилам игры в баскетбол.

К тому же русская культура, как опять же, впрочем, и любая европейская, последнюю тысячу лет существует исключительно в рамках христианской культуры, и любой писатель, владеющий русским, априорно находится среди знаков и флажков христианоцентричной культуры. И по отношению к этой культуре Евгений Харитонов ничуть не менее христианский писатель, чем Гаршин или Глеб Успенский.

Вообще новая литература значительно более традиционна, чем это кажется на первый взгляд предубежденному читателю. Например, вполне традиционно для писателя раздвоение на "экзистенциалиста" и "гражданина". "Экзистенциалист" слишком далек от окружающих его реалий, его занимает мир страстей, но из этого мира надо порой возвращаться к жизни, и тогда на помощь приходит "гражданин", который пишет статьи и ведет активную общественную работу. Бахтин назвал некоторые статьи "Дневника писателя" Достоевского персонажными, то есть их вполне мог бы написать кто-нибудь из персонажей "Бесов" или "Идиота". Приблизительно такое же впечатление персонажности

остается от публицистики и выступлений Эдуарда Лимонова. Трудно представить отрывки из его романов "Это я, Эдичка" или "Подросток Савенко" на страницах тех изданий, где Лимонов регулярно печатается как журналист. А любопытному читателю остается только терпеливо ждать — кто же окажется сильнее, кто в конце концов победит — "экзистенциалист" или "гражданин".

Достаточно традиционна и ситуация, в которой оказалась новая литература. Русское культурное пространство всегда было "разорвано", цифровые совпадения не обещают ничего хорошего. Так и не познакомились Толстой с Достоевским, никогда не выезжал за границу Пушкин, а после гибели на его квартире остались нераспроданными тысяча семьсот семьдесят пять экземпляров "Истории Пугачевского бунта", который был, как известно, в 1775 году.

Что касается эротики, с которой так усердно связывают новую литературу, то сегодня именно эротика мало кого интересует. В основном, это — "как бы" (любимое выражение русского постмодернизма) эротика, некая отдаленная область, куда можно скрыться от социальной заколдованности будней. И символизирует эротика, как правило, совсем другое, к эротике прямого отношения не имеющее, а то и прямо ей противопоказанное.

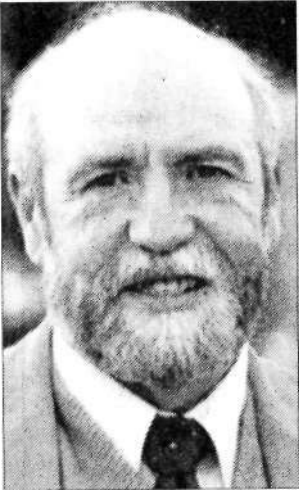
Стоит немного определить смысл российского постмодернизма. Главное его достоинство — точное зафиксирование ситуации "конца литературы", когда уже окончательно ясно, что роман (рассказ, повесть) писать нельзя, и каждый раз роман (рассказ, повесть) означает удачный выход из положения, что "нельзя писать". Постмодернизм "юридически" оформил дистанцию между писателем и его произведением. Но опять же это не совсем ново для России. Был такой роман, первый и пока единственный в стихах, "Евгений Онегин", где эта дистанция уже четко определена. Достоевский пошел дальше — он умел обыграть эту дистанцию. У него

постоянно встречается фигура комментатора, которому заранее известны все события, и этот комментатор словно является доверенным лицом как писателя, так и читателя.

Постмодернизм можно поблагодарить и за то, что многие противоречия русской культуры он высветил ярко и сильно. И если сейчас становится ясно, что читать Бердяева представляет такое же удовольствие, как и Ленина, то это все-таки признак более серьезного отношения к культуре. Зато все виднее звезды Баркова и Генри Миллера...

Никакая новизна не возможна на долгое время, поэтому новая литература перестала быть собственно "новой", она превратилась в "нормальную" профессиональную литературу. И уже в качестве таковой ей предстоит определять дальнейший ход литературного процесса, а во многом также и культурного.

Но выступать она уже будет, разумеется, не в роли указателя и чревовещателя. А в какой? Может быть, в роли кота, умеющего каждый раз по-новому для членов семьи оценить давно знакомые вещи квартирной обстановки.



Юрий ДРУЖНИКОВ

ПУШКИН, СТАЛИН И ДРУГИЕ

Александр Сергеевич настолько популярен в России, что образованный человек знает поэта, его жену, друзей и врагов лучше, чем своих собственных жену, друзей и врагов, а возможно, и самого себя.

Разные роли пришлось играть Пушкину после смерти. Его объявляли индивидуалистом и коллективистом, русским шеллингианцем, эпикурейцем и представителем школы натурфилософии, истинным христианином и воинствующим атеистом, масоном, демократом и монархистом, умеренным, идеалистом, материалистом и даже историческим материалистом. Список (со ссылками на соответствующие труды) можно продолжить. Но один псалом дружно пелся властями всегда: Пушкин — олицетворение всемогущего русского духа, символ великой, единой и неделимой России, государственный поэт № 1, или даже просто: Пушкин — это наше все.

Разумеется, такая фигура оказалась привлекательной для товарищей, пришедших к власти в 1917 году.

Нигилистические призывы вроде "сбросим Пушкина с парохода современности" работали против самой новой власти, поэтому русских классиков стали сортировать по принципу полезности. Перед вербовкой на службу коммунизму дворянин А.С. Пушкин прошел чистку. Народный комиссар просвещения Анатолий Луначарский, богоискатель, марксист, бюрократ, дипломат и графоман заявил, что "экзамен огненного порога, отделяющего буржуазный мир от первого периода мира социалистического, Пушкин безусловно выдержал и, по нашему мнению, выдержит до конца". А "пока нам нужны помощники", — признался нарком, — Пушкин пускай остается "учителем пролетариев и крестьян".

Еще Ленин, как известно, сконструировал модель русской революции в виде лестницы из трех ступеней: внизу толпились декабристы (которых, кстати, как теперь подсчитано, было 337 человек), а сверху, завершая прогресс человечества, — большевики. Пушкину был выдан мандат представителя того освободительного движения, которое неуклонно вело к светлому будущему, то есть к советскому государству.

Биография и творчество Пушкина политизируются. В Петербурге и Кишиневе молодой поэт был знаком с декабристами и написал несколько стихотворений о свободе. Он никогда не принимал участия в их деятельности, в зрелом возрасте однозначных убеждений не имел, революцию называл бунтом и относился к ней отрицательно. Этот Пушкин был сделан певцом и агитатором декабристского движения, провозглашен другом декабристов, затем декабристом, а в крайних исследованиях даже революционером.

К 37-му году — столетию со дня пушкинской смерти, которому были целиком посвящены газеты в самый разгар массовых репрессий, когда громким чтением стихов Пушкина заглушали стоны миллионов, газеты связали поэта напрямую с Октябрьской революцией. "Пушкин целиком наш, советский, — писала "Правда",

— ибо советская власть унаследовала все, что есть лучшего в народе и сама она есть осуществление лучших чаяний народных... В конечном счете творчество Пушкина слилось с Октябрьской социалистической революцией, как река вливается в океан".

Венцом канонизации в советские святые стал 41-й год. Среди многочисленных мифов об этой войне, которые сегодня более открыто дискутируются и бывшими советскими историками, миф о Пушкине стоит особняком и не все в нем ясно, поскольку пушкинстикой тогда занялся лучший друг писателей лично.

По мнению литературоведа Владимира Свирского, с которым я поделился замыслом писать о Пушкине и Сталине, обычно государственные мифы зарождаются исподволь, их признаки становятся отчетливо видны до официального провозглашения. Для сталинского мифа о Пушкине (назову его условно так) можно точно назвать не только год и место его появления, но даже день и час: родился миф вечером 6 ноября 1941 года.

Имеется в виду, конечно же, торжественное заседание, имевшее место под землей, на станции метро "Маяковская" в Москве (кто предложил идею заседать на вокзале?) в канун 24-й годовщины Октябрьской революции и — доклад Сталина на этом заседании (кто сочинил для генсека манускрипт?). Вождь упомянул Пушкина один раз, но цитата определила основную задачу пушкиноведения, советской литературы, и вообще всей культуры в СССР, по меньшей мере, на полтора десятилетия вперед. Чтобы оценить цитату, придется проанализировать ее контекст. Прокручивая пленку, я слушаю его кавказский акцент, бульканье воды, когда он пьет, и мне чудится, что он изрядно нервничает.

В докладе Сталин размышляет о национализме. "Пока гитлеровцы занимались собиранием немецких земель... их можно было с известным основанием считать националистами". Чувствуете: национализм в Германии оценивается как нечто полезное. Это по-

надобится вождю для оправдания национализма в России. Далее, обращению к патриотическому чувству советских людей в докладе предшествует нагнетание ненависти к лидерам Германии.

Сталин цитирует Гитлера, Геринга, приказы немецкого командования, которые, якобы, сводятся к одному: убивай русских. Солдату не нужны совесть, сердце, нервы. Уничтожь в себе жалость и сострадание. "Вот вам программа и указания лидеров гитлеровской партии и гитлеровского командования, программа и указания людей, потерявших человеческий облик и павших до уровня диких зверей".

Он любил повторять многократно одни слова, выучившись этому у Троцкого. Как он перейдет от потерявших человеческий облик к Пушкину? А очень просто: "И эти люди, лишенные совести и чести, люди с моралью животных имеют наглость призывать к уничтожению великой русской нации, нации Плеханова и Ленина, Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова..." За этим следует вывод "истребить всех немцев до единого, пробравшихся на территорию нашей страны в качестве ее оккупантов".

Прочитанный сегодня призыв Сталина представляется для фронтового времени обоснованным. Но мы знаем, что к началу войны Сталин и его окружение, при вполне мирной ситуации, уничтожили лучшую часть не только русской нации, но всех наций, населяющих Россию, в миллионах, до сих пор не подсчитанных, включая, похоже, находящегося в сталинском списке национальных героев Максима Горького. Сталин обращается ко всем национальностям Советского Союза, но при этом говорит о величии только одной нации — русской, что и есть, в сущности, такой же нацизм. "Ошибки" Сталина приведут к гибели на войне десятикратной по сравнению с затратами человеческих ресурсов, сделанными в войне рейхом.

Может показаться, что список великих русских имен, упомянутых в речи 6 ноября, случаен, для примера. Но — все упомянутые в нем лица известны на Западе. Имена представителей культуры связаны со "святыми местами" в России: Михайловское Пушкина, Ясная Поляна Толстого, Смоленск Глинки, Клин Чайковского, Чеховская Ялта и Репинские Пенаты. Все эти места захвачены и разграблены врагом. Суриков сибиряк, но он — живописец народных испытаний, патриот. А все же странно, что тут без особой необходимости названы вместе враг Ленина, отступник и меньшевик Плеханов и даже откровенный антисоветчик академик Павлов. Повидимому, и это не случайно, не до внутренних политических игр перед лицом врага, единение — вот что в данную минуту важнее всего. И это тогда было воспринято как либерализация, очеловечивание власти. Логично также, что больше всего (четверо) в списке — "инженеры человеческих душ" писатели.

Все названные имена были затем использованы в качестве символов нации, духовных святых, которые нужно защитить от врага, спасти. Но только Пушкин, поставленный после Ленина первым, превзошел все меры.

В том же номере газеты "Известия", как тогда было принято, опубликованы стихи Максима Рыльского, иллюстрирующие положения доклада Сталина. В таких случаях приближенному к редакции "дежурному" поэту звонили ночью и через полчаса он диктовал по телефону или лично привозил в редакцию текст.

Где все растет неутолимо,
Где ум пылает, как костер,
Где с тенью Пушкина родимой
Вел Маяковский разговор,

Где каждый памятник бесценен,
Где каждый камень — славы след,

Где всем земным народам Ленин
Явил немеркнущий рассвет... (И т.д. — Ю.Д.)

Народов рать идет сражаться
За свет, за счастье, за Москву!

Так идеологический миф сразу обрел художественную, поэтическую форму. Теперь, полвека спустя, остается вопрос: зачем великому вождю понадобилась, как выразился Рыльский, "тьма" великого поэта? В кинохронике, отражавшей задачи дня, войска перед отправкой на фронт уже на следующий день зашагали мимо бронзовой статуи, стоящей в задумчивости на Пушкинской площади. Воинские почести отдавались поэту: чеканный шаг, равнение на монумент. Между фальшивыми сводками о потерях и оставленных городах зазвучали классические романсы о любви на слова Пушкина в исполнении лучших солистов Большого театра. Не себя, а Пушкина предложил спасти Сталин, и это был гениальный ход. Но корни причины вовлечения Пушкина в войну лежали, кажется, еще глубже.

Миф о Пушкине, как это видится сегодня, представляет собой часть другого, общего мифа, который я бы назвал супермифом. Супермиф уходит корнями в далекое русское прошлое: он — о превосходстве русских над другими нациями (старший брат) и вытекающей отсюда их мессианской роли в истории, супермиф о России как Третьем Риме (а четвертому не быть). Именно эта мессианская идея трансформировалась в коммунистическую манию освобождения всего человечества первой страной победившего социализма и просуществовала до девяностых годов нашего столетия, когда мы оказались свидетелями ее коллапса.

В начале войны с Германией стало очевидно, что официальная идеология не эффективна. Опасность подгоняла быструю переоценку атрибутики. До войны Москва по инерции придерживалась марксистской вер-

сии о пролетариате, у которого нет отечества — то есть идеи братской солидарности трудящихся всего мира. Считалось, что эта идея служит нашему советскому Третьему Риму: "Интернационал" поют в Москве, а слышно и в Америке, и в Африке. Война показала, что в Африке, может, и слышно, но внутри страны пружина не срабатывает. Братская солидарность немецких пролетариев оказалась фикцией. Они надевали каски и шли оккупировать своих братьев по классу в других странах. Война вернула красную Россию к мифу великодержавному, великорусскому традиционному "Москва — Третий Рим". Вскоре отменили гимн "Интернационал" и закрыли Коминтерн.

Вспомним: положение отчаянное, Москва эвакуирована, великая паника, власть висит на волоске. В катастрофической ситуации паникующие властители готовы зацепиться за что угодно и обращаются к национальным святыням, которые испокон веку считались в России истинными ценностями. Происходит реабилитация православной церкви. В области культуры — стремительный возврат к классике. Радио начинает передавать классическую музыку больше, чем советскую (исключение составляют разве что милитаристские марши и песни), лучшие чтецы читают военные страницы русских классиков, что вполне естественно.

Великий русский поэт стал демонстрировать то, что нужно было Сталину как воздух, и что было реальностью: естественную любовь человека к своему отечеству в час, когда оно стоит накануне гибели, человеческую любовь к исторической родине, в отличие от любви к партии и социалистической стране Советов, которую раньше внушал агитпроп. Национализм, который Сталин осуждал в нацистской Германии, он использовал в качестве основного инструмента пропаганды у себя. Правда, национализм этот будут именовать патриотизмом, но суть от этого не изменится.

Сталинская идея с Пушкиным сработала. Цитата из доклада стала включаться в предисловия ко всем изданиям Пушкина, в его биографии, в исследования пушкинистов. Труды последних (статьи, доклады, книги, особенно для массового читателя) в то время, когда культура была сведена к утилитарному минимуму, сделались полезными для победы и издавались большими тиражами. Известный пушкинист Борис Томашевский сразу же написал пропагандистскую брошюру "Пушкин и родина". Сотрудники Пушкинского дома Академии наук Направились на заводы и в воинские части с лекциями о любви Пушкина к отечеству.

Один старый литературовед рассказывал мне, что в своих лекциях на фронте он сосредоточивался на Дантесе. Убийца Пушкина вернулся в Париж, где его не взлюбили потому, что его французский был с легким немецким акцентом. Оказывается, Дантес был немецкого происхождения. Затем лектор добавлял, что убийца Пушкина стал во Франции шпионом. Открытия пушкинистики работали на пользу дела, еще бы: скрытый немец убил лучшего поэта, удрал в Париж и там стал шпионом! Дантес, между прочим, шпионил для русского правительства. Но эта деталь мешала воспитанию ненависти к врагу и в лекциях на фронте опускалась.

Пушкин — декабрист и революционер стал теперь не нужен. Нынче он был назначен в баталисты, чтобы воспевать военные доблести русской армии. Советский пушкинист Б.Мейлах после отмечал то, что "старое пушкиноведение представляло совершенно неправильно". Это была недооценка важности победных маршей юноши Пушкина. Факт, что начало литературной деятельности поэта совпало с победой русской армии над Наполеоном, пригодился для создания образа певца, поющего славу русскому оружию, сильной и непобедимой России. Писалось, что значение проблемы "Пушкин и 1812 год" выдвигается в литературоведении как одна из наиболее актуальных задач изу-

чения Пушкина. Перелистайте исследования пушкинистов этого периода, и вы увидите, что, скажем, в лицейский период мальчик только и делал, что восхищался героизмом русских в войне с французами, а будучи взрослым — вдохновлял русскую армию на победы в войне с Турцией и воспевал подвиги Петра в войне со шведами.

Упор пропаганды делался на героизм русской нации. Вот типичная статья в газете "Известия" под названием "Мы — русские!" Автор ее Аркадий Первенцев, тогда военный корреспондент, а после лауреат Сталинской премии; его книги, как отмечала позже литературная энциклопедия, "несут отпечаток культа личности". С фронта Первенцев писал: "Сейчас, в годы суровых испытаний и всенародного подъема, мы с гордостью можем обратиться к нашим предкам... Благородные качества русского характера, руководящая роль русского народа... помогли объединению и сплочению всех народов нашего советского государства... Мы должны помнить слова нашего вождя о врагах, о гитлеровцах..." И далее следует уже упомянутая цитата из доклада Сталина.

Тень Пушкина ожила и принимала участие в войне. Его имя начертано на танках, кораблях, самолетах. Известный писатель и пушкинист Иван Новиков, которому тогда было за 65, жил в эвакуации в Каменске-Уральском. В юбилейные даты Пушкина партийные органы организовали ряд платных вечеров, на которых Новиков читал главы из своих романов и лекции о Пушкине. Сбор — свыше 100 тысяч рублей — пошел на постройку самолета. В июле 43-го года в город пришла телеграмма: "На собранные вами средства построен боевой самолет-истребитель "Александр Пушкин", который 28 июня передан в Военно-Воздушные Силы Красной Армии летчику капитану Горохову". Позже сообщалось: "В боях "Александр Пушкин" сбил девять фашистских самолетов". После войны стареющий писа-

тель сочинил стихотворение под названием "Самолет "Александр Пушкин". Заканчивается оно стилистически не очень удачно, но гордо:

Так, русские, мы и наш русский поэт,
Чьей музы не гаснет пленительный свет,
Победный предчувствуя вольный полет,
Совместно сковали ему самолет.

Получается, что поэт ковал себе самолет вместе с нами. Но Пушкин действительно воевал. Учителя должны были на уроках увязывать его патриотизм с героизмом солдат на фронте. На выставках демонстрировались томики Пушкина, простреленные пулями. Очерки военных корреспондентов рассказывали о солдатах, умиравших с его стихами на устах. Само собой, пушкинские даты (дни рождения и смерти) использовались для организации митингов, на которых говорилось о мести врагу, посмевшему посягнуть на наши святыни. Торжественно, с салютами, праздновалось освобождение святых пушкинских мест.

Пресса сообщала о зверствах и разрушениях в этих местах. Была создана специальная правительственная комиссия во главе с писателем Алексеем Толстым, которая на месте зафиксировала уничтожение культурных ценностей, и газеты наполнились призывами отомстить фашистам за надругательство над великим нашим поэтом.

Теперь все точки, где жил или бывал Пушкин, превращаются в национальные святыни. В Михайловском, родовом имении Пушкиных, возле разрушенной могилы поэта в Святогорском монастыре наклеены надписи: "Великому Пушкину — от танкистов энской бригады", "Пушкину — от сталинских соколов", "Пушкин, ты в составе нашей роты дойдешь до Берлина" и пр. Материалы о Пушкине в центральных газетах публикуются на видных местах, но теперь, в связи с успехами на фронте, рядом со славословиями товарищу Сталину, а

также со списками награждений работников НКВД за освоение Дальнего Востока (читай: за строительство новых лагерей — в особенности для немецких и своих военнопленных — и организацию труда в них). Там, в лагерях, тоже чтут Пушкина и КВЧ (культурно-воспитательные части зон) организуют митинги, на которых в первом ряду сидит руководство лагерей и ээки читают со сцены стихи великого поэта-патриота.

Газеты сообщают об успехах в восстановлении города Пушкина. "Памятник Пушкину — на прежнем месте" — гордо сообщает заголовок. Когда Красная Армия отступала, скульптуру Пушкина "советские патриоты сняли и закопали глубоко в землю". В январе 1944 года, когда солдаты ворвались в город, они обнаружили только расколотый постамент. Монумен т был выкопан и поставлен на прежнее место. Теперь от имени Пушкина власти требуют возмещения ущерба: "Загублены величайшие ценности. Германии придется оплатить счет сполна". Начинается ответное ограбление Германии.

Советские войска освобождают Восточную Европу; при этом они ее оккупируют. В пушкинистике возникает новая тема. Научные сотрудники Института русской литературы Академии наук проводят беседы и лекции о Пушкине в частях Красной Армии и на кораблях Краснознаменного Балтийского флота. Проф. В.А. Мануйлов рассказал (теперь именно это важнее всего) о мировом значении Пушкина, и газеты разнесли эту новую актуальную задачу. Вера Инбер, известная тогда поэтесса, закончила свою речь стихами:

Мы слово "Пушкин" говорим
И видим пред собой поэта,
Который родиной любим,
Как солнце, как источник света.

Мы слово "Пушкин" говорим
И видим город пред собою;

Он снова наш, опять над ним
Сияет небо голубое.

Мы слово "Пушкин" говорим,
Поэт ли, город — мы не знаем.
Душой мы с первым и вторым,
Мы их в одно соединяем.

И город наш, и человек —
Они для нас равны по силе,
Победой слитые навек
В едином образе России.

Вера Инбер политически точно соединяет в своем стихотворении три фактора: великого Пушкина, предстоящую великую победу и великую страну — Россию. Война движается еще дальше на Запад. В непечатных планах Сталина "освобождение" всей Европы.

Предстоит гигантская по своему размаху кампания русификации Прибалтики и Западной Украины, Молдавии, стран Восточной Европы. Пушкин со своими произведениями для всех возрастов, связями с Европой и ее авторами — идеальный коммивояжер для сбыта русской культуры, книг, а прежде всего насаждения русского языка в эти страны. Чуть позже начнут во многих странах создаваться филиалы московского Института русского языка имени А.С. Пушкина, которые КГБ будет использовать для вербовки своих агентов в разных странах. Если вы любите нашего славного поэта и наш великий русский язык, почему бы вам не помочь доблестным чекистам, которые тоже состоят при Пушкине?

Но это будет позже, а пока, в День Победы, 9 мая 45-го, газеты публикуют статью известного официального драматурга, героизатора истории партии, Николая Погодина. Погодин вспоминает начало войны и речь Сталина 6 ноября 1941 года. "И в те часы на устах

Иосифа Виссарионовича прозвучало имя Пушкина... какая это была светлая, возвышенная мысль гордой, пламенеющей души!" Погодин цитирует большую часть одного из самых постыдных, шовинистических стихотворений Пушкина — инвективу "Клеветникам России", написанную в 1831 году по случаю подавления русскими восстания в Польше:

...Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?

Стихотворение отражало озлобление русского правительства в связи с западными попытками вмешаться в русско-польские дела. История старая, как мир, но — снова весьма актуальная для послевоенного переустройства Европы. Что делать с захваченной Польшей, Сталин хотел решать сам. Западные союзники отыграли свою роль, и теперь им можно показать кузькину мать. Пушкин и тут оказался кстати. В конце Погодин снова цитирует две строки из того же стихотворения, где говорится, что Россия готова уничтожать и дальше любого противника:

Есть место им в полях России
Среди нечуждых им гробов.

Я учился в московской школе сразу после войны, и это большое стихотворение учительница требовала выучить наизусть. Помню, как звонко я его читал. Между тем, во времена Пушкина друзья резко критиковали поэта за крайне правую позицию, в нем выраженную. Стихотворение это углубило духовный кризис поэта. Многие отвернулись от него, обвинив в политическом ренегатстве, лизоблюдстве и даже сотрудничестве с тайной полицией. Теперь поистине коричневое стихотворение по логике идеологии работало на систему.

Было ощущение, будто Россия снова готовится к войне, — на этот раз со всем миром. Разгоралась холодная война; советские солдаты вернулись из Европы

домой, и власти не хотели, чтобы разительный контраст жизни в России с жизнью на Западе привел к недовольству, как это случилось после 1812 года.

Суть публикаций в газетах такова: Пушкин вместе с советским народом стал победителем, проявление любви к Пушкину есть "доказательство советского патриотизма".

Прошное нужно было для подтверждения, что победа есть закономерное явление истории России, а значит, закономерны и великая партия, приведшая советский народ к великой победе, и ее великий вождь. Академик В.Потемкин, историк, дипломат, тогдашний нарком просвещения, заявляет, ничего не доказывая и не вдаваясь в подробности: "Уже первые шаги русского народа предвещали будущее величие России".

Далее в той же статье Потемкин сопоставляет западные культурные ценности и русские: "Духовные властители Запада — Лейбниц, Вольтер, Гримм, Дидро (странный подбор группы. — Ю.Д.) будут дивиться, видя, какими исполинскими шагами шествует по пути прогресса русский великан. Русская литература засияет созвездием таких имен, как Радищев, Державин, Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Крылов, Тургенев, Достоевский... Корифеи марксистской науки — Ленин и Сталин, большевистская партия подняли Россию на небывалую высоту".

Оставим без комментария утверждение о том, что Россия, благодаря этим корифеям и их партии, оказалась поднятой на небывалую высоту. Самое интересное — заявление о том, что Лейбниц, Вольтер и Дидро, умершие в восемнадцатом веке, будут восхищаться русскими писателями, жившими в девятнадцатом.

Миф о Пушкине преобразуется в связи с кампанией борьбы с космополитизмом. В войну Пушкин боролся с внешними врагами, теперь он борется с врагами внутренними. Это называлось "идейно-творческая эволюция Пушкина" и состояла она в "борьбе за русскую передовую национальную культуру". Подчеркивалась

его борьба "за самобытность русской культуры", связь "его патриотизма с прогрессивными тенденциями исторического развития". О, великий и могучий русский язык!

Он снова становится декабристом, революционером, он как бы обретает партийность. В июне 1945 года умер В.В. Вересаев — выдающийся биограф Пушкина — и даже некролог используется для того, чтобы сказать о Пушкине нужные в данный момент пропагандистские штампы. Отдельные части биографии мешают Пушкину участвовать в борьбе с космополитами, поэтому они подправляются, создаются, так сказать, подмифы.

Прежде всего национальное происхождение Пушкина: он сам считал себя потомком негров, поскольку предок его по матери, урожденной Ганнибал, был, как всем известно со школьной скамьи, вывезен из Эфиопии и подарен Петру Великому. Кроме того, по отцу генеалогическая линия восходит к шведскому выходцу Радше. Теперь подчеркивалась русскость Пушкина, его русские предки по отцовской линии без шведов, а материнская линия не упоминалась. Кстати, позже, в шестидесятые годы, Пушкин станет снова потомком негров, — когда политические интересы Советского Союза этого потребуют. Пушкин будет помогать органам внедряться в Африку, на Кубу, в страны Южной Америки.

Затем язык и литературная школа Пушкина. Он вырос в дворянской семье и среде, где все говорили по-французски. Русскому языку Пушкина учила плохо говорящая по-русски бабка, когда мальчику было пять лет. Лицей, учебное заведение, которое он окончил, был французского типа. Первые его литературные произведения написаны по-французски.

Зрелым автором форму, мысли, а иногда и содержание Пушкин подчас заимствовал из произведений европейской литературы. Впоследствии великий русский поэт писал главным образом по-русски, но и в конце жизни сообщал Петру Чаадаеву: "Я буду говорить с вами на языке Европы, он мне привычнее нашего..." Даже подписывался русский поэт по-фран-

цузски: Pouchkine. В новом советском мифе эти аспекты биографии отходят на задний план. Зато подчеркивается влияние на него мужиков, ямщиков, станционных смотрителей, слуг, а прежде всего — русской няни Арины Яковлевой, которую он действительно любил больше матери и отца, но которая была в действительности неграмотной, большой любительницей выпить и поставляла ему в постель крепостных девушек, когда поэт приезжал в Михайловское.

Влияние иностранной литературы в серьезной пушкинистике преуменьшается, а в популярной, в учебниках для средней школы полностью отрицается. Наоборот, подчеркивается мировой восторг творчеством Пушкина и влияние его на разные литературы, особенно, конечно, на писателей стран Восточной Европы. Пушкин превращается в борца за дружбу народов нашей страны и всего так называемого прогрессивного человечества, — естественно, под руководством старшего брата.

Итак, великий русский писатель-патриот, национальная святыня, живой памятник, человек-заповедник, символ великой Страны Советов стал олицетворением всего самого лучшего в советском народе. После победы во второй мировой войне народ этот, согласно имперскому кремлевскому мифу, стал Мессией и обрел право вести в светлое будущее другие народы и государства. Осуществлял это право на практике великий кормчий, который стоял у руля. Таким образом, глава страны Сталин соединялся кратчайшей линией с главным поэтом. Согласно анекдоту, были объявлены три премии за лучший проект памятника Пушкину. Третья премия предложена за проект "Сталин читает Пушкина".

— Эта верна ыстарычески, — говорит Сталин, — но не верна палытычески. Гдэ генэралная лыния?

Вторая премия предлагается за проект "Пушкин читает Сталина".

— Эта верна палытычески, — говорит Сталин, — но не верна ыстарычески. Ва время Пушкина товарищ Сталин ешо нэ писал книг.

Первую премию получил проект "Сталин читает Сталина".

Говорят, вождь любил рассказывать анекдоты про Пушкина. Однако у этого анекдота была реалистическая основа. Дело в том, что Сталин сам в молодости писал стихи и, видимо, мечтал стать поэтом (как Гитлер — художником). Поэт и переводчик Александр Ойслендер позже рассказывал мне, как однажды его вызвали к секретарю ЦК партии по пропаганде и дали переводить стихи с грузинского на русский. Ойслендер видел эти стихи в учебнике для грузинской школы и сразу сообразил, что они принадлежат Сталину. На грузинском языке эти стихи выставлены в музее в Гори. Когда Ойслендер принес, дрожа от страха, переводы, ему дали портфель. Дома он открыл его — портфель был полон денег. Стихи так и не были напечатаны порусски. О причине мы можем только гадать.

Советский патриотизм означал, что следует каждому индивиду зарубить себе на носу: жизнь в Советском Союзе лучше, чем в любой другой стране мира и необходимо любить не просто родину, но — самое лучшее и самое передовое в мире социалистическое отечество. Цензура аккуратно выполняла требования этого однопартийного патриотизма. Владимир Тендряков записал в мемуарах, недавно опубликованных, что после войны он читал издание детской сказки Пушкина "О царе Салтане" и в тексте вместо одной строки стояли точки. Изъятая у Пушкина строка гласит:

За морем житье не худо.

И вот тут я подобрался вплотную к одной из наиболее комических прорех в агитпроповском мифе о Пушкине как государственном поэте и ортодоксальном патриоте. Впрочем, темы этой, как ни странно, за ничтожным исключением, вообще избегала пушкинистика на протяжении всей своей истории. Живой Пушкин никогда не видел заграницы, куда собирался отправиться в 1817

году сразу после окончания Лицея. Павлу Катенину, встретившемуся с молодым поэтом в театре, Пушкин сказал, что "он вскоре отъезжает в чужие края", из кишиневской ссылки он хотел удрать в Грецию, в Одессе получил два отказа на официальные прошения царю и договаривался с контрабандистами, чтобы его спрятали в трюме корабля. "...Не то взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь, — писал Пушкин брату. — Святая Русь мне становится невтерпеж. Ubi bene ibi patria (Где хорошо, там родина. — Ю.Д.). А мне bene там, где растет трын-трава, братцы". Он мечтал попасть в Италию, видит во сне Францию, собирается в Африку, думает об Америке.

Из Михайловского, заказав парик, Пушкин планирует побег через Польшу в Германию в качестве слуги своего выездного приятеля. Он придумывает липовую болезнь, подтвердив ее справкой от ветеринара, чтобы его пустили к врачу в Ригу, так как оттуда на корабле до Европы недалеко. Он безуспешно просится у начальника Третьего отделения Бенкендорфа в Париж. Больше того, он пишет гимны царю и патриотические вирши (в том числе военные) в надежде на благоклонность и, возможно, на получение в качестве награды поездки за границу. Он бежит на Кавказ, чтобы перебраться в Турцию, рвется в Китай. "Ты, который не на привязи, — обращается он к Вяземскому, — как можешь ты оставаться в России? Если царь даст мне свободу, то я и месяца не останусь".

Россия превратила его в невыездного, в отказника, и поэт умер на цепи. За год до смерти так называемый "великий патриот" Пушкин жаловался в письме к жене: "Черт догадал меня родиться в России с душой и талантом!" И поставил восклицательный знак, который, вообще говоря, в его письмах встречается не так уж часто.

Зададим рискованный вопрос, который еще не ставило пушкиноведение: Пушкин хотел поехать и вернуться или — эмигрировать?

Сперва Пушкин намеревался служить за границей по дипломатической части — таково было его образование и юношеские планы. Потом он пытался просто поехать с целью путешествовать и набираться впечатлений. Ему не дали этого сделать, и тогда он стал искать пути выбраться за границу тайно. Для каждого, кто понимает традиционную русскую ситуацию, ясно, что беглецу или, как он сам себя называл, изгнаннику, вернуться — значило закончить свои дни на каторге, что Пушкин к себе примерял не раз. Побег из России на Запад автоматически отрезал любому перебежчику путь назад, стало быть, мы должны признать, что задумывая побег, первый поэт России примеривался к статусу политического эмигранта. Такова закулисная сторона биографии поэта, которая по понятным причинам ретушировалась, ибо с ней трудно увязать официальный образ государственного поэта-патриота. Стало ли это мифотворчество историей сегодня?

Происходит нечто любопытное. В стране, где юбилеи всегда были важной частью поддержания народного духа, к очередной годовщине начали готовиться, не пройдя предыдущих, аж за десятилетие заранее. В 1999 году исполняется двести лет со дня рождения Пушкина, а к юбилею уже идет вполне традиционная подготовка. В государстве, потерявшем ориентацию в пространстве и плывущем неизвестно куда без руля и без ветрил, кажется, только он, Пушкин, и остается прочным корнем культуры, на который можно опереться.

Мы живем в век разоблачения иллюзий, а Пушкина юбилейными приготовлениями опять укрывают от истины. Видимо, до реального Пушкина мы еще не доросли, и он по-прежнему вынужден выполнять указания начальства.



ARS LONGA, VITA BREVIS

Интервью Андрея Колесникова с Ларисой Миллер

Лариса Миллер не входит в поэтическую обойму, ее имя никогда не мелькало рядом с Вознесенским, Евтушенко, Окуджавой. Но читая ее, трудно не согласиться с тем, что перед нами — один из самых талантливых поэтов современной России. Недаром ее так высоко ценил Арсений Тарковский. Почему тогда поэзия Ларисы Миллер так редко появляется на страницах периодики? Да что там стихи! Даже это интервью, оценить которое предоставляется читателю, прежде чем попасть к нам, провалялось бог знает сколько в "Литературке", а перед этим в "Огоньке". Дадим, однако, слово самой Ларисе Миллер. И вначале о том, что она думает о современном состоянии поэзии.

— Мнение современников часто бывает не объективным, пристрастным, поэтому воздержусь от глобальных оценок. Я скептически отношусь к широковещательным заявлениям типа: "поэзия в упадке" или "поэзия сегодня не нужна". Вспомним, что об упадке литературы немало говорилось в те самые годы, когда писали (и

печатались) Толстой и Достоевский. Есть сейчас поэзия, есть очень сильные поэты. И мне кажется, что в России всегда были и есть читатели поэзии. Они есть даже и сегодня, в наше смутное время. Сколько их? Уверена, что достаточно. Слишком много, наверное, и не надо. Массовое увлечение, поэтический бум времен "оттепели" — явление не столько литературы, сколько общественно-социальное. Переполненные залы Политехнического, стихи Евтушенко, распространяемые в списках, — все это ветер перемен, который, конечно же, кружил голову. Тогда казалось, что даже милиционер на посту потихоньку кропает стихи. По-своему это было замечательно, но такое не могло продлиться долго. И я не тоскую по тем временам. Совсем не обязательно читать стихи с трибуны тысячным толпам или выпускать стихотворные сборники умопомрачительными тиражами. Но я боюсь нового перекоса (ведь наше общество всегда бросается из крайности в крайность), когда традиционную поэзию почти совсем перестали издавать, объясняя это тем, что на нее нету спроса. К сожалению, выход к читателю до сих пор в основном контролируют люди с клишированным сознанием. Они полагают, что тонко улавливают читательский вкус, а на самом деле навязывают, что читать и в каких количествах.

— **Расскажите, как вы познакомились с Арсением Тарковским?**

— Заочно "знакомство" началось со стихотворения Тарковского "Конец навигации", которое я в начале 60-х прочитала в журнале "Москва" и которое мне очень понравилось. Фамилия автора, однако, была незнакома. Позже, в 1966-м, я попала в поэтическую студию, где Арсений Александрович был руководителем. Впрочем, я уже писала об этом в своих воспоминаниях и не хочу повторяться.

Обо мне иногда пишут, что я — любимая ученица Тарковского. Я не очень понимаю слово "ученица".

Тарковский говорил, что научить писать стихи нельзя и добавлял: "Во всяком случае, я не знаю, как это делается". Если же говорить о ШКОЛЕ в более широком смысле — тогда да, роль Тарковского в моей жизни огромна. В свои 26 лет я еще была, как воск, так как очень медленно взрослела. И вот в самом начале пути я встретила человека, который научил меня, да и не только меня, а всех нас — молодых своих друзей — благоговейному отношению к Слову, Музыке и Жизни вообще. Он не читал нам лекций. Просто он так дышал и так жил. Та Студия просуществовала недолго, но мы с Тарковским остались друзьями и встречались вплоть до его смерти в 1989 году. К сожалению, последние года два он был отключен от внешнего мира. Когда умер его сын Андрей, он уже не полностью осознавал события внешней жизни, и это, наверное, смягчило удар.

— **Вы хорошо знали семью Тарковского. Что это была за семья?**

— Сложная семья. Об этом рассказал сам Андрей в фильме "Зеркало". Арсений Александрович смотрел фильм много раз и всегда с валидолом: не так-то легко глядеть на себя глазами сына. Если слово "судьба" происходит от слова "суд", то это был тот самый случай, та самая уникальная и страшная возможность посмотреть со стороны на свою собственную жизнь. В 1-м номере журнала "Согласие" за 1992-й год опубликованы маленькие автобиографические рассказы дочери Арсения Тарковского Марины о семье — матери, отце, брате. В ближайшем будущем в том же журнале появится продолжение.

— **Тарковского ведь долго не печатали...**

— Да, его первая книга вышла в 1962 году, когда ему было 56 лет. В 46-м году его жена Татьяна Алексеевна Озерская (она, кстати, один из переводчиков классического американского романа "Унесенные ветром") составила и отнесла в издательство его сборник. Но после печально известного постановления о журналах

"Звезда" и "Ленинград" набор почти готовой книги был рассыпан. Тарковский долгие годы был известен только как переводчик восточной поэзии.

— **Сами-то вы занимались художественным переводом?**

— Нет, хотя и закончила институт иностранных языков. Будучи студенткой, пыталась переводить стихи английских поэтов, но делала это так: переводила первую строку оригинала, а остальное сочиняла сама и не видела в этом ничего предосудительного. Наверное, это было неосознанное желание писать, которое приняло такой смешной вид. Я уже сказала, что очень медленно взрослела и в свои 18-19 лет не понимала, что совершаю подлог, дописывая стихи за английских поэтов Рупета Брука или Вилфреда Оуэна.

— **Ваша семья не раз оказывалась в эпицентре политических событий, ведь ваш муж Борис Альтшулер был известным правозащитником...**

— Борис был знаком с А.Д.Сахаровым с конца 60-х, был с ним дружен, старался помогать в тяжелые годы ссылки, выступал в его защиту и в защиту других репрессированных. Разве это не преступление с точки зрения КГБ? Естественно, такие вещи наказуемы. Но наш вариант все-таки благополучный. Увольнение с работы, угрозы, вызовы в КГБ, обыск, отключенный телефон — это все-таки не тюрьма, не ссылка.

— **Вы, собственно, всегда были далеки от политики и практически не писали гражданских стихов.**

— Смотря что считать гражданскими стихами. Вы сами сказали, что мы оказывались в эпицентре политической жизни. Могло ли это не отражаться на моей поэзии? Да и вообще, что называть политикой? Если на моих глазах заталкивают в карету скорой помощи и увозят в психбольницу композитора и барда Петра Старчика (я хорошо помню дату — 15 сентября 1976 года), то что это — политика или жизнь? В тот же день

я написала стихи: "Погляди-ка, мой болезный, колыбель висит над бездной..." Кто скажет — гражданские это стихи или нет? В 76-м году я прочла "ГУЛАГ". Книга меня потрясла, хоть я к тому времени уже не имела иллюзий о нашей системе. И все же конкретные человеческие судьбы — это особое дело. Откликом на эту книгу явились стихи: "Было все, что быть могло, /и во что нельзя поверить/ и какой же мерой мерить /истину, добро и зло.../ Мой сынок, родная плоть, /черенок, пустивший корни/ рядом с этой бездной черной /Да хранит тебя Господь.../" Кстати, раньше слова "Господь", "Боже", довольно часто встречались в моих стихах. Сейчас я боюсь этих слов, уж очень у нас умеют все опошлить и превратить в свою противоположность. Но это так, к слову. Стихи, которые я процитировала, — гражданские или сугубо личные, обращенные к сыну? Еще один пример: в начале 70-х уезжали в Израиль наши друзья. Уезжали трудно, долго бились за это право и, наконец, эмигрировали. Провожая их, я не могла не примерять отъезд на себя и в 72-м году написала стихи: "Почему не уходишь, когда отпускают на волю..." И опять не знаю, можно ли назвать эти стихи гражданскими или это чистая лирика. Так что деление поэзии на гражданскую, любовную или еще какую — очень ненадежная вещь. Да и сейчас, когда земля уходит из-под ног, можно ли жить так, будто этого не происходит, можно ли с точностью определить, где жизнь, а где так называемая политика? Беженцы — это политика или жизнь? Бесконечные войны в бывших республиках, бомба, попавшая в общежитие в Степанакерте, — это жизнь или политика? Можно ли уйти от этого? И как классифицировать стихи, в которых никакой публицистики, а лишь боль и тревога? Я часто пишу стихи о природе. И чаще всего они для меня — заклинание, надежда на спасение, нечто подобное мольбе: "Пронеси, Отче, чашу сию". И пишу я эти стихи, держа в уме все страшное, что происходит и

происходило в мире, и не знаю, как можно разделить эти вещи, как и не понимаю, как можно разложить поэзию по полочкам.

— **Не так давно я брал интервью у вашего близкого друга американского писателя Феликса Розинера. И меня поразило его спокойное отношение к тому, известен он или нет. И это при том, что он все-таки один из лучших русских американских писателей. И еще он с иронией заметил, что ему "рубля не накопили строчки". У меня впечатление, что вы так же относитесь к своему творчеству.**

— Нет, мне не все равно, есть у меня читатель или нет. Поэзия — явление не самодостаточное. Она существует, когда есть читатель. Так же, как музыка существует, когда есть слушатель. Другое дело, стала бы я ради возможности печататься писать что-то неподобающее, суесть, заводить какие-то "нужные" знакомства. Естественно, нет. Такие вещи гораздо страшнее для пишущего человека, чем невозможность публиковаться и отсутствие читателя. Лучше уж "писать в стол". По крайней мере, сохранишь душу.

— **А почему вас не печатали?**

— Лучше спросите, почему меня все-таки иногда печатали и почему у меня в те годы вышли две книги. Когда я поинтересовалась у редактора своей первой книги, можно ли принести в издательство вторую, он сказал: "Лариса, чудеса не случаются дважды". Любая из причин, по которой меня не печатали, могла бы быть единственной. Во-первых, мои стихи никогда не были в духе времени, во-вторых — национальность, ну а с начала 80-х все эти приключения с КГБ. Всю жизнь я только и слышала в редакциях: "Ну почему у вас такие мрачные стихи?" Хотя я вовсе не считаю свои стихи мрачными, скорее наоборот. Тарковский рассказывал, что как-то на отдыхе встретил молодую даму, которая

на вопрос, кем она работает, ответила, что она специалистка по подтексту.

Наверно, больше нигде в мире поэзия, литература не были окружены таким вниманием высшей власти. Вот эпизод из моей литературной биографии с участием, страшно вымолвить, некоторых высших руководителей страны. В мае 1973 года журнал "Простор" напечатал большую подборку моих стихов. Правда, она вышла с белыми пятнами — некоторые стихи были сняты в последний момент. И после публикации главный редактор Иван Петрович Шухов получил выговор от Кунаева: "Что это вы декадентку какую-то печатаете?" На этом бы дело и кончилось, но в конце июня "Литгазета" печатает обзор за подписью "Литератор", где весьма положительно сказано об этой моей публикации в "Просторе". А еще через две недели в той же "Литгазете" письмо из Караганды под рубрикой "Читатель недоумевает". Читатель недоумевал, почему "Литератор" похвалил стихи, где и "тягостная мрачность", и "фатальная обреченность" и т.п. Что же случилось с "Литературкой"? Вскоре я познакомилась с критиком Евгением Сидоровым, который представился: "Здравствуйте, я "Литератор". Вы знаете, что я за вас выговор получил?". А случилось вот что. Шухов пришел с "Литгазетой" к Кунаеву и сказал, что "Ваш городской не на том перекрестке свистнул". — Вы меня ругали, а центр хвалит." Тогда Кунаев позвонил в Москву председателю Идеологической комиссии ЦК КПСС Демичеву. Последний, как говорят, затребовал журнал, после чего самолично позвонил в "Литгазету" и устроил разнос. Письмо читателя "из Караганды" было сочинено в редакции. В результате этих событий мою книгу "Безымянный день" вынули из плана редподготовки. Вот так о нас "заботились" и душили в объятиях. Это к вопросу о том, насколько безобидна моя поэзия. Им виднее.

Вторая причина, почему трудно было печататься — фамилия не та. В 71-м году я участвовала в совещании

молодых литераторов, на котором очень хорошо отнеслись к моим стихам, рекомендовали книгу к изданию, а меня в члены Союза писателей. Но когда один из руководителей нашего семинара пришел в "Литгазету" с подборкой моих стихов в руках, ему сказали: "Что, кроме Миллер вы никого не нашли?" И такое отношение я чувствовала постоянно. Василий Васильевич Казин, который тоже был руководителем нашего семинара, как-то шепнул: "Не нравится им ваш пятый пункт". В Союз писателей меня приняли в 79-м, первая книга вышла в 77-м, т.е. спустя шесть лет после семинара. И вышла она только благодаря Тарковскому, который семь раз приезжал к директору издательства, и благодаря Казину, который ходил к своему другу Егору Исаеву и "крутил ему пуговицу". Исаев говорил мне: "Я все убеждал Васю: Давай лучше тебя издадим. Она же синтетические кружева плетет". Я спросила Егора Александровича: "А вы читали мою книгу?" "Зачем мне ее читать. Я и так знаю, как пишут женщины". И все-таки мне грех жаловаться. Даже в самые глухие 80-е мои подборки несколько раз напечатали Олег Попцов в "Сельской молодежи" и Наташа Дардыкина в "Московском комсомольце".

— **А когда вышла ваша вторая книга?**

— В конце 1986 года. Ее появление тоже загадка, хотя она и лежала в издательстве семь лет. Я уже говорила о том особом положении, в котором находилась наша семья. В январе 86-го у нас, как и у некоторых других друзей Сахарова, на полгода отключили телефон. Все было очень напряженно. И в это же время в марте меня пригласили в "Советский писатель" читать верстку книги "Земля и Дом". Поверьте, было очень странно увидеть эти типографским образом набранные листы. Было ощущение полной нереальности. И тем не менее в конце года книга вышла.

— **Тема антисемитизма звучит в вашем творчестве в основном в прозе. Недавно я брал ин-**

тервью у израильского журналиста Исраэля Шамира. Так вот он считает, что волна антисемитизма спровоцирована.

— Ощущение, что существуют некие провокационные "Ниточки-веревочки" есть. Но от этого вовсе не возникает чувство безопасности. Наоборот, очень страшно быть разменной картой в чьей-то игре. Я никак не могу сказать, что весь народ полон ненависти к евреям, но ничего не стоит спровоцировать погромы, когда идет такая страшная люмпенизация.

— **Относите ли вы себя к поколению "шестидесятников"?**

— Ох, по-моему, понятие "шестидесятники" — продукт того же клишированного сознания, о котором я уже говорила, сознания, которое осталось на уровне разрезной азбуки первоклашки, где каждый слог — в своем кармашке. Нужно составить слово — лезь в кармашек. Жизнь слишком сложна, противоречива и непредсказуема, чтоб говорить о ней, пользуясь подобными терминами. Помните у Мандельштама: "Не сравнивай. Живущий несравним." И у него же: "Я человек эпохи Москвошвея". Если уж пристегивать себя к какому-то времени, то именно так. Стереотипами можно пользоваться лишь для краткости, как некой галочкой, чтобы обозначить, о чем идет речь, но без излишней смысловой или эмоциональной нагрузки.

— **К какому литературному кругу вы себя относите?**

— К сожалению, само понятие "литературного круга" почти исчезло при Советской власти. Вначале оно было истреблено вместе с людьми, которые могли его составить, а потом для этого просто не было условий. И все же, оглядываясь назад, я могу сказать, что мне повезло. Я встретила людей, для которых культура оставалась ценностью несомненной. Кроме Арсения Тарковского, о котором я уже говорила, это ленинградский профессор Виктор Андроникович Мануйлов. Это

преподаватель ГИТИСа, искусствовед Борис Николаевич Симолин, человек, не только влюбленный в поэзию, но и в театр, живопись. Евгения Самойловна Ласкина — редактор в отделе поэзии журнала "Москва", уволенная в 68 году вместе с тогдашним главным редактором за публикацию на страницах журнала "Мастера и Маргариты", многие и многие другие.

А если говорить о моем поколении, то судьба свела меня с такими интересными поэтами и писателями, как Феликс Розинер, Алик Зорин, Александр Радковский, Людмила Чумакина, Ольга Постникова. Конец 70-х подарил мне таких редких людей, как философ Григорий Померанц и поэт Зинаида Миркина. Вся их жизнь — подвиг людей, пишущих "в стол". Дай им Бог сил и здоровья сегодня, когда их наконец-то услышали. Приблизительно в то же время я познакомилась и подружилась с Юрием Карабчиевским — одним из самых ярких писателей наших дней. Невозможно поверить, что его больше нет.

— Общество движется к рыночным отношениям. Каковы в этой ситуации со всеми ее плюсами и минусами перспективы русской литературы?

— Я уже говорила в самом начале нашей беседы, что рано хоронить русскую поэзию и повторяю это про литературу в целом. Каждый из названных мной поэтов, как и многие другие, стоит того, чтоб его прочли. И если это пока не произошло, то не потому, что нет читателя. Сейчас многие настроены мрачно, считая, что рынок убьет литературу. Но пока рано говорить об этом, так как никакого рынка еще нет. Есть монополия. Только раньше она была идеологическая, а теперь экономическая. И сегодня, как и в предыдущие годы, между писателем и читателем существует стена. Гибнут журналы, издательства. Все это хорошо известно. Но почему-то только и слышно: "Россия перестала быть читающей страной", "Литература больше никому не нужна". А вот критик Татьяна Иванова говорит, что

после каждой радиопередачи, в которой она рассказывает о новых интересных книгах и читает стихи, идут сотни писем, в которых читатели со всех концов страны благодарят за новое имя, просят повторить строку или название книги.

Мне почему-то кажется, что если появится хоть какая-то норма в нашей жизни, о России снова станут говорить, как о самой читающей стране в мире и снова будут случаться сценки, подобные той, что произошла со мной в начале 70-х. Я ехала в метро со знакомой аспиранткой из Англии. Когда она увидела, что сидящий рядом молодой человек читает книгу стихов, она потрясение воскликнула: "У нас бы это было невозможно. Если кто-то читает в транспорте стихи, значит, у него не все дома или он сам поэт".

— Надо сказать, когда я еду в метро и открываю журнал на разделе стихов, то всегда чувствую себя крайне неуютно.

— У меня тоже появилось такое чувство. И все же я верю, что культурные традиции в России настолько сильны и прошли испытание такими тяжкими временами, что вряд ли могут исчезнуть. И сегодня есть люди, которые делают немало, чтоб эти традиции выжили: та же Татьяна Иванова, которая рассказывает и пишет о новых книгах; Юра Ефремов, выпустивший вместе со своими друзьями интересный альманах "Весть"; Николай Панченко и Нина Бялосинская, все последние годы занимающиеся многотрудным делом — альманахом "Тарусские страницы" (второй выпуск, первый был в 1961 году); Ольга Чугай, с великим трудом выпустившая первые две книги из серии "Неизвестная Россия". Я знакома с критиком Аллой Марченко и знаю, чего ей и ее коллегам стоит сохранить журнал "Согласие", где она зам. главного. Журнал этот замечателен тем, что находится вне конъюнктуры и политики, и вместо того, чтобы сводить счеты с литературной братией "на языке трамвайных

перебранок", открывает новые имена, дает большие стихотворные подборки, печатает замечательную, не известную прежде детскую литературу — то есть является журналом для семейного чтения в лучших традициях 19-го века.

Недавно я видела по телевизору передачу об Иосифе Бродском. К сожалению, я немного опоздала и включила телевизор в тот момент, когда он говорил, что, наверное, наше поколение — последнее, для которого культура — самая большая ценность. Более молодые живут или будут жить по западному образцу, занимаясь вполне реальными вещами, сулящими материальный успех и выгоду. Еще раз повторяю, что поскольку слушала Бродского не с самого начала, могу не совсем точно передать его мысль. Но если он сказал именно так, то мне очень не хочется с ним соглашаться и хочется верить, что культура выживет. Ведь говорили же римляне: *Ars longa, vita brevis* — жизнь коротка, искусствоечно.

Вадим КУНИН

ПЛЕВЕ И ГЕРЦЛЬ

Весной 1990 года, работая над личным архивом В.К.Плеве, я обнаружил несколько заинтересовавших меня писем. Но для начала стоит рассказать немного о самом Плеве.

В.К.Плеве родился в 1845 году в Калужской губернии. После окончания Московского университета начал свою служебную карьеру со скромной должности судьи при московском окружном прокуроре, а в 1865 году высочайшим указом он уже был утвержден заместителем министра внутренних дел с "оставлением в звании сенатора", так написано в послужном списке. В январе 1894 года Плеве назначается Государственным секретарем Российской империи, а вскоре и министром внутренних дел.

Это был жесткий, сильный политик, оказывающий большое влияние на Николая II. Сторонник неограниченной политической монархии в России. И тем не менее именно Плеве выдвинул первым в среде высших русских сановников идею о народном представитель-

стве (т.е. о русском парламенте), "приспособленном к обстоятельствам времени". Интересна и версия о его происхождении. По словам Н.Н.Покровского, государственного сановника, близкого к императору, он слышал от В.В.Витте, что дед Плеве был крещеный еврей, женатый на польке из мелкопоместной ковенской шляхты. Его сын, отец Плеве, был в молодости не то почтмейстером, не то учителем и женился на мелкопоместной дворянке. Впоследствии он служил в Варшаве.

Вот что мы можем прочесть о нем в воспоминаниях Н.Г.Крыжановского, тоже крупного русского сановника, который в своем дневнике дословно воспроизвел рассказ Покровского: "Наружность его, по отзывам близко знавших, являла резкие черты еврейского типа, как бы подтверждавшего слухи о том, что отец его был по рождению еврей. Когда... старик умер в С.-Петербурге, тело его долго не могли похоронить, т.к. нельзя было доказать его вероисповедание. В.К. (Плеве) объявил его сначала реформистом, потом лютеранином, но пасторы требовали документы, а их Плеве предоставить не мог или почему-то не хотел. Дело это, принимавшее уже характер скандала, уладил как тогда говорили, Эрштрем... чем и положил будто бы основание своему быстрому повышению. Будучи назначенным министром внутренних дел, Плеве поспешил очиститься от всех этих слухов и заявил себя крепким православным человеком".

Изучение политической деятельности Плеве дает мне основание утверждать, что в какой-либо деятельности, направленной на улучшение правового или экономического положения еврейства в России, Плеве заподозрить невозможно. Более того, он продолжал в своей деятельности линию, направленную на продолжение этих ограничений. И вот в архиве этого человека я обнаруживаю письма, переведенные с немецкого на русский, первое из которых начинается так: "Ваше

превосходительство! Заключение беседы, которую вы изволили мне оказать честь, можно было бы формулировать следующим образом: императорское русское правительство имеет намерение гуманно разрешить еврейский вопрос и отвечая столько же потребностям русского государства, сколько и интересам еврейского народа, признаю полезным прийти на помощь сионистскому движению, лояльные намерения которого признаны. Помощь русского императорского правительства может состоять:

1) в настойчивом вмешательстве перед его величеством султаном в целях получения грамоты на колонизацию в Палестине, за исключением священных мест. Страна оставалась бы под суверенной властью его императорского Величества Султана, управление осуществлялось бы колонизационным обществом (товариществом) с капиталом, достаточным для сионистов. Это общество платило бы в османское государственное казначейство установленную ежегодную поземельную подать, заменяющую налоги. Общество эту земельную подать как и другие расходы (общественные работы, просвещение) могло бы покрыть путем сумм, получаемых с земледельцев.

2) Императорское русское правительство согласилось бы на финансовую поддержку эмиграции, употребляя для этой цели некоторые фонды и налоги чисто еврейского происхождения.

3) Императорское русское правительство способствовало бы лояльной организации русских сионистских обществ, соответственно Базельской программе.

В какой мере и каким образом это могло быть предано оглашению, зависит от Воли Вашего Превосходительства".

Автором этого и последующих писем является доктор Теодор Герцль — основоположник сионистского движения. В канцелярии Плеве эти письма так и значились как письма Герцля к Плеве "по вопросу о колонизации

евреев в Палестину." Переписка эта началась с июля 1903 года, после приезда Герцля в Санкт-Петербург и его посещения Плеве. Первое свое письмо, обращенное к нему (выдержки из которого мы привели ранее), Герцль написал еще в Петербурге 18 июля 1903 года в гостинице "Европейская", непосредственно сразу после визита. Помимо вышеперечисленных предложений, Герцль просил Плеве дать ему основания гарантировать своим соратникам, что русское правительство хочет помочь сионистскому движению. В частности, стать посредником и ходатаем перед султаном с целью получения грамоты для колонизации Палестины. Кроме того, русское правительство должно было предоставить на нужды сионистской иммиграции определенные суммы, получаемые от сборов налогов с еврейского населения.

Возникает естественный вопрос, для чего было русскому правительству содействовать еврейскому национальному движению? Ответ в следующих строчках письма Герцля: *"...и чтобы еще более доказать гуманность своих намерений, императорское правительство предполагает в то же время в недалеком будущем расширить черту оседлости для тех евреев, которые не пожелали бы иммигрировать"* (курсив мой. — В.К.). В этих строчках — ответ на вопрос, что же послужило основой для сближения, пусть даже сугубо делового, для таких, на первый взгляд разных людей, как Плеве и Герцль.

Прежде всего, как это ни парадоксально звучит, взгляды Герцля и Плеве на кардинальное решение еврейского вопроса в России были одинаковыми. Герцль считал, что единственный путь для этого — исход евреев из России на их историческую Родину. Видя в еврействе питательную социальную среду для пополнения усиливающихся леворадикальных политических движений и партий в России, Плеве считал, что для блага государства от евреев следует избавиться. И

именно сионизм — это то политическое течение, которое поможет русскому правительству разрешить этот вопрос гуманным путем (не вызвав при этом мирового осуждения). Вот почему он и принял приехавшего в Россию Герцля. Их личная беседа еще более укрепила Плеве в решении способствовать деятельности сионистов. В свою очередь Герцль, чтобы укрепить в глазах Плеве лояльность сионизма по отношению к российским интересам, вносит предложение о расширении черты оседлости для тех евреев, которые не пожелали бы иммигрировать, чтобы ухудшившееся их политическое и материальное положение подтолкнуло бы их к мысли покинуть Россию.

31 июля, т.е. почти через две недели после первого визита, Плеве вновь принимает Герцля, а 2 августа тот, заручившись окончательной поддержкой влиятельного сановника (о чем можно понять из письма, отправленного 1 августа), покидает русскую столицу. Переписка продолжается. 10 сентября 1903 года Герцль пишет Плеве из Штеймарка очередное письмо, на этот раз посвященное итогам Базельского сионистского конгресса. "Направление конгресса было более деловым, чем когда-либо, возбуждение умов — чрезвычайным, впоследствии печальных событий."

За возбуждением умов и печальными событиями стоит прежде всего проблема, поднятая на конгрессе. Герцль сообщил своим сторонникам о предложении британского правительства вместо колонизации евреями египетской части Палестины, освоить-территорию в Восточной Африке. Такое предложение вызвало негодование со стороны большинства делегатов. "Благодарность — безграничная, тронуты до слез, но Восточная Африка — не Палестина", — пишет Герцль. И продолжает: "После достаточно горячей борьбы я мог поставить на голосование лишь предварительный вопрос об организации разведочной экспедиции... Мне стоило огромного труда, чтобы достичь и этого скромного результата, т.к. сплоченная оппозиция была

против обсуждения английского проекта и эта оппозиция состояла почти исключительно из русских сионистов. На частном собрании русских сионистов меня начали даже величать изменником". И далее: "Однако этот конгресс совершенно подтвердил то, что я имел честь изложить в Петербурге. *Эмиграция без возвращения не может быть направлена никуда, кроме Палестины* (курсив мой. — В.К.). Большие надежды возлагаются теперь на правительственное обещание, содержащееся в письме Вашего превосходительства от 12 августа. Разочарование в этой надежде запутало бы положение и все, что потерял бы сионизм, представленный мною и моими друзьями, приобрели бы революционные партии. Спасительное решение зависит теперь от силы обещанного вмешательства перед оттоманским правительством".

Как видим, здесь Герцль умело играет на нежелании Плеве допустить вовлечения еврейских масс в сферу интересов как еврейских (Бунд и т.д.), так и общероссийских революционных партий. Пользуясь этим, Герцль настаивает на более решительной поддержке идеи колонизации Палестины, в частности, в форме прямого посредничества в переговорах с турецким султаном, тем более, как пишет Герцль, "мы можем предложить и финансовые выгоды оттоманской казне". Герцль просит Плеве о письме от русского императора, в котором бы одобрялась идея сионистского проекта. С этим письмом Герцль хочет поехать к турецкому султану, который уже принимал его в 1901 году. "Если бы в то же время посол русский в Константинополе, — пишет Герцль, — получил инструкцию помочь мне в моих попытках, я отправился бы в Константинополь с огромной надеждой". Далее Герцль ссылался на поддержку сионистского проекта Францией и Германией, не исключая при этом и Англию. Герцль писал, что считает возможным "получить раз- решение в самом непродолжительном времени, если я

только буду энергично поддержан. Значит, через несколько месяцев эмиграция могла бы начаться".

Следующее письмо Герцль пишет Плеве 29 октября 1903. "Ваше превосходительство, — пишет он, — ... вы запрашиваете от меня сведения о поведении русских сионистов на последнем конгрессе... Насколько мне известно — и это я говорю, как честный человек, никто из русских делегатов на конгрессе не позволил себе ни юридически, ни морально ничего недостойного русского гражданина".

В письме Герцль вновь настаивал на более решительном давлении на Турцию со стороны русского правительства. Кроме того, Герцль просил у Плеве аудиенции у русского императора для усиления своих позиций перед переговорами с султаном в Константинополе. И далее очень важное: "...Не для себя я так нетерпелив. Стесненное положение и нищета наших бедных евреев увеличивает день ото дня. Какое было бы несчастье, если бы они в своем отчаянии дали бы обмануть себя пагубными идеями. С другой стороны, имеется средство покончить со всеми затруднениями — эмиграция без возвращения, но единственно возможное направление — Палестина." Но ни русский император, ни сам Плеве не торопятся открыто заявлять о своей поддержке сионистского движения. Они предпочитают воздействовать на турецкого султана через русского посла в Константинополе. При этом сам Плеве в ответных письмах просит Герцля не разглашать их переписку. Но как же тогда мир узнает о поддержке Россией нашего движения, резонно спрашивает Герцль и настаивает: "Посредничество русского посла, хотя бы и очень усиленное, рискует быть присоединенным в архивах Высокой Порты к документам других, не принесших выгоды посредничеств. По моему скромному мнению, единственным действенным средством заставить его императорское величество султана взяться серьезно за дело был бы личный акт со стороны русского императора, будь то в форме письма

к султану или в форме дарованной мне аудиенции с последующим правом ее оглашения... Мое стремление работать для успокоения умов сильно во всяком случае, вот почему я позволяю себе предложить Вашему превосходительству уполномочить меня огласить письмо от 23 ноября, опустив место, подлежащее тайне, или прислать мне письмо, которое можно было бы опубликовать. Тогда, по крайней мере, все увидели бы прекрасные намерения императорского правительства помочь разрешению несчастного еврейского вопроса гуманным средством сионизма, и это произвело бы известное действие на международное общественное мнение, именно в данный момент. Прошу Ваше Превосходительство принять выражения моего глубокого уважения и преданности. Т.Герцль".

Переписка продолжалась. Велись переговоры о содействии русского правительства созданию русского отделения еврейского колониального банка, которое, по мысли Плеве, должно стать финансовым орудием иммиграции.

11 декабря 1903 года, обеспокоенный публикациями в европейской прессе о готовящихся погромах в Кишиневе, Герцль пишет Плеве: "Шумят, что по случаю русского рождества будут новые избиения в Кишиневе. Для меня это мерзкая выдумка, но я считаю своим долгом Вас уведомить, т.к. теперь я узнал ваши взгляды столь гуманные". За нарочито беспечным тоном письма скрывается нешуточная тревога. Основания верить в "мерзкую выдумку" у Герцля были, поэтому он и хотел опередить события, поставить в известность министра внутренних дел, чтобы тот не смог бы сослаться на внезапность погрома.

Информация о визите Герцля в Россию и о его переговорах с Плеве просочилась в английские и немецкие газеты. Видимо, характер самого визита и переговоров был подан в невыгодной как для Плеве, так и для Герцля форме. Обеспокоенный Герцль в письме к Плеве сообщает, что хотел бы выступить

перед советом англо-еврейского общества (Герцль находился в этот момент в Лондоне) с изложением взглядов Плеве по еврейскому вопросу. "Во избежание ошибки, — пишет он Плеве, — думаю, что Вам было бы приятно прочесть и исправить содержание этой части моей речи. Имею честь послать ее в этом конверте".

Речь эта также находится среди писем Герцля к Плеве. Думается, что речь эта заслуживает того, чтобы привести ее полностью. "В продолжение дарованной мне 23 октября аудиенции его превосходительство сказал мне, что он расценивает в полной мере все значение еврейского вопроса. О нем рассказывали, что он был ожесточенным врагом евреев. Это поистине ирония. Учащийся в Варшаве, он имел около двадцати учащихся товарищей-евреев, с которыми он всегда был очень хорош и сохранил много друзей-израильтян. Он был прокурором в Варшаве во время графа Игнатьева, и он не припоминает, чтобы он был непопулярен. Политически он вышел из школы графа Толстого, государственного деятеля-консерватора, заслуг которого никогда еще не были достаточно оценены и который в свое время был достаточно известен русским евреям. Но как министр внутренних дел он (господин Плеве) не был ни либералом, ни консерватором. Он был хранитель status quo и шефом жандармов. Его первую обязанностью было укрепить общественный порядок. Если его политика казалась суровой, это потому, что в положении государства он застал разрушительные явления, против которых нужно было действовать быстро и жестко. Например, он открыл, что еврейская молодежь очень сильно увлекалась революционным движением. Бороться с этим пагубным направлением было только его долгом. В то же время ему была известна необходимость установительной политики в отношении постоянных обид израильтян. Сначала он хотел сделать все возможное для примирения верхнего слоя еврейства — культурных израильтян, которые должны сделаться русски-

ми гражданами и патриотами. Это не должно было быть трудным, но это была лишь небольшая часть вопроса. С низшими классами трудность была бесконечно большая вследствие их бедности и отсутствия русского образования. Нищета этих евреев была задача наиболее настоятельная. Он сознавал, что ранее даже обсуждения вопроса об образовании следовало изыскать для этих евреев средство добыть им пропитание. Позволить им войти в русские провинции вне территории их расселения было невозможно, так как русские крестьяне были сами очень бедны и мало что могли уделить иммигрантам-евреям, последние же в большинстве не производители. То, что он предполагал сделать, — это расширить черту оседлости в провинциях, уже открытых для евреев. С этой целью в последнее время он добыл декрет, разрешающий поселение евреев в некоторых местечках, где ранее это им было воспрещено и приготовил другой, который вскоре был бы предложен на рассмотрение Совету Министров, согласно которому черта оседлости должна была еще более расшириться. Другое средство, которое он имел в виду — была эмиграция. До настоящего времени эмиграция была запрещена, но он имел намерение предложить изменение закона, по которому она была облегчена. Может быть и другие экономические реформы были бы возможны. Он сделал бы все возможное, чтобы улучшить материальное положение евреев. Между прочим, по вопросу эмиграции господин Плеве мне сказал, что он отказался от проекта убедить оттоманское правительство позволить евреям поселиться в Палестине. Он осознал, что при постоянном соперничестве держав в Турции государственный сионизм был химерой. Тем не менее он хотел бы насадить идеи сионизма в России, так если бы израильтяне занялись бы этим вопросом, они были бы менее чувствительны к соблазнам социализма. Может быть даже, обдумывая таким образом национальный вопрос, они делались бы более легко истинно

русскими патриотами. По вопросу открытия для евреев Восточной Сибири господин Плеве сказал, что он уже рассматривал проект поселения евреев в Маньчжурии и что он имел намерение говорить об этом с адмиралом Алексеевым в его ближайший приезд в Санкт-Петербург. Он обещал мне также посоветоваться с адмиралом относительно проекта, представленного еще мною, о размещении еврейских поселений в Южной части Сибири с тем, чтобы создать... русский барьер против все растущих набегов китайцев и японцев".

В следующем письме 21 января 1904 года Герцль сообщил Плеве, что зачитал эту речь на заседании Англо-Европейского общества и что слушатели были очень довольны и выразили желание опубликовать сообщение. "Я думаю, что гласность произведет очень хорошее впечатление в еврейском обществе", — писал Герцль.

Однако дальнейшей переписке и связям между Герцлем и Плеве не суждено было осуществиться. 15 июля 1904 года Плеве был убит Егором Сазоновым, членом партии социалистов-революционеров. Подготовка и организация покушения осуществлялась руководителем боевой организации эсеров Евно Азефом, впоследствии разоблаченным провокатором охранного отделения. По одной из версий, представленной в воспоминаниях руководителя заграничной агентуры охраны Радаева, Азефа потряс кишиневский погром и он поклялся убить Плеве, которого считал его главным виновником. Перед непосредственной датой покушения Азеф уехал за границу, чтобы обеспечить себе надежное алиби перед охранным отделением — был вне пределов России и не смог предотвратить убийства. Левые и часть либералов в России без всякого сожаления встретили известие об убийстве Плеве. Однако, как выясняется, для сионистского движения это было серьезной потерей.



Ариадна ЭФРОН

ИЗ САМОГО РАННЕГО

Автобиография

Я, Ариадна Сергеевна Эфрон, родилась 5/18 сентября 1912 г. в Москве. Родители — Сергей Яковлевич Эфрон, литературный работник, искусствовед. Мать — поэт Марина Ивановна Цветаева. В 1921 г. выехала с родителями за границу. С 1921 по 1924 гг. жила в Чехословакии, с 1924 по 1937 гг. — во Франции, где окончила в Париже училище прикладного искусства Art et Publicity (оформление книги, гравюры, литография) и училище при Луврском музее Ecole du Louvre — история изобразительных искусств. Работать начала с 18 лет; сотрудничала во французских журналах "Россия — сегодня" ("Russie d'Aujourd'hui"), "Франция — СССР" ("France — URSS"), "Пур-Ву" ("Pour vous"), а также в журнале на русском языке "Наш Союз", издававшемся в Париже советским полпредством (статьи, очерки, переводы, иллюстрации). В те годы переводила на французский

Маяковского, Безыменского и других советских поэтов. В СССР вернулась в марте 1937 г., работала в редакции журнала "Ревю де Моску" (на французском языке) — издававшемся Жургазобъединением; писала статьи, очерки, репортажи; делала иллюстрации, переводила.

В 1939 г. была арестована (вместе с вернувшимся в СССР отцом) органами НКВД и осуждена по статье 58-6 Особым совещанием на 8 лет исправительно-трудовых лагерей. В 1947 г. по освобождении работала в качестве преподавателя графики в Художественном училище в Рязани, где была вновь арестована в начале 1949 г. и приговорена, как ранее осужденная, к пожизненной ссылке в Туруханский р-н Красноярского края; в Туруханске работала в качестве художника местного районного дома культуры. В 1955 г. была реабилитирована за отсутствием состава преступления.

Вернувшись в Москву, подготовила к печати первое посмертное издание произведений своей матери. Работала и работаю над стихотворными переводами. Сейчас готовлю к печати сборник лирики, поэм, пьес М.Цветаевой для Большой серии "Библиотеки поэта".

Мать, Марина Ивановна Цветаева, вернувшаяся в 1939 г. в СССР вместе с сыном Георгием, погибла 31 августа 1941 г. в г. Елабуге на Каме, где находилась в эвакуации. Брат Г.С. Эфрон погиб на фронте в 1943 г.*

Отец, Сергей Яковлевич Эфрон, был расстрелян в августе 1941 г.** по приговору Военного трибунала. Реабилитирован посмертно за отсутствием состава преступления.

7/11-1963

А.Эфрон

Автобиография эта была написана Ариадной Сергеевной при вступлении в Союз писателей, в связи с этим она упоминает о своей переводческой работе. Блистательный переводчик

* Описка - Г.С. Эфрон погиб летом 1944 г.

* По новым сведениям С.Я. Эфрон был расстрелян 16 октября 1941 г.

Петрарки и Бодлера, Верлена и Готье, А.Эфрон считала эту работу второстепенной, отвлекающей ее от главного предназначения: "Я последний человек на земле, не эпизодический, а постоянный свидетель маминой жизни, маминого творчества. Мне надо многое успеть, ничего не унести с собой, все оставить здесь, ибо всему — здесь же — настанет свой черед, когда меня не будет".

Кроме издания первой на родине посмертной книги Цветаевой и множества журнальных публикаций ее стихов и прозы, дочь поэта успела подготовить, прокомментировать и выпустить в свет первое научное издание ее "Избранных произведений" /Л., Большая серия "Библиотеки поэта", 1965 г./, первые книги ее прозы /"Мой Пушкин", 1967/ и переводов /"Просто сердце", 1967/. Книга пьес Цветаевой, также подготовленная А.Эфрон, была опубликована через много лет после ее смерти /"Театр", 1988/.

Воспоминания о матери, задуманные еще в лагерном бараке, Ариадна Эфрон писала, "все время сознавая свое лилипутство перед заданным, лилипутство плюс цензурный намордник на нем". Ей не суждено было их завершить. Повествование она довела лишь до 1925 года. Последними строками ее последнего письма, написанного 21 июля 1975 г., за 5 дней до смерти — умирала она мучительно — были: "Оказывается — просто дыхание — настоящее счастье. Говорят, вышла моя "Звезда" с кусочками воспоминаний о родителях..."*

Руфь Вальбе

Настоящая публикация является фрагментом книги воспоминаний и писем Ариадны Эфрон "А душа не тонет..."

У меня плохая память, лишенная стройного порядка, присущего цветаевскому роду. Случаи, события, лица, хранящиеся в ней, не стоят на якоре дат и лишь приблизительно скреплены связующей нитью дней и

*В ленинградском журнале "Звезда" (1975, N 6) были опубликованы "Страницы былого" А.Эфрон.

лет. Вместе с тем помню я так много, что могла бы, если умела, написать огромную книгу — пусть с разрозненными страницами. Если бы умела. Но есть случаи, когда и неумелый обязан взяться за перо, а любовь и чувство долга обязаны заменить отсутствующий талант. Впрочем, так ли он необходим, когда пытаешься писать и именно о таланте? Сумел же Эккерман обойтись без своего, одним гетевским!

Пройдут годы, придут люди, которым будет дано преодолеть преступное равнодушие времени, заставить его вернуть забытое, сказать умолчанное, воскресить убитое и поправное. В помощь этим людям я и пытаюсь записать то, что помню о матери — о времени.

Первые мои воспоминания о маме, о ее внешности похожи на рисунки сюрреалистов. Целостности образа нет, потому что глаза еще не умеют охватить его, а разум — собрать воедино все составные части единства.

Все окружающее и все окружающие громоздки, необъятны, непостижимы и непропорциональны мне. У людей огромные башмаки, уходящие в высоту длинные ноги, громадные всемогущие руки.

Лиц не видно — они где-то там наверху, разглядеть их можно только, когда они наклоняются ко мне или кто-то берет меня на руки: тогда только вижу — и пальцем трогаю — большое ухо, большую бровь, большой глаз, который захлопывается при приближении моего пальца, и большой рот, который то целует меня, то говорит "ам" и пытается поймать мою руку; это и смешно, и опасно.

Понятия возраста, пола, красоты, степени родства для меня не существуют, да и собственное мое "я" еще не определилось, "я" это — сплошная зависимость от всех этих глаз, губ, и, главное — рук. Все остальное — туман. Чаще всего этот туман разрывают именно мамыны руки — они гладят по голове, кормят с ложки, шлепают, успокаивают, застегивают, укладывают спать, вертят тобой, как хотят. Они — первая реальность и

первая действующая, движущая сила в моей жизни. Тонкие в запястьях, смуглые, беспокойные, они лучше всех, потому что полны блеска серебряных перстней и браслетов, блеска, который приходит и уходит вместе с ней и от нее неотделим. Блестящие руки, блестящие глаза, звонкий, тоже блестящий голос — вот мама самых ранних моих лет.

Впервые же я увидела ее и осознала всю целиком когда она, исчезнув на несколько дней из моей жизни, вернулась из больницы после операции. Больницу и операцию я поняла много времени спустя, а тут просто открылась дверь в детскую, вошла мама, и как-то сразу, молниеносно, все то разрозненное, чем она была для меня до сих пор, слилось воедино. Я увидела ее всю, с ног до головы, и бросилась к ней, захлебываясь от счастья.

Мама была среднего, скорее невысокого роста, с правильными, четко вырезанными, но не резкими чертами лица. Нос у нее был прямой, с небольшой горбинкой и красивыми, выразительными ноздрями, именно выразительными, особенно хорошо выражавшими и гнев, и презрение. Впрочем, все в ее лице было выразительным и все лукавым — и губы, и их улыбка, и разлет бровей, и даже ушки, маленькие, почти без мочек, чуткие и настороженные, как у фавна. Глаза ее были того редчайшего, светло-ярко-зеленого, цвета, который называется русалочьим и который не изменился, не потускнел и не выцвел у нее до самой смерти. В овале лица долго сохранялось что-то детское, какая-то очень юная округлость. Светло-русые волосы вились мягко и небрежно — все в ней было без прикрас и в прикрасах не нуждалось. Мама была широка в плечах, узка в бедрах и в талии, подтянута, и на всю жизнь сохранила и фигуру, и гибкость подростка. Руки ее были не женственные, а мальчишечьи, небольшие, но отнюдь не миниатюрные, крепкие, твердые в рукопожатьи, с хорошо развитыми пальцами,

чуть квадратными к концам, с широковатыми, но красивой формы ногтями. Кольца и браслеты составляли неотъемлемую часть этих рук, срослись с ними — так раньше крестьянки сережки носили, вдев их в уши раз и навсегда. Такими — раз и навсегда — были два старинных серебряных браслета, оба литые, выпуклые, один с вкрапленной в него бирюзой, другой гладкий, с вырезанной на нем изумительной летящей птицей, крылья ее простирались от края и до края браслета, и обнимали собой все запястье. Три кольца — обручальное, "ущелевшее на скрижалях", гемма в серебряной оправе — вырезанная на агате голова Гермеса в крылатом шлеме, и тяжелый, серебряный же, перстень-печатка с выгравированным на нем трехмачтовым корабликом, и вокруг кораблика надпись "тебѣ моя синпатія" — очевидно, подарок давно исчезнувшего моряка давно исчезнувшей невесте. На моей памяти надпись почти совсем стерлась, да и кораблик стал еле различим.

Были еще кольца, много, они приходили и уходили, но эти три никогда не покидали ее пальцев и ушли только вместе с ней.

В тот вечер, когда мама воплотилась для меня в единое целое, на ней было широкое, шумное шелковое платье с узким лифом, коричневое, а рука, забинтованная после операции, была на перевязи, и даже перевязь эту я запомнила — темный кашемировый платок с восточным узором.

* * *

Самое мое первое воспоминание о ней — да и о себе самой: несколько ступеней — на верхней из них я стою, ведут вниз, в большую, чужую комнату. Все мне кажется смещенным, потому что — полуподвал. Лампочка высоко под потолком, а потолок — низко, раз я стою на лесенке. Не пойму, что ко мне ближе — пол или потолок. Мама там, внизу, под самой лампочкой, то стоит, то медленно поворачивается, слегка расставив

руки, и смотрит вовсе не на меня, а себя оглядывает. Возле нее, на коленях, — женщина, что-то на маме трогает, приглаживает, одергивает, и в воздухе носятся, все повторяясь и повторяясь, незнакомые слова "юбка-клеш, юбка-клеш". В углу еще одна женщина, та вовсе без головы, рук у нее тоже нет, и вместо ног черная лакированная подставка, но платье на ней — живое и настоящее. Мне велено стоять тихо, я и стою тихо, но скоро зареву, потому что на меня никто не обращает внимания, а я ведь маленькая и могу упасть с лестницы. Это, мама говорила, было в Крыму, и пошел мне тогда третий год.

* * *

Из того лета не осталось в памяти ни людей, ни вещей, ни комнат, где мы жили. Впервые возник в сознании папа — он был такого высокого роста, что дольше, чем мама, не умещался в поле моего зрения, и первое мое о нем воспоминание то, как я его не узнала. Мама несет меня на руках, навстречу идет человек в белом, мама спрашивает меня — кто это, а я не узнаю. Только когда он наклоняется надо мной, узнаю и кричу: Сережа, Сережа! (В раннем детстве я родителей называла так, как они называли друг друга — Сережа, Марина, а еще чаще — Сереженька, Мариночка!).

Еще помнятся мамины шлепки, за то, что я с крутого берега бросила свой новый башмачок прямо в море. Шлепки помню, а море — нет, оно было такое огромное, что я его не замечала.

* * *

Следующее лето в Крыму уже заполняется людьми, событиями, оттенками, звуками, запахами. Уже врезается в память белая, нестерпимо белая от солнца стена дома, красные розы, их сильный, почти осязаемый запах и их колючки. Уже различаю море и вижу горизонт, но чувства пространства еще нет: море для меня, когда стою на берегу — высокая сизая стена. Я — ниже его уровня — понимаю, что море хорошо только с

берега. Купаться в нем — ужасно. Когда меня, крепко держа под мышки, окунают в шипящую волну, я заливаюсь слезами и визжу, потом мама вытирает меня мохнатой простыней и стыдит, но мне все равно, главное, что я на суше. Чтобы приучить меня к купанью, моя крестная, Пра, мать Макса Волошина, бросается в море и плывет — прямо одетая. Когда она выходит на берег, с ее белого татарского халата, расшитого серебром, с шаровар и цветных кожаных сапожков ручьями льет вода. Но мне не смешно и не интересно глядеть на нее. Пра мне помнится очень большой, очень седой, шумной, вернее — громкой.

Временами рядом со мной возникает мой двоюродный брат Андрюша. Он — хороший мальчик, он не боится купаться, у него, чаще чем у меня, сухие штаны, он хорошо ест манную кашу и даже глотает ее, он "слушается маму". Несмотря на то, что он так хорош, я все же люблю его на свой лад, мне нравится полосатый колпачок с кисточкой у него на голове, мне весело качаться с ним на доске, положенной поперек другой доски. Пусть мы с ним часто деремся, чего-то там не поделив, но я тянусь к нему, потому что чувствую в нем человека одной со мной породы: он так же мал и так же зависим, как я. Его, так же, как и меня, куда-то уносят на руках в самый разгар игры, так же неожиданно, как меня, вдруг укладывают спать, или начинают кормить, или шлепают и ставят в угол. Он — мой единоплеменник и единственный настоящий человек в окружающем нас сонме небожителей. Правда, первое наше знакомство вызвало у меня чувство настоящей ненависти. Это было, видимо, предыдущей зимой в Москве. В моей детской появился маленький белоголовый мальчик, в платьице и в красных башмачках. "Это, — говорит мама, — твой брат Андрюша". "Мой брат Андрюша" неуверенно протягивает мне ручку, но я обе свои прячу за спину и начинаю больно наступать своими черными на его красные башмачки. Давлю изо

всех сил молча, сопя от зависти и гнева. У него — у него, у "брата Андрюши", а не у меня, такие красивые красные башмачки! Мне нужно уничтожить их и раздавить, раз они не мои. Андрюша отступает, я наступаю — и все ему на ноги. Андрюша вцепляется мне в волосы, я с наслаждением — ему в лицо. Нас разнимают мамы — моя и его, нас хлопают по рукам, я воплю от досады, от неумения выразить обуревающие меня страсти — у меня еще нет слов, и я не могу объяснить, что красные башмачки должны быть моими, или пусть их вовсе не будет!

Именно этим крымским летом выясняется, во-первых, что я труслива. Пра подарила мне ежика, но страх и удивление мое перед его колючками сильнее умиления перед тем, что он, не в пример мне, умеет пить молоко из блюдечка. Все гладят ежа — и мама, и Пра, Андрюша даже вперед забегает, — а я не могу заставить себя протянуть руку к этому сгустку колючек — сам воздух вокруг них, кажется мне, колется!

Во-вторых, выясняется, что я совсем не умею есть. Я способна только жевать, жевать до бесконечности, но проглотить эту жвачку не в состоянии и старательно выплевываю ее. С борьбы с этими моими двумя первыми недостатками и начинается мама свою "воспитательную работу" — и на долгие годы. Она борется с моей трусостью увещеваниями, наказаньями, а с водобоязнью — просто купаньем, но обе мы стойки и не сдаем позиций.

— Ты боялась погладить ежика? Бог тебя наказал — теперь ежик сдох, понимаешь? Умер, ну, уснул, и никогда не проснется. Нет, разбудить его нельзя. Теперь ты хотела бы его погладить, а уже поздно. Бедный, бедный ежик! А все потому, что ты — трусиха!

Я горько плачу, долго-долго помню — да и то по сей день не забыла, как ежик, подаренный мне Пра, сдох, умер, уснул навсегда из-за того, что я побоялась погладить его. Но все же не уверена, что заставила бы себя к

нему прикоснуться, даже если бы наказавший меня Бог воскресил его тогда, снизойдя к моему горю.

А ела я в детстве действительно ужасно. Жевала, рассеянно глаза по сторонам или боязливо вперясь в маму, уже рассерженную, жевала, цепenea от сознания, что все это нужно проглотить, — и не глотала. Жевала до последнего предела — а потом выплевывала. Плевалась, зная, что кара неизбежна, шла на нее с ослиным упрямством и христианским смирением.

Плевалась до того, что мама раздевала меня догола, вешала мне на шею салфетку с вышитой красными нитками кошачьей головой и надписью "Bon appetit!"* — подарок маминой сестры Аси — и, сама надев фартук, садилась напротив моего высокого стульчика с тарелкой манной каши и ложкой в руках. В кормлении моем принимали участие многие, каждый говорил, что в жизни не видывал такого случая, но тем не менее советы давали все. Пра, которую мама уважала и слушалась, советовала не кормить меня вовсе, пока я сама, проголодавшись, не попрошу есть. Мама согласилась. Лето было жаркое, я все пила молоко — три дня только молоко пила, а есть так и не попросила, так и не проголодавшись. На четвертый день мама сказала, что не согласна быть свидетелем гибели собственного ребенка, и вновь я сидела голая с салфеткой под подбородком и не могла проглотить ничего, кроме собственных слез.

(Много, много лет спустя, двадцатитрехлетней девушкой вернувшись в Советский Союз, я работала в жургазовской редакции журнала "Ревю де Моску". Телефонный звонок. "Ариадну Сергеевну, пожалуйста!" "Это я". "С Вами говорит Елена Усиевич. Вы помните меня?" "Нет". "Да, правда, Вы тогда были совсем маленькая... Как Вы живете, как устроились?" "Хорошо, спасибо!" "А как едите?" "Да я, собственно, достаточно

* Приятного аппетита (фр.)

зарабатываю, чтобы нормально питаться", — отвечаю я, озадаченная такой заботливостью. "Ах, я вовсе не про то, — перебивает меня Усиевич, — едите как? Глотаете? Вы ведь в детстве совсем не глотали... Я до сих пор не могу забыть, как Вы сидели голышом, с головки до ног перемазанная кашей, которой Вас кормила М.Ц.! И вот теперь узнала, что Вы приехали, и решила Вам позвонить, узнать..."

* * *

Дом, в котором проходили мамы молодые и мои детские годы, уцелел и поныне. Это — двухэтажный с улицы и трехэтажный со двора старый дом номер 6 по Борисоглебскому переулку, недалеко от Арбата, от бывшей Поварской и бывшей Собачьей площадки. Тогда напротив дома росли два дерева — мама посвятила им стихи "Два дерева хотят друг к другу" — теперь осталось одно, осиротевшее. В квартиру №5 этого дома мы переехали из Москворечья, где я родилась. Квартира была настоящая старинная московская, неудобная, путанная, нескладная, полуторазэтажная и очень уютная. Две двери из передней вели — левая в какую-то ничью комнату, с которой у меня не связано никаких ранних воспоминаний, правая — в большую темную проходную столовую. Днем скучно и странно освещалась большим окном — фонарем в потолке. Зимой фонарь этот постепенно заваливало снегом, дворник лазил на крышу и выгребал его. В столовой был большой круглый стол — прямо под фонарем; камин, на котором стояли два лисьих чучела, о которых еще речь впереди, бронзовый верблюд-часы и бюст Пушкина. У одной из стен — длинный, неудобный, черный — клеенчатый или кожаный, с высокой спинкой диван и темный большой буфет с посудой.

Вторая дверь из столовой узким и темным коридором вела в маленькую мамину комнату и в мою боль-

шую детскую. В детской, самой светлой комнате в квартире — три окна, окна эти в памяти моей остались огромными, с пола до потолка, такими блестящими от чистоты, света, мелькавшего за ними снега! Недавно, войдя во двор нашего бывшего дома, убедилась в том, что на самом деле это — три подслеповатых и — тусклых оконца. Такие они маленькие и такие незрячие, что не удалось им победить, затмить в моей памяти тех, созданных детским восприятием и дополненных детским воображением!

Налево от двери стояла черная чугунная печка-колонка, отапливавшаяся углем, за ней большой и высокий, до потолка, книжный шкаф, в котором стояли детские книги моей бабушки, М.А. Мейн, мамы и мои. В самом нижнем отделении шкафа жили мои игрушки, их я могла доставать сама, а книги мне всегда доставала и давала мама. К шкафу примыкала из-ножьем моя кровать с сеткой, а изголовьем — к сундуку очередной няни. Ни больших столов, ни взрослых стульев в этой комнате не помню — однако, они должны были быть. Помню мягкий диван между крайним окном и дверью. Помню картины в круглых рамах — копии Греза, одна из них — девушка с птичкой. Над моей кроватью был печальный мальчик в бархатной рамке. Какие-то из этих картин — а м.б. и все они, были работы бабушки Марии Александровны. Детская была просторна, ничем не загромождена.

Выйдя из детской все в тот же узкий темный коридорчик, проводя рукой по левой его стенке, можно было нащупать дверь в мамину комнату. Это была единственная на моей памяти настоящая мамина комната — не навязанный судьбой угол, не кратковременное убежище, за которое скоро нечем будет платить и которое придется сменить на другое, почти такое же, только рангом ниже и этажом выше...

Комната была небольшая, продолговатая, неправильной формы в виде буквы "Г", темноватая, т.к. окно

было прорезано почти в углу короткой ее стороны — мешала смежная стена детской. Почти весь свет этого окна поглощался большим письменным столом. Справа на столе, вдоль короткой стенки закоулка, в котором помещался стол, стояли рядом книги, лежали тетради, бумаги. Среди безделушек (впрочем, "безделушки" самое неподходящее для маминого письменного стола слово! То были не безделушки, а вещи с душой и историей, далеко не случайные и не всегда красивые), среди вещей, за которыми я, маленькая, жадно и бесполезно тянулась, была высокая круглая, черного лака коробочка с перьями и карандашами, называвшаяся "Тучков-четвертый", потому что на ней был прелестный миниатюрный портрет этого двадцатидвухлетнего генерала, героя 1812 г. — в алом мундире и сером плаще через плечо. Очень соблазнительным было пресс-папье бабушки Марии Александровны — две маленьких металлических руки, выглядывавших из кружевных манжет, скрывавших пружину, две темных руки, цепко сжимающих пачку писем. Боязнь и любопытство вызывала странная серая фигурка Богоматери, когда-то привезенная дедом Иваном Владимировичем Цветаевым из Италии. Это была средневековая Мадонна с лобастым личиком и широким разрезом невидящих глаз, величиной с ладонь, тяжелая, то ли чугунная, то ли железная. В животе фигурки открывалась двустворчатая дверка — Богоматерь оказывалась внутри полая и вся утыканная острыми шипами. В середине века, рассказывала мама, — в Италии была такая статуя — выше человеческого роста. В нее запирали еретиков — закрывали дверцу, и шипы пронзали их насквозь. Средние века, Италия и еретики были для меня понятиями весьма туманными, но, глядя на шипы и трогая их пальцем, я всей душой восстала против средневековой Италии и **такой** божьей матери — за еретиков!

Между столом и дверью находилось углубление, вроде ниши, задергивавшееся синей занавеской. На

одной из полок лежала, завернутая в шелковый платок, белая гипсовая маска, снятая с папиного умершего от туберкулеза брата Пети. Прекрасное спящее это лицо, такое измученное и такое спокойное, похожее на папино, всегда вызывало у меня нежность и жалость. Я часто просила маму "показать мне Петю" и целовала сомкнутые, прохладные губы и закрытые большие-большие прохладные глаза. "Он тебя знал, — говорила мама, — и ты его не помнишь. Он тебя любил — у него была маленькая дочка, которая умерла. У него была жена — танцовщица, которая его не любила..."

Дочка, которая умерла? Танцовщица, которая не любила? Как это все непонятно! Как можно умирать? Как можно не любить?

На полках было много всяких интересных вещей — морские звезды, раковины, панцирь черепахи — и стереоскоп и множество двойных фотографий к нему — Крым, мама, папа, Макс, Пра, мы с Андрюшей, еще всякие знакомые и просто виды. В стереоскопе все выглядело настоящим, совсем живым, хоть и неподвижным.

Стена по правую сторону двери была свободна, возле нее ничего не стояло кроме старого вольтеровского кресла, к ней можно было подходить вплотную и водить пальцем по розам цветных обоев. Можно было погладить висевшую на ней красиво выделанную серо-голубую шкурку, подбитую красным сукном и отороченную суконными же зубчиками. Это — шкурка маминого любимого кота Кусяки, которого она привезла крохотным котенком из Крыма, везла 3 суток, за пазухой блузки-матроски. Кусяка был умный, все понимал, как собака, и даже лучше. Он был настолько умен, что даже понимал назначение моего ночного горшочка, лучше чем я сама, — и с превеликим трудом и старанием пользовался им, цепляясь всеми четырьмя лапами за скользкие эмалированные его края. Вороватая кухарка, которую мама уволила, в отместку отравила Кусяку.

Издыхающий Кусака, весь в пене, с всклоченной, потускневшей шерстью, приполз через всю квартиру к маме — прощаться — и так и умер у нее на руках. Мама плакала навзрыд, я тоже голосила, а потом мы сели на извозчика и повезли дохлого Кусаку к скорняку. Тот предложил увековечить кота "как живого" — чтобы он вроде как бы крался за птичкой по ветке вроде как бы настоящего дерева! Несмотря на то, что птичку скорняк предлагал совершенно даром, в виде премии, мама не согласилась уродовать нашего Кусаку — и вот он превратился в эту самую шкурку, висящую на стене.

(Помню, еще до всякого кухаркиного вмешательства Кусака как-то раз заболел — ветеринар выписал рецепт, который мама долго хранила, как образец непрофессионального стихотворства. Рецепт кошачьей микстуры гласил:

"Каждый час по чайной ложке

Кошке —

Госпожи Эфрон".)

Еще на стене висели небольшие, цветные, очень мне нравившиеся репродукции Врубеля — помню "Пана", "Царевну-лебедь".

На противоположной стене был большой папин портрет, написанный приятельницей моих родителей, художницей Магдой во время папиной болезни. Папа полулежал в кресле, с книгой в руке, ноги его были закутаны пледом. Фон портрета был ярко-оранжевым, то ли занавес, то ли условный закат...

Висел портрет над широкой и низкой тахтой, покрытой куском восточного в лиловато-зеленую расплывчатую полосу шелка, такого, из которого в Узбекистане и до сих пор шьют халаты. С потолка спускалась синяя хрустальная люстра с тихо звеневшими длинными гранеными подвесками, очень старинная и красивая. На полу, прямо под люстрой лежала волчья шкура, казавшаяся мне по ее и моей величине медвежьей. Приятно

было совать кулачок в разинутую волчью пасть и знать, что волк тебя не укусит, хоть клыки у него и настоящие!

От изголовья тахты до стены с Кусачьей шкуркой все пространство занимал огромный старинный секретер, из которого мама иногда доставала музыкальную шкатулку, довольно тяжелую, темного дерева с инкрустациями. Она играла несколько грустных, медленных пьесок, отчетливо выговаривая мелодию. Крутились медные валики с шипами, задевавшими за зубья металлического гребешка, весь механизм добывания музыки из валиков и нотных картонок с прорезями был очевиден, но шкатулка оставалась таинственной и волшебной. Помимо музыкальной шкатулки у мамы была еще и настоящая старая шарманка, купленная у настоящего старого шарманщика. И мама, и папа, и их молодые гости с увлечением крутили ручку шарманки, игравшей с хрипом и неожиданными синкопами "Разлуку".

Для того, чтобы попасть на второй этаж квартиры, нужно было проделать весь путь обратно, через темный коридор в столовую, оттуда в переднюю, и, попав в другой коридор, подняться по довольно высокой и крутой лесенке. Лесенка оканчивалась площадкой, хорошо освещенной окном; на нее выходили двери большой кухни, куда мне, маленькой, ход был запрещен, ванной, чулана и уборной. Еще один, последний, коридорчик вел мимо маленькой комнаты (где всего только и умещалось, что кровать с ничем не покрытым матрасом, стол, стул и бельевого шкаф) в папину большую и не очень светлую, т.к. часть ее тоже кончалась каким-то закоулком; папину комнату я помню не очень отчетливо, т.к. в ней я бывала редко — из детской легко можно было забраться к маме или в столовую, а тут нужно было преодолевать лестницу, миновать запретную кухню, и вообще это было целое путешествие, на которое я отваживалась только после специального приглашения. В папиной комнате была

тахта у левой от двери стены, справа, у окна, стол письменный, в глубине — круглый, буфет, в котором жило печенье: "Альберт" и "Мария", и еще какао в жестянке с голландской девочкой — неразрывно связанное в моей памяти с О.Э.Мандельштамом — но об этом позже.

Когда я бывала в гостях у папы, меня сажали за круглый стол, "угощали" печеньем, и оттого что оно, такое знакомое и невкусное в детской, было "угощением", я с удовольствием и даже торжественностью ела его. Здесь, как-то на Пасху, подарили мне настоящую игрушечную Троицко-Сергиевскую лавру — целый ящик розовых домиков и церквушек — одноглавых и многоглавых — до этого у меня были только кубики, и, помнится, я была совершенно потрясена этим игрушечным городком, который можно было видоизменять по своему желанию. Лавра эта была у меня до самого отъезда за границу, когда мама меня уговорила подарить ее маленькому Саше Когану, потому что решила, что Саша — сын Блока (Блок, как говорили, был увлечен женой Петра Семеновича)... Я, очень легко дарившая игрушки, легко подарившая и эту, и вообще ничуть не жадная, долго потом жалела свою "Лавру" и вспоминала о ней. К тому же Саша оказался всего-навсего сыном своего законного отца...

По нашей Борисоглебской квартире долго еще будет плутать моя память, цепляясь, как шипы валика музыкальной шкатулки, за многое, происходившее в тех комнатах, но с маленькой комнаткой, расположенной рядом с папиной, у меня связано только три ранних воспоминания, о которых и расскажу сейчас, чтобы больше в нее не возвращаться. Мы с моей тетей, папиной сестрой Верой, почему-то сидим на полосатом матрасе нежилой кровати и разговариваем. Вера спрашивает: "Ты меня любишь?" "Ужасно люблю", — отвечаю я. "Ужасно люблю, — не говорят, — поправляет меня Вера, — ужасно — значит очень плохо, а очень плохо

— не любят. Надо сказать — очень люблю!" "Ужасно люблю", — упрямо повторяю я. "Очень!" — говорит Вера. "Ужжасно люблю", — уже со злобой повторяю я. Входит мама. Бросаюсь к ней: "Мариночка, Вера сказала, что ужасно любить нельзя, что ужасно люблю — не говорят, что можно только — очень люблю!" Мама берет меня на руки: "Можно, Алечка, ужасно любить — лучше и больше, чем просто любить или любить очень!" — говорит мама и раздувает ноздри — значит, сердится на Веру.

Почему я так запомнила этот полосатый матрас? Потому что однажды нашла на нем настоящую конфетку! Никого, кроме меня и матраса, в этот миг в комнате не было, значит, в чуде повинен матрас, на каждом матрасе бывают конфеты! И не раз я, к удивлению няни, перекапывала свою постельку в детской, и сердилась, ничего не найдя! Найденная конфета была моей тайной, о ней я даже маме не сказала, и может быть именно поэтому другой конфеты никогда не находила.

Третье воспоминание — за столом в маленькой комнате сидит молоденькая, румяная, приветливая женщина, которую зовут "домашней портнихой". На ручной машинке она подрубает простыни и рассказывает маме, как она, девочкой, заснула, и не могла проснуться, слышала, как приходил доктор и сказал, что она умерла, чувствовала, как ее положили в гроб, слышала и плач матери, и заупокойную службу, а проснуться все не могла. "Летаргический сон! — говорит мама. — Ведь вас же могли заживо похоронить!" Я цепенею от ужаса — похоронить — значит закопать в землю! Закопать в землю живую спящую домашнюю портниху! "А что было дальше?" — с трепетом спрашиваю я. Мама вспоминает обо мне: "Эта сказка не для тебя!" И уводит меня из комнаты. "Мариночка, ее заживо похоронили?" "Да нет же, она проснулась, и, видишь, сидит и шьет..." "Мариночка, а куда гроб девали?" "Не

знаю, — говорит мама. — Наверное, подарили кому-нибудь". Я успокаиваюсь. Что такое гроб и похороны я хорошо знаю, одна из моих, недолго у нас заживавшихся нянь, та самая, у которой "сын на позициях", из-за чего она почему-то иногда плачет, часто тайком вместо прогулки водит меня в церковь — на похороны, и заставляет прикладываться к чужим покойникам. Это, в общем, интереснее прогулки, т.к. Собачья площадка всегда одна и та же, а покойники — разные. К тому же они для меня нечто вроде церковной утвари, такая же непонятная и, видимо, необходимая для церкви принадлежность! Мне всегда очень хочется рассказать об этом маме, поделиться удовольствием, но детская память коротка, на обратном пути я все забываю. Тот единственный раз, что не забыла, оказался для няни роковым — мама немедленно рассталась с ней...

* * *

Сколько комнат было в нашей квартире — столько и миров, и разделявшие их границы легко и по собственной воле перешагивали только взрослые. От меня эти миры были ограждены многочисленными "нельзя", и первым из этих запретов был запрет вторгаться в жизнь старших. Но даже тогда, когда меня в нее допускали, "нельзя" продолжали преследовать меня — и только меня одну. Бывали дни, когда меня сажали за общий стол: взрослые — а их немало собиралось за нашим круглым столом — разговаривали, спорили, смеялись — движения их были свободны и голоса громки; на тарелках взрослых была какая-то другая, особенная еда. Они чокались красивым вином в красивых бокалах. А я должна была есть ненавистный шпинат или гречневую кашу, голубую от молока, причем есть "помогая себе корочкой", а не пальцами. Мне нельзя было "перебивать старших" и вмешиваться в их разговор, болтать ногами или опускать руку под стол,

чтобы погладить дежурившего там пуделя Джека, а участие мое в застольной беседе обычно сводилось к словам "спасибо" и "пожалуйста". Такое положение вещей ничуть меня не тяготило, и, несмотря на то, что в детской я обретала полную свободу грубить няне, бегать, вопить и озорничать, свобода эта меня не привлекала: слишком пленительна была жизнь взрослых, и, чтобы прикоснуться к ней, я готова была вся, целиком, с головой влезть в китайскую туфельку "хорошего поведения". "Хорошим поведением" ведала мама, и нельзя было даже помышлять о том, чтобы девочка, которая себя плохо вела, осмелилась проникнуть в мамину комнату.

Мамина комната была праздником моего детства, и этот праздник нужно было заслужить. Он начинался, как только я переступала порог: для меня заводилась музыкальная шкатулка, мне давали покрутить ручку шарманки, мне позволяли поиграть с черепашным панцирем, поваляться на волчьей шкуре и заглянуть в стереоскоп. Папа брал меня на колени и рассказывал такие сказки, каких никто больше не знал. Особенно я любила сказку про разбойников, но ее, почему-то, папа никогда не рассказывал в мамином присутствии. Сказка была такая: "Вот как-то раз девочка Аля осталась дома совсем одна... Папа ушел, и мама ушла, и няня ушла, и Джек ушел... Узнали про это разбойники. Вот вошли разбойники в дом. Вот они идут по лестнице. Вот они открыли дверь — смотрят: а где тут девочка Аля? Вот они вошли в переднюю — пошли сперва на кухню, а из кухни в ванную, а в руках у них ножи... ("Булатные?" — дрожа, спрашиваю я. "Булатные", — эпическим тоном подтверждает папа) Ищут они девочку Алю... Вот они вошли в папину комнату... смотрят под диваном — нет девочки Али! Смотрят в буфете — нет девочки Али! Смотрят в шкафу — нет девочки Али! Тогда выходят они из папиной комнаты... ("Нет! Нет! — в ужасе кричу я, т.к. мне необходимо во что бы то ни стало подольше

задержать разбойников на верхнем этаже. — Еще не выходят! Они еще под роялем не смотрели!")... Смотрят под роялем — нет там девочки Али! Тогда они идут в столовую... ("Нет, нет, не в столовую! Они еще в уборной не были!") Ах да, — невозмутимо продолжает папа. — Смотрят они в уборной — нет там девочки Али..."

Мучительное путешествие разбойников продолжалось долго. С каждым шагом, неотвратимо, приближались они к детской, где пряталась девочка Аля. Напряжение и страх все нарастали — но папу это ничуть не волновало. Он не боялся, его-то ведь дома не было, и не его искали разбойники!

"Вот они идут по коридору... все ближе... ближе... вот разбойник берется за ручку двери... вот он открывает дверь..." Не выдержав, я визжу, и папа, сам почему-то оглядываясь на дверь, успокоительной, бодрой скороговоркой подводит сказку к счастливому, хоть и кровопролитному концу: "Но в это время как раз вернулся домой папа. ("И убил всех разбойников!" — в восторге завершаю я.) И убил всех разбойников, — подтверждает он. Какое счастье, какое освобождение! Я — спасена! За исключением этой, все папины сказки были добрые и уютные. И сам папа был такой добрый и такой "лучше всех", что я решила выйти замуж только за него, когда вырасту.

На одной из полок с маминими сокровищами лежали три бабушкины детские книги — очевидно, самые любимые ею или по каким-то иным признакам самые ценные, т.к. мама их хранила у себя, отдельно от тех, которые находились в книжном шкафу, стоявшем в детской. Это были "Сказки Перро" и "Священная история" с иллюстрациями Гюстава Дорэ, и однотомник Гоголя, все три большого формата и в тяжелых переплетах. Еще не умея читать — я уже умела — на всю жизнь! — обращаться с книгами, ибо "нельзя" мамино воспитание в первую очередь относились к

ним. Нельзя было братья за книгу, не вымыв предварительно руки, нельзя было перелистывать страницы, берясь за нижний угол — только за верхний правый! И уж конечно нельзя было слюнявить пальцы, и заворачивать углы, и, самое для меня трудное — ни в коем случае ничего не добавлять к иллюстрациям!

Сказки Перро, упрощая их, рассказывала мне мама, а показывал Дорэ. До сих пор вижу, как бредет мальчик с пальчик в темном лесу среди деревьев с неохватными стволами и кудрявыми вершинами, вижу спящих с коронами на голове дочерей людоеда, пир в замке принца-Хохлика, куда-то далеко едущую при свете месяца красавицу Ослиную Кожу.

Впрочем — рассказывали не только мне — рассказывать должна была и я сама — уметь передать своими словами услышанную сказку, или объяснить то, что было изображено на картинках. Очень привлекали меня иллюстрации к Гоголю — по несколько подробных, мелких картинок на одной странице. О смысле и содержании их я должна была догадываться сама — Гоголя мне еще не рассказывали, он был недоступен моим 3-4 годам. "А это что? а это кто? а что он делает?" спрашивает мама, я же, подыскивая сходство с чем-нибудь уже мне знакомым, отвечаю. Так, картинке, на которой были изображены Хома Брут, читающий над панночкой, сама панночка, бесы и летающая над ними крышка гроба, я дала следующее прозаическое толкование: "А это барышня просит у кухарки жареных обезьян". (Барышня — панночка, кухарка — Хома, крышка гроба — плита, бесы — жареные обезьяны).

Один раз елку устроили в маминной комнате, и тогда, именно в тот раз, я впервые почувствовала, что радость где-то граничит с печалью; так хорошо, что почти грустно — почему? Та елочка была не такая уж большая — хоть и до потолка, но стояла не на полу, а на низеньком столике, покрытом голубым с серебряными звездами покрывалом; на серебряные звезды тихо

капал разноцветный воск. Над каждой витой свечой дрожало и чуть колебалось золотое сердечко огня. И вся елка в сиянии своем казалась увеличенным язычком пламени невидимой свечи. Запах хвои и мандариновой шкурки; тепло, свет, множющийся и отражающийся в глазах взрослых. Было много глаз в тот сочельник, много гостей, но из глаз мне запомнились все те же самые любимые — ярко-зеленые мамыны, огромные серые папины; а из гостей помню одну Пра и из всех подарков — привезенную ею из Крыма самодельную шкатулочку из мелких ракушек.

То была не первая елка, оставшаяся в памяти. Первая была... первая еще не граничила с грустью! Дверь в детскую, куда меня в тот день не пускали, вдруг открылась, и предо мною предстала огромная пирамида блеска, света, сверкающих мелочей, связанных в единое целое переливающимся серебром нитей и гирлянд. "Что это?" — спросила я. "Елка!" — сказала Марина. "Где елка?" — спросила я, за всем этим блеском не разглядев дерева. И так и окаменела на пороге. Мама за руку повела меня к елке, сняла с нее шоколадный шар в станиолевой обертке и подала мне — но елка от этого не стала мне ближе и шоколаду не хотелось. Я была ошелоmlена и даже подавлена. "Пойди к гостям, поздоровайся," — сказала мама, и только тут, осмотревшись, я увидела, что вдоль стен на стульях сидели гости — много, и все взрослые, и все знакомые. Я покорно пошла здороваться с каждым за ручку, и каждого угощала своей шоколадкой, и все почему-то смеялись, глядя на меня. Все это было непонятно и я не могла сбросить с себя оцепенения, вызванного непривычным. И вдруг все изменилось, чудо стало реальностью, обрело смысл, получив свое подтверждение в еще одном чуде. Дверь открылась и в нее, со словами "опоздал, опоздал!" вошел веселый, необычайно милый старик с длинной седой бородой. Папа и мама поспешили к нему навстречу, поспешила,

вдруг расколдованная, и я. Старик взял меня на руки, весело расцеловал, борода у него была мягкая, от нее еще веяло уличным холодом. "Здравствуй, здравствуй, — сказал он мне, — а ты меня помнишь?" "Помню, — твердо сказала я, — Вы — дед Мороз!" И опять все засмеялись, а громче всех — "Дед".

Это был пришедший к нам в гости старый друг нашей семьи — друг еще бабушки моей Елизаветы Петровны Дурново, П.С.Кропоткин.

* * *

Что было на следующий день? Что бывает на следующий после праздника день? Не помню, стоит в памяти одинокая елка — без вчера и без завтра, и держит меня на руках веселый дед Мороз, и стоят возле нас и смеются веселые, счастливые папа и мама, Сережа и Марина... И все.

* * *

Сидим в столовой, обедаем за круглым нашим столом, собственно, только начинаем обедать — только что подали суп. Вдруг треск, короткий грохот, за ним дребезг, разверзается небо и на стол, на самую его середину падает наш черный пудель Джек. Все, как по команде, вскакивают, а Джек, разбрасывая лапами приборы и куски хлеба, в звоне битой посуды, спрыгивает со стола и с поджатым хвостом убегает в детскую. За ним тянется след вермишели и бульона. Секунда всеобщего молчания, потом говор, хохот, смятение...

Где-то на чердаке Джек нашел лазейку, через которую выбрался на крышу, и бегая там, угодил в потолочное окно нашей столовой. Рама подалась под его тяжестью, и Джек рухнул прямо на стол, к счастью, ничего себе не повредив и перебив сравнительно немного посуды.

* * *

Мама рассказывала, что я выучилась ходить, держась за хвост Джека — он терпеливо водил меня за собой по всей детской. Джек был угольно-черный, конечно, стриженный по пуделиной моде, умница и добряк. Загубила его все та же крыша — как-то он опять залез на нее, заметили его мальчишки, стали дразнить. Джек бросился на них прямо с крыши и разбился.

* * *

Я болею. Я лежу в кровати среди бела дня и мне не разрешено вставать. Мама привела в детскую рыжего с проседью доктора Ярхо, который еще ее лечил, когда она была маленькая. Это ничуть не мешает мне вопить не своим голосом, когда он выслушивает меня и стучит по спине холодными пальцами. У меня воспаление легких. Это очень хорошо — папа и мама все время играют со мной, меряют мне температуру и рассказывают сказки. Вечером, когда они думают, что я заснула, они уходят. Но я не сплю, это няня спит, я только на минутку закрыла глаза.

Из запечного сумрака вылезает медведь. Он там живет. Он подходит к моей кровати и начинает меня катать лапами, как кухарка — тесто. Я кричу — но напрасно. Няня спит, и в детской — все по-прежнему, все вещи на своих местах, горит лампа в углу, няня спит, — а меня катает медведь. Но вот скрипнула дверь, медведь мгновенно скрывается за печкой. "Что ты? Что с тобой? — спрашивает мама. — Что тебе приснилось?"

Какое там приснилось! Я вся в поту и долго не могу из валика, в который меня скатал медведь, опять превратиться в девочку.

* * *

Вообще-то я — тихий и хорошо воспитанный ребенок, но иногда — кажется, довольно редко, на меня находит злоба и буйство, я что-то требую, о чем-то спорю, топаю ногами. "Э, — говорит папа, — да это к тебе каприз пришел! Сейчас мы его выгоним!" Он достает из моего кричащего рта "каприз" — такой маленький, что я не могу даже рассмотреть его, разжимает пальцы, дует на них и каприз улетает под потолок или в открытую форточку. Я успокаиваюсь и рада, что от него избавилась. А мама не всегда помнит, что виноват каприз, и иногда вместо него почему-то наказывает меня, ставит в угол, и тогда каприз еще долго бушует во мне, пока я о нем сама как-то не забуду.

У мамы есть знакомая, Соня Парнок, она тоже пишет стихи, и мы с мамой иногда ходим к ней в гости. Мама читает стихи Соне, та ей свои, а я сижу на стуле и жду, когда мне покажут обезьянку. Потому что у Сони Парнок есть настоящая живая обезьянка, которая сидит в другой комнате на цепочке. Обезьянка — темно-коричневая, почти черная, у нее четыре руки с настоящими ладошками. Личико у нее подвижное, почти человеческое, и в этом "почти" самое привлекательное и страшное. Соня говорит, что обезьянка очень умная. Однажды забыли спрятать ключ от замка, на который запирается цепочка, мартышка схватила его, открыла замок, освободилась от цепочки, поймала кошку, которую ненавидела за то, что та не сидела на привязи, и маникюрными ножницами остригла ей все когти, а потом выкупала ее в помойном ведре. Этими же ножницами обезьянка проколола глаза на всех портретах, висевших в комнате, — может быть для того, чтобы они не видели расправы с кошкой? Но почему все это называется "умная обезьяна"?

Я — первый раз в цирке. Нехорошо пахнет и очень много народа. Сiju притихшая и не свожу глаз с лож — ложки висят в воздухе. Как люди влезают туда, и, главное, как они вылезают? Неужели — прыгают? Ведь нигде — никаких лестниц. Боже, как хорошо, что мы сидим совсем в другом месте, а ведь могли попасть и туда, как те несчастные, и как бы мы дальше жили, папа, мама и я? Ведь уйти-то нельзя! Перед моим носом что-то происходит, какие-то лошади бегают, какие-то люди кувyrкаются, но все это на земле, я за них не беспокоюсь. Вот те, что в ложах, что с ними будет? Где они будут спать и что есть? Как им помочь? Я пытаюсь посоветоваться с папой и с мамой, но, оказывается, здесь, вдобавок, и разговаривать нельзя... Только однажды сочувственное мое внимание отвлекается от лож — когда молодые люди в темных тужурках с блестящими пуговицами выводят на арену каких-то зверей. Я сейчас же узнаю и тех и других: "Студенты со львами! — кричу я в восторге, — студенты на львах катаются!" Львов я очень хорошо знаю по картинкам в книжках, и мне ли не узнать студентов, если и мой папа и его товарищи ходят в таких же тужурках с такими же пуговицами!

* * *

"Аля, ешь курицу!" "Я не могу, Мариночка!" "Аля, ешь курицу!" "Мариночка, она противная!" "Это не она противная, а ты противная. Жуешь, жуешь... глотай сейчас же!" "Я не могу, Мариночка!" "Не можешь? Слушай, что я тебе скажу. Если ты сейчас же, вот сию же минуту, не проглотишь, у тебя вырастет куриная голова! Слышишь?" "Слышу, Мариночка!" Но кто-то отзывает маму, я быстро выплевываю куриную жвачку в кулак и отдаю кошке, которая давно ходит вокруг моего стула и со стуком третса о него головой. Мама возвращается. "Ну что, проглотила?" "Проглотила, Мариноч-

ка!" "Честное слово? Ну смотри! А то вырастет куриная голова!"

Я мрачно возвращаюсь в детскую и щупаю свою голову. Кажется, начинается. Ну конечно, уже затылок какой-то не такой. Интересно, какая вырастет, жареная или сырая? Куриная-то голова, в общем, ничего, если дома сидеть. Ведь дома все будут знать, что это я. Может быть, даже любить будут. И вдруг обжигающая стыдом мысль: "А как же, если я поеду на извозчике?!"

На несколько дней в детскую поместили большое зеркало. "Пусть пока постоит у Али", — сказала Марина. Из зеркала на меня смотрит другая девочка и эта девочка — я сама. Но так не бывает. Когда рядом с той, другой, в зеркале, появляется моя Марина, в этом нет ничего удивительного. Марину я всегда вижу со стороны — снаружи, а я — это я, и чувствую себя изнутри. Чувствовать себя изнутри и в то же время видеть со стороны — нельзя. Словом, я была одна, а потом "меня" стало две, и это — раздражает. Где живу другая я? В зеркале жить нельзя, оно гладкое, а для жизни нужен простор, пространство. За зеркалом никого нет. Может быть, между зеркалом и задней его, шершавой, неполированной стенкой? Нет, я слишком большая девочка. Что это, что это и зачем? Вторая "я" не дает мне покоя, притягивает меня. Она угадывает мои намерения, она предвосхищает мои действия. Только собираюсь показать ей язык, а она его высунула. Только собираюсь поразить ее затейливой гримасой, а она уже корчит такую рожу, что мне и не придумать.

И все же тайна разгадана, и помогла в этом Марина. Дело в том, что и она, и Сережа всегда и безошибочно узнают, когда я говорю правду и когда неправду. Стоит мне соврать, как Марина смотрит мне в лицо и говорит: "А ведь ты неправду сказала. У тебя на лбу написано". Сережа тоже читает то, что у меня написано на лбу, и мне остается только рассказать, как все произошло на самом деле. Именно это качество моего лба и позволило разоблачить девочку в зеркале. В сле-

дующий же раз как меня, при помощи все той же надписи, признали виновной в очередном вранье, я бросилась к зеркалу. Вторая "я" уже была там. Пристально, хмурясь, как Марина, я стала рассматривать лицо девочки, лобик ее был совершенно чист, без единой буквы, без единой каракули — просто удивительно чист. Итак, в зеркале была не я, а совсем чужая! У меня-то ведь надписи на лбу — Марина и Сережа только что читали, а у этой — ничего! Не я, не я, не я! Только платье такое же! Убедившись в этом и поторжествовав вокруг зеркала, я успокоилась. Мало ли чужих девочек на свете, и что мне до них! К тому же, зеркало вскоре унесли из детской, а вместе с ним и обманщицу с чистым лобиком.

* * *

От нянек и только от них вся беда со штанами. Марина всегда знает, когда нужно их на мне растегнуть. Даже, если она разговаривает со взрослыми и совсем забывает обо мне, тихо играющей в уголке, Марина вдруг срывается с места, молниеносно отстегивает на мне три задних петельки от пуговиц лифчика и раздельным шепотом говорит на ухо: "Сейчас же — марш — на горшок!"

С няньками же не так. Няньки совсем не знают, когда мне нужно, а я тем более, потому что заигрываюсь и забываю. Мне часто бывает просто некогда вспомнить о штанах. Особенно на прогулке. Чаше всего это случается на Собачьей площадке, где няня, сунув мне в руки ведро и совочек, спешит к другим няням и кормилицам. Иногда я играю одна, иногда с другими девочками, но так или иначе — всегда увлеченно. Бывает, что вспоминаю о необходимости уединиться только тогда, когда необходимость эта уже миновала. Но случается, что успеваю добежать до няни, и, приплясывая, жду, пока она распутает и расстегнет меня. Няня же не торопится. Она увлечена рассказом велико-

лепной кормилицы в таком ярком наряде и с такими бусами, что каждой "девочке из порядочной семьи" — а я именно такая и есть — хочется поскорее вырасти большой, чтобы тоже стать такой кормилицей. Кормилица говорит о чем-то для няни очень интересном, о взрослом, в рассказе ее то и дело слышно: "а барин", "а барыня". Няня рассеянно блуждает пальцами под моим пальтецом и платьицем, нащупывая петли и пуговицы, но — уже поздно. Домой я возвращаюсь подавленная предстоящим неизбежным разоблачением и наказанием. "Няня, не говори Марине", — прошу я, чувствуя собственную низость. "А к чему говорить, — равнодушно отвечает няня, щелкая кедровые орешки, которыми ее угостила кормилица, — она и сама знает".

Когда наконец открывается дверь в нашу квартиру, я уже с порога отчаянно кричу "Сухаха, сухаха!" "Ах, сухаха?!" — отзывается Марина издалека, и голос ее не сулит ничего хорошего. Вот она подходит, вот она стремительно наклоняется надо мной, и, не обращаясь к пламенеющим на моем лбу письмам, всегда зная все заранее, выдает мне надлежащую порцию шлепков. И это еще не все. Потом я сижу в столовой у камина, зимой ли, летом ли, все равно, и держу в руках уже выполосканные и отжатые няней штаны. И каждый, кто проходит мимо, лицемерно-участливым голосом спрашивает: "Это ты, Алечка? А что ты тут делаешь?" "Штаны шушу", — всхлипывая, отвечаю я.

То, что я действительно ребенок из порядочной семьи, совсем недавно, все на той же Собачьей площадке и все по тому же поводу, подтвердил один господин, судя по его виду, тоже из порядочной семьи. Он сидел на скамейке совсем один, далеко от нянек и детей, и читал "Русские ведомости". На лице у него блестели и пенсне, и седая бородка клинышком. А на ногах были тоже блестящие "штиблеты" — черные штиблеты с резиночками и с ушками. Я очень хорошо разглядела их, потому что, ища уединения, нашла его у самых ног господина, и с интересом наблюдала, как

мой ручеек подбирается к его штиблетам. Заметил ручеек и господин. Он вскочил, с треском сложил газету, прошипел "а еще ребенок из порядочной семьи" и удалился. Спина у него была прямая и почему-то негодующая.

* * *

Марина подарила мне чашку с Наполеоном, чтобы мне было интереснее пить молоко. Из обыкновенной чашки оно очень плохо пьется. Эта чашка — вся золотая внутри, и чем больше выпиваешь молока, тем больше появляется золота. Снаружи она ярко-синяя, а Наполеон нарисован в белом кружочке. У него прямой нос, черные волосы, он смотрит вдаль. Он герой, он полководец, он император. И фокусничать, когда пьешь из такой чашки, стыдно.

Няня поставила Наполеона на печку, чтобы немного подогреть молоко. Она так делала каждый день, и молоко, и чашка обычно чуть теплые. А на этот раз Наполеон перегрелся, я обожглась, выпустила чашку из рук и она разбилась на мелкие осколки.

В ужасе и горе, заливаясь слезами, я кинулась к Марине: "Мариночка, я разбила Наполеона! Мариночка, я разбила Наполеона!" Марина не рассердилась, она взяла меня на руки, утешала, говорила, что я не виновата. "Виновата! — кричала я, не унимаясь, — Виновата! Я разбила Наполеона!"

Тогда Марина достала из шкафчика другую, ярко-синюю снаружи и золотую внутри чашку. На ней в белом кружочке была нарисована красивая женщина с голыми руками и плечами, на которые спускались завитки черных волос. "Видишь, это императрица Жозефина, жена Наполеона. Он ее очень любил. И я тебе подарю эту чашку взамен той, когда ты немножко подрастешь!" Но мне становится еще более жалко разбитого Наполеона. Оказывается, у него была жена! Жена-императрица, которой я разбила мужа...

* * *

Сережа может хорошо нарисовать все, что захочешь, все, что ни попросишь. Особенно ему удаются львы. Про львов он рассказывает сказки — самые мои любимые, и тут же рисует их на бумаге. Еще он умеет "показывать льва", делает лицо, как у настоящего льва, и этого папу-льва я люблю еще больше, чем просто папу. Марина же умеет "показывать рысь". У меня же ничего не получается. Когда я тоже хочу показать льва и рысь, мне говорят "не гримасничай". Папа и мама иногда называют друг друга шутя "лев" и "рысь".

* * *

Когда мы с Мариной ходим гулять, то всегда подаем нищим. Нищих очень много — это старые, сгорбленные, бедные, больные люди. Некоторые говорят "подайте Христа ради", другие молчат, но мы подаем всем. Обычно нищие сидят на скамейке или прямо на земле и держат перед собою шапку, в которую надо класть копеечки. У некоторых нищих бывает очень много копеек в шапке, эти, видно, богатые, а есть и такие, у которых шапка совсем пустая. Марина очень близорука, и поэтому я всегда показываю ей: "Мариночка, вон нищий сидит!" Марина дает мне монетку, и я бегу опустить ее в шапку нищих. Вот и на этот раз — Марина еще ничего не видит, а я уже обнаружила нищего, сидящего на лавочке с фуражкой в руках. Бегу к нему с зажатой в кулаке копеечкой, опускаю ее в фуражку — этот нищий очень бедный, на дне его фуражки ни грошика. Зато одет он очень красиво, штаны у него с лампасами и фуражка с околышем. И борода у него красивая, расчесанная на две стороны. Но зато он неблагодарный и невежливый: вместо того, чтобы сказать "спаси тебя Господь, деточка", он вскакивает и начинает так кричать на меня и на

подошедшую Марину, что мы обе пугаемся. Марина достает лорнет и смотрит на нищего, а тот топает ногами, обутыми в блестящие штиблеты, и выкрикивает глупые слова: "Издевательство! Насмешка!" Марина складывает лорнет, хватая меня за руку и мы убегаем за угол. "Он сумасшедший, Мариночка?" — спрашиваю я в испуге. "Это ты сумасшедшая, — отвечает Марина, сердясь и смеясь. — Подать копейку генералу! Генералу, сидящему на собственной лавочке возле собственного особняка! Как ты могла принять его за нищего?" "Но ведь он старик, Мариночка! Раз старик — значит, нищий. Разве непонятно?"

* * *

Я никак не могу научиться, во-первых, спускаться с лестницы, как взрослые — мне непременно нужно ставить обе ноги на каждую ступеньку, и, во-вторых, отличать правую руку от левой, правую сторону от левой. В правой и левой сторонах нет ничего достоверного, ничего раз и навсегда, к чему можно было бы привыкнуть.

Такие прочные и незыблемые вещи, как, скажем, церкви и дома, по непонятным для меня причинам оказываются то справа, то слева, не сходя притом с места. Стоит мне, маленькой девочке, повернуться, как весь мир перемещается, здания и деревья, собаки и люди словно перебегают за моей спиной с одного тротуара на другой. Марина говорит, что все очень просто, что правая сторона всегда там, где моя правая рука. Но которая же из рук — правая? Та, которой я крещусь. Крещусь я одинаково и той и другой. По одной из них иногда шлепают, говоря, что это не та, но я забываю, по которой. Обе руки у меня совсем одинаковые, обе умеют держать и ложку, и карандаш. Ноги у меня тоже одинаковые, но башмаки для них — разные. Когда я обуваюсь сама, мне говорят, "не на ту ногу". Я переобуваюсь, и опять оказывается "не на ту

ногу". Какая же нога — та? Какая же рука — та? Какая сторона — та?

Пока я ничего не знала про правое и левое, все было хорошо и ясно. Теперь все перепуталось и усложнилось, и в этой путанице не на что опереться, чтобы не ошибаться. Вот пришел гость — чаще всего это Володечка Алексеев, который всегда мне приносит подарки. Он, здороваясь, протягивает мне руку. Ага, вот, значит, с какой стороны у него правая рука! С этой же стороны должна быть и моя. Протягиваю свою — и, конечно, моя оказывается левой. Но почему же, Почему? Марина, потеряв надежду объяснить мне в чем тут дело, говорит папе: "Вот увидите, Сереженька, она также, как и я, будет абсолютно неспособна к точным наукам!"

* * *

Наши с Мариной прогулки в храм Христа Спасителя всегда для меня отравлены лестницей. Подниматься по ней легко и весело, но ведь я заранее знаю, что с этих же ступенек придется спускаться, а я не умею спускаться с лестницы, как все люди, как все дети, и Марина будет опять учить меня и сердиться. Так оно и есть. Уже позади огромные, гулкие, торжественные, раззолоченные глубины и высоты храма, такого большого, что внутри него стоит часовня, большая, как целая церковь. Уже позади стоящие вблизи от алтаря, обитые красным бархатом кресла, отгороженные от людей золотым шнуром. Это — царские кресла, на них сам царь сидит, на любом, на котором только захочет, во время службы.

Все приятное и красивое позади — впереди же бесконечная, вниз уходящая серая лестница, по которой я должна спускаться, как все люди.

Публикацию подготовила Руфь Вальбе



Яков СИМКИН

ЖИЗНЬ НА ЧУЖОЙ УЛИЦЕ

Трагедия Афанасия Фета

Уже в преклонном возрасте Фет написал пространную автобиографию размером в 1500 страниц. В ней он со множеством подробностей повествует о своем времени, литературной жизни тех лет, но почти ничего о собственном происхождении, упорно лишь повторяя, что он коренной русский. Советских исследователей по причинам, которые станут очевидны ниже, мало занимала родословная Фета. Похоже, они просто не решались причислить этого замечательного поэта, которым по праву гордится русская литература, к числу тех, кто не отличался чистотой крови. Между тем, трудно найти ключ к психологическому портрету писателя, не прикоснувшись к белым пятнам его биографии.

Заметим, что вначале в летописях жизни Фета его отец не упоминается вовсе. Лишь в 1982 вдруг как бы

заново открыли родословную поэта и обнаружили, что Иоганн Фет — даже не немец (как первоначально полагали), а немецкий еврей. Тогда же начали писать, что Афанасий Фет в России чувствовал себя сильнее отца, поскольку добился русского гражданства и звонкого титула. Это все, что писали об отце.

Что ж, и такое бывает, если нет документов и иллюстративных материалов. Зато есть предания, легенды и анекдоты. Их объяснения происхождения Фета заинтересовали меня, как, вероятно, и других поклонников поэзии. Начнем с легенд без какого-либо пренебрежения к их исключительности и даже некоторой несостоятельности.

Фет, как сказано в одной из легенд, был сыном бродячих музыкантов (по наследству прекрасно владел скрипкой) или торговцев (отличался коммерческой хваткой), подброшенным в имение русского дворянина А.Н.Шеншина. Такая версия могла быть оправданной, если бы мать Фета, Шарлотта Беккер, не жила в том доме, где родился ее сын и через два года после этого не стала женой Шеншина. Их обвенчали по христианскому обряду. Преданий о матери Фета много. С восхищением и пикантными подробностями рассказывали о беглянке, покорившей русского офицера, участника войны.

Почище других легенда о том, что Шеншин, лечившийся в Германии, увидел на улице Кенингсберга красавицу-еврейку, сразу влюбился в нее и тут же купил у мужа. Академик И.Э.Грабарь в "Автобиографии" пишет, что мать Фета своим побегом рассчиталась с мужем за прежние обиды и с иронией относилась к его отцовству. Она дождалась его смерти, а затем стала через родственников в Германии ходатайствовать и настаивать о признании Иоганна Фета отцом ее сына. До его смерти она как будто о нем забыла.

Напомним также мемуары И.Г.Эренбурга "Люди. Годы. Жизнь", хотя в них факты, касающиеся Фета, сме-

щены и в то же время перекликаются с описаниями Грабаря. "Поэт Афанасий Фет, Афанасий Афанасьевич Шеншин, кроме хороших стихов, писал нехорошие статьи в журнале Каткова. Он обличал нигилистов и евреев, в которых видел первопричину зла. Племянник Фета, Н.Н.Пузин, рассказывал мне, что поэт узнал из письма-завещания матери, что его отцом был гамбургский еврей. Мне рассказывали, будто Фет завещал похоронить его с ним, — видимо, хотел скрыть от потомства правду о своей яблоне. После революции кто-то вскрыл гроб и нашел письмо". Добавим к этому, что якобы найденное письмо до сих пор не опубликовано.

Родственник Фета, как мы увидим чуть позже, подвел Эренбурга. Тем не менее, Пузин обнажил еврейские корни Фета: либо мать и отец были евреями, либо кто-то из них. Не вызывая особого желания спорить, кто есть кто, сошлемся на старшего сына Л.Н.Толстого, Сергея Львовича, назвавшего без обиняков Фета евреем в "Очерках былого". Не знаю как теперь, но тогда, когда очерки были опубликованы, их просто не заметили. Сейчас приходится о них говорить.

В предисловии к двухтомнику Фета, изданному в 1982 году, С.Л.Толстой раскритикован за то, что подробно описывает еврейскую внешность поэта. Изысканным вкусом Толстой не отличался, но еврейский тип схвачен им довольно точно. Поскольку он Фета любил, старался выбрать самые привлекательные черты внешности. Наблюдения Толстого легко проверяются при сравнении его описаний с сохранившимися фотографиями поэта. Это необходимо, так как в предисловии сделан вывод, что тайна происхождения Фета не поддается анализу. Так решили советские издатели. Почему же? За два года до них энциклопедия возвестила: "Поэт Афанасий Фет является сыном помещика А.Н.Шеншина и Каролины Фет". Открытия на этом не кончились, но для справки скажем, что Каролина

является старшей сестрой Фета, а Шеншин разве что участвовал в его крещении. Конечно, неудачно. Едва был произведен ритуал крещения, как в церкви поднялся глухой ропот. Младенца унесли. Как показали потом несколько свидетелей, никто из прихожан не верил, что мальчик является сыном Шеншина. Вся ответственность за незаконные действия и обман легла потом на него одного.

До четырнадцати лет Фет своей родословной не интересовался. Только тогда, когда учился в немецком пансионате в городе Вирро, впоследствии описанном в "Других берегах" В.Набоковым, Шеншин к величайшему неудовольствию Шарлотты Беккер сообщил ему специальным письмом, что впредь он неизменно должен носить фамилию Фет. Об этом во всеуслышание сообщил учащимся директор Крюммер.

Фет еще не знал, чем обернется для него перемена фамилии, и ждал от матери важного сообщения. Ей не представляло никакого труда написать ему правду об отце. Из чьих же еще уст мог он услышать такое объяснение? Шарлотта Беккер промолчала. Она чувствовала свою вину перед сыном и боялась встречи с ним. За три года учебы в пансионате Фет ни разу во время каникул не был приглашен в имение. Наконец он забил тревогу. Последовали малоправдоподобные объяснения. Фет думал только о том, как вернуться в дом матери и отчима, вернуться к фамилии Шеншин. Он не знал, что ни Шарлотта Беккер, ни Шеншин не могут этого сделать. Церковь через много лет после крещения признала его незаконным. Фет оказался в числе незаконнорожденных.

Его крестили ровно через три дня после рождения 24 октября 1820 года, назвали Афанасием. В честь Шеншина. Шарлотта считала имя красивым, совершенно в русском духе. Имя Афанасий Афанасьевич Шеншин кроме того предостерегало от сомнений в русском происхождении. Родные братья Шеншина не были рас-

положены снести появление в их роду еврея или немца, претендующего на родственные связи. Женитьбу на Шарлотте Беккер они считали шагом опрометчивым, сумасбродным и легкомысленным. Через много лет им удалось доказать церкви, что Афанасий не является сыном их старшего брата. Тогда, вероятно, Шеншин написал в Вырро, спасая честь своего рода. Директор пансионата Крюммер принял меры, больно задевшие самолюбие Фета. Он жаждал выместить на ком-либо свою злобу. Он настолько не владел собой, что многим показалось, что он сошел с ума.

К этому времени пансионат был закончен и Фета перевели в московский пансионат профессора русской истории М.П.Погодина. Тот без экивоков объявил ему: "Да, вам надо сильно дорожить университетом, коли вы человек без имени". С такими именно чувствами он приступил к учебе на словесном факультете московского университета. Со скромной помощью от Шеншина он не мог рассчитывать на сносную жизнь. В немецком, а затем московском пансионате он начал писать стихи и вместо того, чтобы ходить на лекции, ежедневно писал новые. Ему нужна была независимость. В журналах обстоятельства складывались благоприятно (его печатали и часто упоминали в обзорах), а вот в университете, за который он должен был держаться как человек без имени, дела обстояли плохо. С трудом переходил с курса на курс и дважды оставался на повторное обучение. Поэзия одержала верх над лингвистикой.

Фет, видимо, не очень любил университет. А.П.Чехов записал анекдот о том, как Фет, проезжая в карете мимо ректората, открывал дверь и плевал в сторону университета. Лошади привыкли к остановкам, замедляли бег и останавливались. Но Аполлон Григорьев, учившийся вместе с ним и настроенный к университету не очень критически, с восторгом вспоминал широту гуманитарных знаний Фета, склонность к веселой

болтовне, каламбурам и шутке. Но в душе Фет чувствовал, что находится не на своем месте и не в своей тарелке. Еще бы: все документы подписывал "К сему иностранец Афанасий Фет руку приложил". Он не имел русского гражданства. Часто сокурсники от него отрекались как от человека ненадежного, от которого можно ожидать все, вплоть до измены царю и отечеству. Жизнь на чужой улице регламентировала каждый его шаг. Его постоянно изводила мысль, как покончить с унижительным положением и получить русское подданство и дворянство. Был он человеком трезвым, аккуратным и пунктуальным. По этой причине Тургенев отнес Фета к немцам. Но спустя годы Фет скажет совсем другое: "Несмотря на интуитивный характер моих поэтических приемов, школу жизни, державшую меня в ежовых рукавицах, я в жизни не позволил себе ступить шагу необдуманно". Он знал, что правительством одобряется служба в армии по окончании университета. Вот и решил он повернуть службу в армии так, чтобы, достигнув майорского чина, законно получить русское подданство и титул. В 1844 году начал выполнять обязанности вольноопределяющегося без присяги, затем надеялся сдать экзамен на первый офицерский чин. На расспросы друзей, не желая назвать им истинную причину, заставившую его добровольно надеть солдатскую шинель, отвечал уклончиво. Унтер-офицерский чин удалось получить через два года, но душевного покоя не было. Перешел в гвардию, где чины давали быстрее. Неожиданно пришла ужасная весть: по новому императорскому указу гражданство и дворянство можно получить только в звании полковника. Фет впал в отчаяние. Он стал штабс-ротмистром через тринадцать лет безупречной службы, получалось, что еще тринадцать лет надо было ждать звания полковника. И Фет подал рапорт об отставке. Все решили, что отставка вызвана женитьбой, но это было не так.

Перед женитьбой на М.П.Боткиной летом 1857 года Фет написал ей письмо, которое сам считал исповедью. В нем он написал: "Моя мать была замужем за отцом моим — дармштадтским ученым и адвокатом Фетом и родила дочь Каролину и была беременна мною". Он просил невесту содержание письма не разглашать и по прочтении сжечь. Вопреки просьбе, Боткина письмо хранила в надежном месте. Перед смертью, как бы предвещая судьбу письма, просила положить его вместе с нею в гроб. Да, в самом деле почти по Эренбургу с той только разницей, что письмо написал Фет, а сохранила его жена. Все это неважно. Важно то, что такое письмо существует, но цитируют его крайне редко. Пока Боткина раздумывала, как ей ответить на письмо, Фет неожиданно начал писать критические статьи для журналов. Ему понадобились деньги. Уходили последние гроши, заработанные в армии. Он рассуждал о чистоте поэзии, о чувствах, владеющих поэтом, о поэтическом утешении, но воздерживался касаться вещей, которые не способен был понять: о несообразных связях между политикой и поэзией, об избранных в литературе, о сокрытии целей в поэзии. Статьи ничуть не вознесли его в глазах окружения, напротив, революционные демократы обвиняли его во всех смертных грехах. Без конца слышались полувысказанные подозрения, угрозы и требования открыться.

Фет не испытывал потребности примыкать к какой-либо партии. Он хотел устойчивости, определенности, законности. А его с безжалостной поспешностью журналы Д.И.Писарева и Н.Г.Чернышевского обвинили в консерватизме. Оттесненный ими от других поэтов, он оказался единственным стихотворцем шестидесятых, которого можно было назвать кем угодно, только не поэтом гражданской скорби. Пользуясь этим, Писарев резко высмеял его стихотворением "Шепот, робкое дыханье, трели соловья". В статье "Реалисты" он использовал случай, рассказанный Фетом, о ленивом

крестьянине Сидорове, отказавшемся возвращать аванс. Дело в том, что Фет на протяжении 17 лет был мировым судьей Мценского уезда. Сохранилось предание, что Толстой приезжал в Мценск для участия в одном из процессов. Все действия Фета одобрил, сказав, что они отличались точным расчетом, обдуманностью и осторожностью. Нельзя было выбрать Фету лучшей должности, чтобы продемонстрировать тем, кто его три десятилетия назад изгнал из своей среды, что он истинный гражданин России.

После отставки Фет занялся переводом философского трактата Артура Шопенгауэра "Мир как воля и представление". Он предложил Толстому работать вместе. Тот отказался. По-русски книга издавалась за короткое время трижды. У Шопенгауэра обильно цитировались стихи восточных поэтов. Фет перевел их. Толстой упрекал его, считал всю эту работу капризом. Между тем, за переводы Фет был удостоен высшей академической награды — премии Пушкина. Но когда к открытию памятника поэту в Москве он прислал стихотворение и просил огласить его у подножия, ему отказали без мотивировки. Вероятнее всего, не понравились строки как бы обращенные к собравшимся и ораторам: "Заслышав нашу речь, наш вавилонский крик, что в них нашел бы ты заветного, родного?" Проливая слезы над участью Пушкина, Фет плакал и над собственным унижением. Он не хотел смириться с упреками "Современника", где он сотрудничал и где была помещена статья М.Лаврецкого "Шекспир в переводе г. Фета", написанная не без участия Н.А.Добролюбова. Статья принесла новые огорчения поэту. Фет и Добролюбов сотрудничали в одном журнале, но друг друга не знали, и так и остались друг для друга неразгаданной загадкой.

Уход из журнала не оказался счастливым поворотом в судьбе Фета, который своим творчеством часто давал воображению поводы для инсинуаций.

Ф.Достоевский в "Дядюшкином сне" без какой-либо надобности заставил пошлого человека сказать, что произведения Фета напоминают ему бессвязную жизнь, которую он наблюдал не помнит где. Еще большая жестокость содержалась в многочисленных пародиях на его стихи.

Фет не был человеком двуликим, каким его до сих пор изображают, он не применялся к обстоятельствам, извлекая из них выгоду. Если бы это было так, он давно получил бы русское подданство и титул. Его всегда упрекают в том, что он хотел посвятить Александру II один из своих сборников. Дело в том, что Тургенев, профессор Никитенко, министр просвещения Норов обратились к царю с просьбой принять от поэта посвящение. Они ссылались на то, что царь обещал это, когда еще был наследником престола и слушал в полку стихи Фета. С желанием сделать поэту приятное, император согласился. Но только через десять лет был поставлен крест на прошлом Фета, ему было дано гражданство и титул. А тогда поэт просто радовался, что из-за него волнуются такие знатные люди как Тургенев и Норов. Он не предполагал, что через короткое время из-за этого окажется в затруднительном положении.

Во время службы в армии его полк был расположен в Херсонской губернии, и будто именно тогда он полюбил Марию Лазич, но не за прекрасную внешность, а за прекрасную душу. Тем не менее через некоторое время восторженный любовник написал своему другу детства И.Борисову: "Я не женюсь на Лазич, и она это знает, а между тем умоляет не прерывать наших отношений. Значит, гордиев узел любви, который чем больше я распутываю, тем туже затягиваю, а разрубить мечом не имею духу и сил". О романе с Марией в его будущих воспоминаниях сказано мало. Не очень благоразумно было писать о девушке, покончившей жизнь самоубийством. В воспоминаниях он говорил и о себе, и о

ней. В стихах "Ты страдала, я еще страдаю", "Ты отстрадала, я еще страдаю", "В благословенный день, когда стремлюсь душою" и десятках других он благодарил Марию за любовь, но в воспоминаниях ее образ расплывчат. В этом было что-то неопределенное. Причину разрыва с Лазич Фет объяснял тем, что она была бесприданница, а он бедный офицер. Пожалуй, это не так. Родители Марии были сербы, поселившиеся в России в конце XVIII века. Сама она получила русское воспитание, с соотечественниками виделась редко, и также как Фет, стремилась прослыть русской. Тем не менее в глазах властей она оставалась иностранкой. Брак с ней Фет считал безответственным шагом в тот момент, когда сам ждал русского гражданства.

Ни для кого в Петербурге роман Фета уже не был тайной. Распространялись самые невероятные слухи, воспроизводить которые не стоит. Только Тургеневу Фет рассказал правду, что заставило его отказаться от Марии. Исповедь обошлась ему дорого. 13 января 1869 года он получил от Тургенева письмо, в котором сообщалось, что в журнале начинает печататься его, Тургенева, повесть "Несчастная", написанная горячо, но без задней мысли. В повести были удивительные совпадения между романом, пережитым Фетом, и взаимоотношениями между героями-любовниками Тургенева, разве лишь имена были разные. Правда, Сусанна не сербка, как Мария, а еврейка, а Фустов все-таки полунемец. Другие персонажи также мало изменены в сравнении с теми, кто окружал Фета. Отчим Сусанны некий Рат, напоминает Шеншина, а близкий друг Фустова — Аполлона Григорьева. Даже тетку Марии, приехавшую к Фету для того, чтобы восстановить отношения между ним и Марией (об этом Фет пишет в "Воспоминаниях"), автор увидел глазами Фета.

Было бы несправедливо говорить, что Тургенев в "Несчастной" просто повторил рассказанное Фетом. Ведь он сам представил Сусанну как еврейку, а отчима

как явного антисемита. Заставляя падчерицу играть перед гостями на фортепиано, он приговаривает: "Держу пари, что вещь отличная (речь идет о композиторе Дж.Мейербере - Я.С.). Он жид, а все жида, так же как и чехи, урожденные музыканты! Особенно жида! Не правда ли, Сусанна Ивановна?" Жена отчима, обрусевшая немка, рассталась с родиной для того, чтобы ее дети в дальнейшем стали русскими. "Я Россию люблю, потому где же я могла получить дворянский титул? И мои дети тоже теперь ведь благородные!" Даже количество детей у нее и Шарлотты Беккер совпадает. Было совершенно ясно, что Тургенев, осторожно разведая почву, дал простор своему воображению. Он целил в самую душу Фета. Злые языки говорили даже, что Сусанна Ивановна старалась перенять многое у Фета. Она и он опекаются русскими, она и он опасаются антисемитизма, она и он хотят слиться воедино с теми, чью фамилию они носят или хотят носить, она и он счастливы, когда попадают под крылышко дворян, она и он прекрасные музыканты, она и он, наконец, внешне напоминают евреев. Все это стало темой для бесконечных пересудов. Однако повесть выходит за пределы личной биографии Фета. Она о мироощущении русской интеллигенции еврейского происхождения.

Фету казалось, что именно для него написана повесть. Тем более, что Тургенев в своем письме говорил об отсутствии задней мысли, был полон самодовольства и ничуть не скрывал этого. Он даже не представлял себе, что кто-то может ему что-либо еще сказать о "Несчастной", если женщина, перед умом и талантом которой он преклонялся, Полина Виардо, прочитав повесть в рукописи, не одобрила ее, а он не посчитался с ней и все-таки напечатал. Но глубоко проникнуть в психологию Фета, его возлюбленной и их окружения Тургеневу так и не удалось. Да и сам Фет в это время не мог во всем разобраться. Через сто лет его отношения с Марией были подвергнуты анализу в

книге Л.М.Сухотина "Фет и Елена Лазич", изданной в Югославии. Может быть, ошибка в имени не такая уж большая, поскольку в воспоминаниях Фета девушка фигурирует под именем Елены Лариной. Сюжет романа изложен в книге несколько протоколно. Фет показан как один из тех, кто пережил тяжкий иску́с женитьбы на иностранке. Они вместе подвергались опасности и вместе ее избегали. Каждый по-своему. Она погибла, он продолжал нести свой крест.

Не принесла Фету счастья и семейная жизнь. Он женился на М.П.Боткиной в 1857 году не по любви. Ей казалось, что друг ее младшего брата Василия, забавлявший ее в детстве, ироничный и талантливый, не мог быть плохим мужем. Предложение Фета было с радостью принято. То, что он полунемец или еврей, для крупного московского чаоторговца П.Боткина значения не имело. Марии было за тридцать, особой привлекательностью она не отличалась и иллюзий не питала. А Фет, возможно, нашел "мадемуазель с хвостом", как он пренебрежительно отзывался о будущей жене, а, возможно, попал под обаяние любимого имени Мария. Или просто оценил благовоспитанность, мягкость, сдержанность Боткиной, но ее советы и откровенные признания слушал весьма снисходительно.

Близкий к Фету Аполлон Григорьев, в будущем выдающийся литературный критик и поэт, в воспоминаниях рассказывал: "Я не видел человека, которого бы так душила тоска. Я боялся за него, я проводил часто ночи у его постели, стараясь, чем бы то ни было остановить страшное хаотическое брожение стихий в его душе". Это место из воспоминаний давно привлекает внимание некоторых биографов. Фета изображают чуть ли не полупомешанным, из рук которого Григорьев вырывал склянку с ядом.

В семье Фета и в самом деле складывалось все не очень благополучно. Каролина умерла под бременем мании преследования, сестра Надежда (от брака мате-

ри с Шеншиным) сошла с ума. Не обладал душевным равновесием брат Петр. Да и сам Фет, похоже, всю жизнь опасался сойти с ума. В письме к С.А.Толстой он сознался, что возненавидел себя за опасения с кем-либо делиться своими сомнениями и колебаниями. Обычно Фет много говорил. Иногда это раздражало. В дневниках А.В.Дружинина имеются такие записи, относящиеся к 1853-1854 гг. "Коренастый армейский кирасир, говорящий довольно высоким слогом"; "Драгун со своими высшими взглядами"; "Сносен в дамском обществе, говорит много и не требует, чтобы его занимали".

В начале 1856 года Некрасов писал Тургеневу, что Фет в разговорах проявляет большое воодушевление. "ТОЛЬКО не мешай ему, — такого наговорит, что любо слушать". В обычное время голос Фета звучал не слишком громко. Тем не менее Л.Н.Толстой, приехав к Фету в его имение 13 июля 1879 года, писал жене: "От Фета, его болтовни устал так, что не чаял как вырваться". Толстой прекрасно видел и чувствовал происходящую в поэте перемену, и она его чрезвычайно радовала. Желая узнать, как он устроился после Москвы в деревне, Толстой осматривал его ферму, расспрашивал о хозяйстве. Фет необыкновенно удачно начал предпринимательство на купленной земле. Пришел к выводу, что фермерское хозяйство может дать ему то, чего он так и не приобрел литературным трудом, хотя один за другим выходили сборники его стихотворений. Честолюбивые помыслы вытеснили поэзию. Фет стал самоуверенным хозяином, приобрел земли, построил мельницу, стал выращивать лошадей высоких пород. Вокруг поговаривали, что он пользуется милостями и благосклонностью властей, хитрит и заставляет их плясать под свою дудку. Чтобы не зарывался, окружающие намеками и обиняками напоминали ему о еврейском происхождении и путаной родословной. Иногда Фет и сам навлекал на себя беды,

но не лицемерием, а совсем другим. Многим стало казаться, что на страницах журнала Каткова в очерках "Из деревни" выступает он против своей совести. 30 октября 1874 года Тургенев написал ему гневное письмо. Под каким-то странным углом зрения рассматривались в письме взаимоотношения между Фетом и Катковым: "Я виноват перед Вами тем, что высказал мое откровенное мнение о господине Каткове, упомянул о его влиянии на Вас". И без того известно, что взаимоотношения между редактором и поэтом беспрерывно меняются. Тургенев знал, что Фет был приглашен в журнал после его разрыва с "Современником". Именно тогда с горячностью принялся сотрудничать с "Русским вестником", но неизменно старался соблюдать дистанцию между редактором и собой, между его идеями и своими. Его отношения с Катковым начали портиться постепенно и давно, как-то незаметно, по мелочам. Вот уж точно, история повторяется. Взаимоотношения между А.П.Чеховым и редактором антисемитской газеты "Новое время" А.С.Сувориным до сих пор вселяют недоумение и обиду за великого русского писателя. Как мог Чехов не чувствовать себя оскорбленным, даже униженным, когда читал рядом со своими рассказами клевету, какое-то низкопробное торжище из-за мелочей, статьи, проникнутые духом черносотенства. Со временем Чехов стал для Суворина обычным автором, с которым не обязательно было считаться. Фет оказался в таком же положении. Прежней благосклонности к нему у Каткова не было. Их публикации в журнале как бы оказались на разных полюсах. Фета больше всего занимал труд крестьянина. В глубине души он не сомневался, что труд этот по-христиански возвышает человека, сохраняет в чистоте его душу, предохраняет от участия в бунтах и революциях.

Чего только ни писали в те дни о поэте: реакционер, консерватор, сторонник чистого искусства, убаюкивающий стихотворец, певец сладких звуков и молитв.

В предисловии к третьему изданию "Вечерних огней" (1888) Фет писал: "Жизненные тяготы и заставили нас в течение пятидесяти лет по времени отворачиваться от них и пробивать будничным лед, чтобы на мгновение вздохнуть чистым и свободным воздухом поэзии".

Жизнь в деревне подвергла поэзию Фета испытанию. Тринадцать лет он пребывал в молчании. Казалось, что-то погасло в нем. Пауза эта не лишена загадок. То, что происходило с Фетом, пытались понять А.Блок, М.Волошин, В.Брюсов. Один сказал, что это была выжидательная напряженность, второй назвал превращением поэта в хозяина, третий все отнес к глубокому общественному кризису 60-х годов, приведшему к ломке устоев, душ, умов и личных отношений.

Фет был не из тех, кто легко и быстро прощает обиды. Ему неприятен был Тургенев, которого он теперь считал не только врагом, но и предателем. Если бы не повесть и письма, он, может быть, был бы ему благодарен. Ведь Тургенев после Н.В.Гоголя едва ли не первый в русской литературе провозгласил талант Фета. Он редактировал его книгу, подыскивал ему литературную работу, писал рекомендации. Фет тогда еще не знал о внутренних литературных взаимоотношениях, что впоследствии принесло ему много огорчений и неприятностей. Оказалось, что второй его покровитель, Толстой, отнюдь не является союзником Тургенева. Станные взаимоотношения между ними ставили Фета в тупик.

Похоже, что Фета совершенно околдовал царский указ от 26 декабря 1874 года "О присоединении отставного гвардии штабс-ротмистра Аф.Аф.Фета к роду отца его Шеншина со всеми правами, званию и роду принадлежащими". Что это, запоздалое торжество справедливости или последний акт разыгравшейся

трагедии? Шеншин отцом Фета не был, согласно его собственному признанию. Больше того: он стал ему поперек дороги. Но Фет испытывал такое чувство, словно его опутали какие-то чары, сущность и сила которых ему самому непонятны. Он радовался, как ребенок, распорядился перемаркировать семейное серебро, заказал родовой герб, сменил почтовую бумагу, а жене писал: "Ты представить себе не можешь, до какой степени мне ненавистно имя Фет. Умоляю тебя, никогда его мне не писать, если не хочешь мне опротиветь".

Вот какие мысли бродили в голове пятидесяти-четырехлетнего Фета! Это не была игра предубежденного воображения, а подлинный восторг. Фет почему-то решил, что теперь в его жилах течет не отцовская кровь, а шеншинская, предки которого были обрусевшие татарские князья, поступившие на московскую службу. Измученный неизвестностью и чрезвычайно встревоженный, он решил во что бы то ни стало избавиться от фамилии Фет. В 1842 году ему удалось несколько модернизировать свою фамилию. Печатав в "Отечественных записках" три стихотворения, он в корректуре увидел, что наборщик искажил его фамилию Фет. Вместо "ё" стояла буква "е". Помялся-помялся и согласился. Сложилась странная фамилия. Фет в переводе с еврейского жирный. Он был действительно тривиально толст и неуклюж, несмотря на решительный вид (судя по фотографии при поступлении на службу в лейб-гвардии Уланский полк). Дружинин после знакомства с Фетом импровизировал по поводу его фамилии так: у композитора Дж.Мейербергера имеется опера "Пророк", что в переводе с французского означает "профект".

Разумеется, Фет предполагал и эту фамилию изменить. По поводу свершившегося Тургенев написал ему в декабре 1874 года: "Как Фет Вы имели имя, как Шеншин, Вы имеете только фамилию". Газета "Новое вре-

мя" сделала перемену фамилии предметом особого внимания. "Как с неба свет, как снег с вершин, исчезнул Фет и встал Шеншин".

Хотя, судя по всему, триумфа не было, но во всяком случае, Фет приобрел гражданство и титул, что избавило его от многих унижений, — впервые в жизни поэт приобрел твердые права. Это не был результат счастливой и безмятежной жизни. В глубине души он всегда помнил и понимал, какой ценой смог достичь того, что его русские сверстники получали автоматически, как само собой разумеющееся. Поэтому в преклонном возрасте, когда он думал об удачах и преуспевании, не забывал, что ради этого вынужден был страдать всю жизнь. А Тургенев писал С.Т.Аксакову: "Дерево без корней быть не может, а некоторые желают видеть корни на ветвях".

К пятидесятилетию литературной деятельности Фет получил чин камергера императорского двора. Когда-то это звание носил А.С.Пушкин. Кажется, Некрасов предвосхитил события, назвав Фета первым после Пушкина поэтом России. Теперь он надел расшитый золотом голубой мундир с туго затянутым поясом. Однако сопровождать императора он не мог, согласно обычаям того времени: был стар, еле передвигал ноги, задыхался от астмы, не мог сесть на коня (хоть в молодости и служил в кавалерии) во время смотров и парадов. Что же касается других порядков при императорском дворе, Фет признался жене: когда его о чем-то спрашивали, он не всегда мог ответить. Вот уж, право, ирония судьбы: увидеть себя достигшим цели и не понять того, что происходит. Не верил в подлинность чина? Презирал фамилию? Как-то он оказался в Орловском литературном музее. В Тургеневской комнате на стене висела фотография живописной беседки. Сотрудник музея выбрал ее для того, чтобы сказать, что в усадьбе бывали: Толстой, Некрасов, Григорович, Полонский, Дружинин, Панаев, Писемский,

Краевский. После небольшой паузы: "А также Шеншин — он же Фет". Сколько раз при жизни он слышал подобное. В письме к Толстому от 1 января 1870 года, как бы предвидя события, он чистосердечно признается, как остро реагирует на насмешки. Ему никак не хотелось утратить для окружающего мира таинственность и романтизм. Этого он боялся больше всего. Близким людям он предлагал собственную версию происхождения, причем с годами она становилась все более живописной. Он пространно рассуждал о Шарlotte Беккер, ставшей вдруг восемнадцатилетней вдовой с двумя детьми на руках. Она-де вовсе не была беглянкой, а соблюдая все законы, уехала из Германии в Россию. Легенда приобретала силу правды, поскольку Фет сам в нее верил. Но куда все это исчезло, когда он стал столбовым дворянином? Недавно еще близкие люди стали неинтересны ему. Теперь он по-настоящему презирал их. В письме к С.А.Толстой он говорил о контрасте между дворянами и разночинцами: "Мы — дворяне хорошо понимаем друг друга", "Мы, дворяне, не признаем общепринятых любезных слов", "Одного упоминания дворянского титула достаточно, чтобы человеку поверить".

Титул пришел явно поздно, и Фет слишком положился на его силу. В октябре 1892 года он почувствовал себя плохо и во время приступа астмы попросил у жены бокал шампанского, что равносильно было сильнодействующему яду. Ему отказали. Тогда он схватил кухонный нож и пытался перерезать вены. Пытавшуюся остановить его сиделку театральным жестом оттолкнул и упал к ее ногам замертво.

Сокращается число белых пятен в биографии Фета, но это мало спасает репутацию поэта от роковых заблуждений, родившихся в прошлом веке. Он так и не смог подчиниться законам империи, применяемым к инородцам, занять отведенное им в обществе определенное место. Подобные истории нередко врываю-

ся в жизнь людей, подвергшихся насильственной ассимиляции. Менахем Бегин в мемуарах "Восстание" рассказывает, сколько евреев надеялись на то, что в лагере их может спасти крещение или, скажем, перемена имени, фамилии, родословной и даже привычек. В последние часы своей жизни в прошлом крупный партийный работник из Киева признается, что он не украинец, а еврей, и просит Бегина для утешения собрать евреев и прочитать ему молитвы. Сколько было таких, Бегин не знал. Он, по-видимому, просто хотел сказать, что человеку не следует поддаваться искушению примкнуть к чужой судьбе, поселиться на чужой улице.

По-видимому, Фет это понял незадолго до смерти. В своих воспоминаниях, опубликованных только в 1968 году, Т.А.Кузьминская, сестра С.А.Толстой, пишет, что во время визита к ней Фета она поднесла ему "Альбом признаний" и попросила заполнить анкету. На вопрос, где бы вы желали жить, ответил "Нигде", а на вопрос, к какому народу желали бы принадлежать, последовал короткий ответ "Ни к какому".



Образ другого мира

Ни одна восточно-европейская столица не вызывает у вас таких чувств, какие возникают у человека в Будапеште, точнее в той его половине, которая носит название "Пешт" — воистину Запад, особенно, когда, свернув с берега Дуная и оставив позади себя цепь блестящих фешенебельных отелей, окажетесь вы на неповторимо изящной то ли берлинской, то ли лондонской Ваци-стрит. Но стоит вам вернуться и перейти по знаменитому Елизабет-бриджу на другой берег Дуная, в "Будду", как тотчас пахнет дыханием Востока — "Тысяча и одна ночь", Тамерлан, Ходжа Насреддин, мир экзотических мечетей, турецких бань, средневековых замков... Может быть, и не стоило поминать эту общеизвестную истину — что стоит Будапешт на перекрестке двух цивилизаций, если бы не некий комплекс венгров, словно полемизирующих с самой историей и постоянно называющих себя

европейцами и только европейцами — никем иным, и как бы не замечающими другой своей ветви, определяющей своеобразие их исторической судьбы, их культуры, — и, кто знает, может быть, — самого их видения мира.

Будапештские критики с гордостью пишут о том, что в Павильоне искусств на выставке "Экспо-92" в Севилье среди европейских художников были представлены и работы венгерского авангарда, точнее трех его выдающихся мастеров — Минхерта Тота, Гееза Саму и Йожефа Гаала, выразивших типичные черты своего столетия — сочетание этики, технологии и традиций. Искусство не детерминировано жизнью, оно существует само по себе, так что пустая затея отыскивать связи между исторической судьбой венгров и их авангардом, показанном на "Экспо-92". Но, кажется, образ другого мира, представленный венгерскими мастерами, помог им все-таки занять особое место в европейском павильоне искусств. Что же представляет собой этот другой мир? Искусство Минхерта Тота — это гимн бесконечности. Художник, проживший почти всю жизнь в деревне и лишенный радости крестьянского труда (в годы детства ему ампутировали ногу), находит высшее эстетическое наслаждение в познании космического величия мира. Символом его является океан, к образу которого постоянно обращается Минхерт Тот. Работы, принесшие ему всеевропейскую известность, — "Предок", "Европа", "Крестьяне", "Опасность", "Африка", "Облака", "Континенты", "Любовь океана" — как раз и олицетворяют собой это направление венгерского авангарда. Повседневная жизнь полна чудес, проникнуть в них,

постигнув через будни жизни скрытые от человека тайны космоса, — в этом, по мнению будапештского критика Магдолна Супки, и состоит философско-эстетическое кредо Тота.

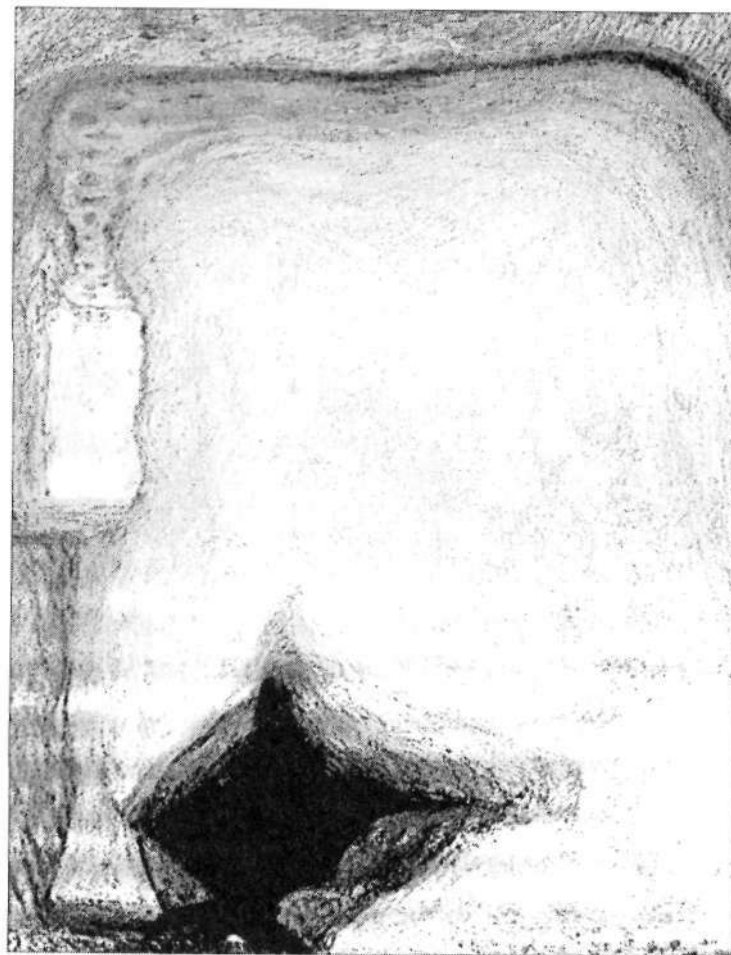
В противоположность ему Гееза Саму можно было бы назвать "творцом малых форм", впрочем, тотчас бросается в глаза условность подобного определения. Связывают их, пожалуй, две вещи — оба большую часть жизни прожили в деревне, на земле, и оба выражают в своих эпатазирующих обывателя работах бунт против утвердившихся традиций. Но если первого занимают космические абстракции, то искусство другого совершенно предметно, собственно, искусство Гееза Саму и есть сумма мастерски вылепленных предметов. Своими истоками оно уходит в массовую культуру, в народные промыслы, но не повторяет фольклора, а трансформирует его, предлагая зрителю совершенно непривычные картинки окружающей жизни и используя при их создании поразительное разнообразие материалов: бронзу, чугун, алебастр, дерево акации, дуб, дерево груши, дерево сливы, фетр и чаще всего их гротескное, причудливо-фантастическое сочетание.

Свой собственный путь и у Йожефа Гаала, который, поднимая в своем искусстве великие и болезненные вопросы человеческой судьбы, выступает прежде всего как экспериментатор. С помощью "доисторического" искусства Египта и Индии, используя "примитивные формы варваров", он пытается выстроить свой собственный мир символов. Взгляните на его "Лабиринт памяти", на "Плод страха", на "Манию", на "Молох", на его "Идола" и "Мартира" — все они вызывают рой

нескончаемых ассоциаций с потрясениями нашей эпохи.

Таков уж механизм нашего сознания, что в любом явлении искусства ищет оно тени окружающего мира. Венгерский авангард еще раз показывает сколь несовершенен этот механизм. Из его уст мы как бы еще раз слышим: неисповедимы пути художника, не подвластные ни разуму, ни логике — воздействующего особым способом; и помогающего нашей душе и памяти создать образ другого мира, неизвестного до сих пор.

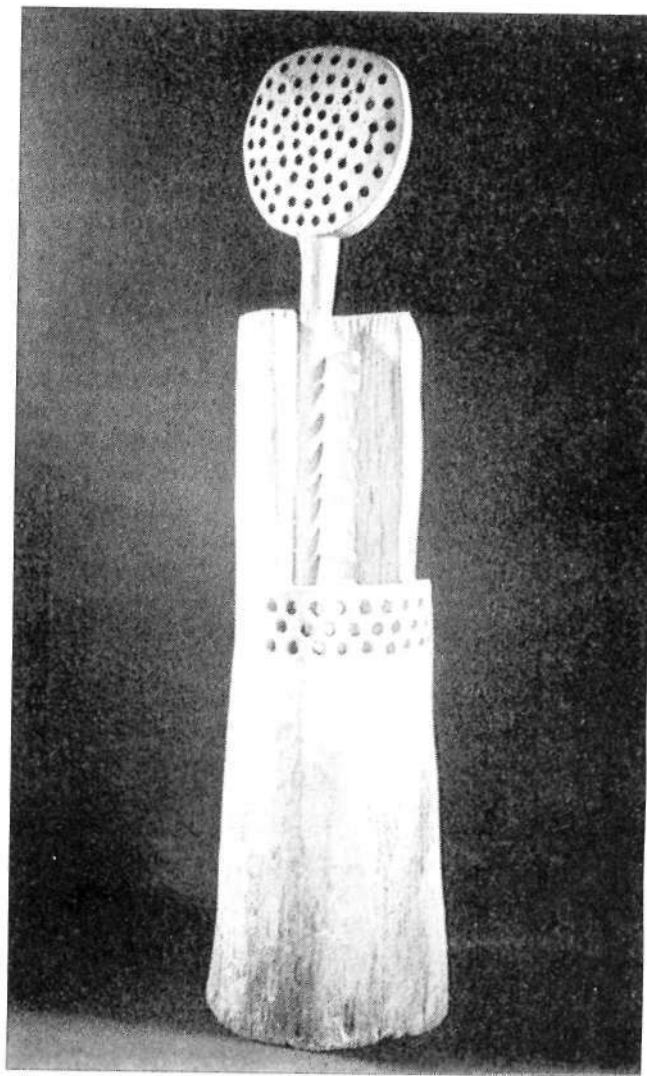
В. Петровский
г. Будапешт



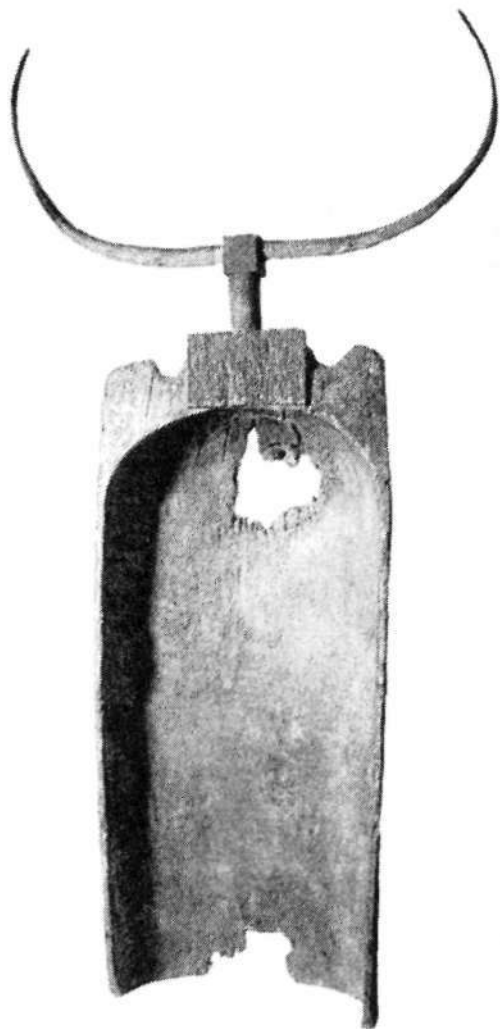
Менхирт Тот "Европа".
Масло, картон.



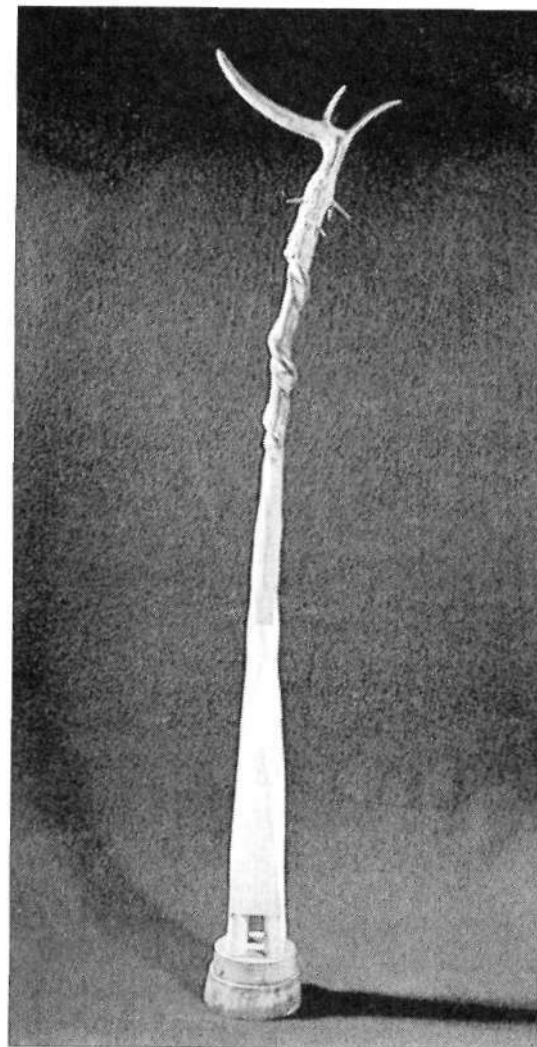
Менхирт Тот "Предок".
Бронза



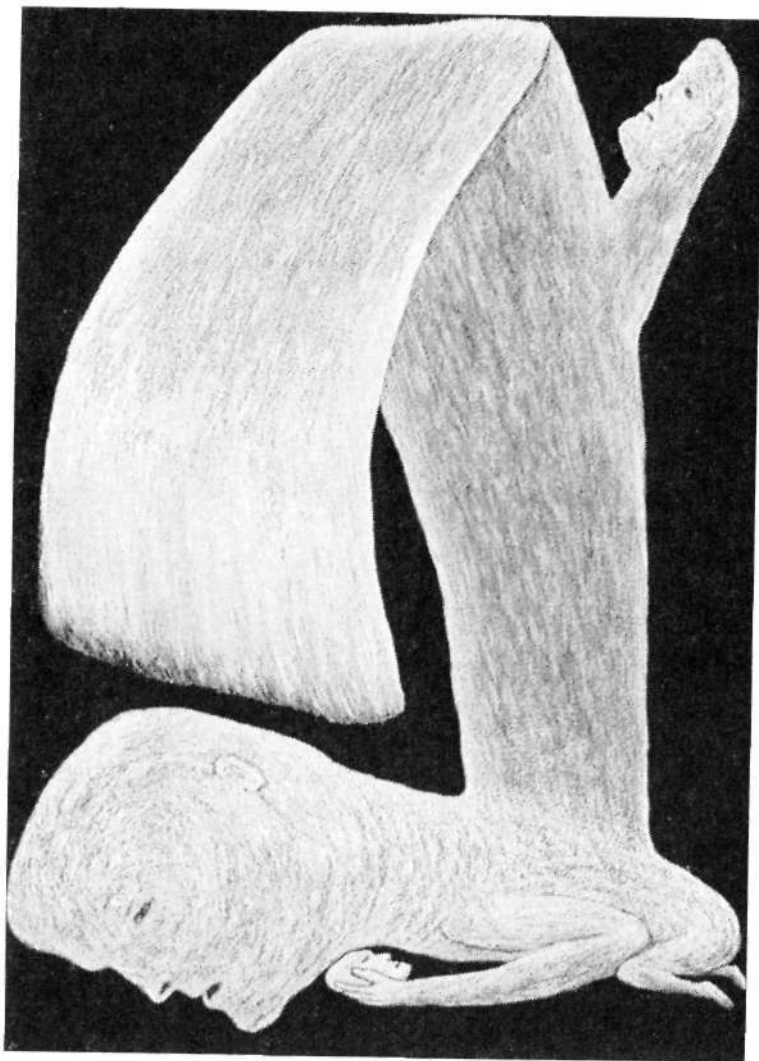
Гееза Саму "Ложка".
Дуб, акация.



Гееза Саму "Клеть из рогов".
Дерево.



Гееза Саму "Помесь лисы и аиста".
Дерево сливы, дерево груши,
древесина кизила, бронза.



Йожеф Гаал "Лабиринт памяти"
Масло, холст.



Йожеф Гаал "Плоды страха".
Масло, холст.

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН. Издатель и главный редактор журнала "Время и мы". Окончил Московский юридический институт и отделение журналистики Московского полиграфического института. Работал корреспондентом Московского радио, фельетонистом газеты "Труд", специальным корреспондентом и заведующим отделом "Литературной газеты". В 1973 году эмигрировал в Израиль, с 1973 по 1975 годы был обозревателем израильской газеты "Аль Гамишмар". В 1975 году основал журнал "Время и мы". В 1981 году вместе с редакцией переехал в Соединенные Штаты Америки, где и живет в настоящее время. Автор книг "Покинутая Россия", (удостоенной второй премии Иерусалимского университета) и "Театр абсурда".

ИГОРЬ ЧИННОВ. Родился в 1909 году, в Риге. Там же в 1939 году получил юридическое образование. В 1944 году покинул Латвию, жил сначала в Германии до 1947 года, потом в Париже до 1953 года, в 1962 году переселился в США, где был профессором славистики в Канзасском университете, а затем в Университете Вандербильта в Нэшвиле. В настоящее время живет во Флориде. Первые стихи опубликовал в журнале "Числа" за 1934-35 годы, а первую книгу "Монолог" издал в Париже, в 1950 году. Затем в разные годы вышли его поэтические сборники "Линии", "Композиция", "Пасторали", "Антитеза", которые привлекли внимание читателей своей ритмической музыкальностью и многообразием поэтических приемов. И.Чиннов регулярно печатается в "Новом журнале", "Гранях" и других эмигрантских изданиях. В журнале "Время и мы" выступает впервые.

НАДЕЖДА КРЕМНЕВА. Родилась в 1949 году в Армавире. После окончания школы работала счетоводом, чертежником, звукооператором на телевидении, художником в районном доме культуры, корреспондентом районной газеты. В 1973 году окончила Литературный институт имени Горького, работала в газетах и журналах, четыре года заведовала отделом поэзии в "Литературной Армени". Первая книга "Загляни в колодец" вышла в 1982

году в Ереване, вторая — там же в 1986 году. Подборки стихов печатались во многих сборниках, публиковались в "Сельской молодежи", "Работнице", "Литературной учебе", "Дружбе народов". С 1985 года — член Союза писателей.

РИЧАРД ПАЙПС. Родился в Польше, в 1940 году переехал в США. С 1943 по 1946 годы служил в американской армии. Окончил Гарвард, где получил докторскую степень и стал профессором русской истории. В течении ряда лет был Директором Русского Исследовательского Центра в Гарвардском Университете, старшим консультантом Исследовательского Института в Стэнфорде и консультантом энциклопедии "Британка". Был руководителем отдела СССР и Восточно-европейских стран в Совете Национальной Безопасности, является сотрудником Академии Искусств и Наук, членом Совета по иностранным делам, входит в состав редколлегии многих журналов. Ричард Пайпс — автор книг "Европа с 1913 года", "Россия при старом режиме", "Русская революция, т. 1" и других.

ЭРЛЕН БЕРНШТЕЙН. Родился в 1928 году. Специалист в области информационного анализа. Часто выступает в российской прессе со статьями на экономические темы. Во "Время и мы" публикуется впервые.

ЛЕВ АННИНСКИЙ. Родился в 1934 году в Ростове-на-Дону. В 1956 году окончил филфак МГУ. Автор пятнадцати книг, среди которых: "Ядро ореха"(1965), "Обрученный с идеей"(1971,1986,1988), "30-е — 70-е"(1978), "Лев Толстой и кинематограф" (1980), "Лесковское ожерелье" (1982, 1986), "Локти и крылья (1990), "Билет в рай (1989) и многие другие.

ИГОРЬ ЯРКЕВИЧ. Родился в 1962 году. Окончил Историко-архивный институт. Публиковаться стал лишь в самое последнее время. Рассказы и статьи публикуются в ведущих литературных журналах России. Переводился на английский и немецкий языки. Во "Время и мы" публикуется впервые.

ЛАРИСА МИЛЛЕР. Родилась и живет в Москве. Публиковаться начала в начале 60-х годов, однако ее первый сборник стихов "Безымянный день" увидел свет лишь в 1977 году. Много лет преподает английский язык, а также "алексеевскую гимнастику" — пластическую систему, ведущую свое начало от Айседоры Дункан. Публиковалась в журнале "Время и мы". Недавно вышла ее новая поэтическая книга, в которой собраны стихи последних лет.

ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ. Писатель и журналист, член редакционной коллегии журнала "Время и мы". Родился в 1933 году в Москве, окончил историко-филологический факультет Педагогического института. Работал зав. отделом науки газеты "Московский комсомолец", в СССР был членом Союза писателей СССР, автор нескольких книг прозы и двух педагогических монографий. Эмигрировал в США в 1988 году. На Западе вышли книги Юрия Дружникова — "Вознесение Павлика Морозова", "Ангелы на кончике иглы", "Микророманы", "Пушкин". Широко публикуется в Западной и русской периодике. В настоящее время профессор русской литературы Калифорнийского университета в Дэвисе.

ЯКОВ СИМКИН. Родился в 1922 году, доктор филологических наук. Занимается педагогической и научной деятельностью более сорока лет. Был профессором Среднеазиатского и Ростовского университетов, опубликовал четыре монографии и свыше 150 работ в журналах и сборниках. Автор книг: "Дмитрий Писарев. Личность и публицистика", "Сатирическая публицистика", "Семь лет из жизни А.П.Чехова" и других. В настоящее время живет в США, публикуется в эмигрантской прессе.

SUMMARY OF "TIME AND WE" (VREMYA I MY) №118

VIKTOR PERELMAN, "The Transmigration of the Soul of Mily Zalevsky." The theme of this short novel is the disintegration of the personality of a Soviet man in the era of "the great collapse." The author follows the tragic twists of the fate of former Soviet theater director Zalevsky in the 36th floor of a Manhattan skyscraper acquires a symbolic meaning, becoming a last stroke in the picture of the disintegration of an individual.

RICHARD PIPES. "The Collapse of the Empire Was Inevitable." The prominent American historian and political scientist analyzes the principal causes of the collapse of the Soviet empire as well as the intense conflicts that divide today's Russian society.

ERLEN BERNSTEIN, "We've Drawn a House And We Want to Live in It." The author, a Moscow-based economist, sees the source of the present economic crisis in the fact that the democrats have not yet succeeded in putting an end to the command economy of the past.

LEV ANNINSKY, "Where the Soul Can Rest." This essay by the well-known Russian critic and social commentator deals with the personal guilt and responsibility of each Russian citizen for the tragedy that is happening to the entire society.

IGOR YARKEVICH, "The Russian Writer as "existentialist" and "citizen". The issue in this polemic is: What are the main criteria by which we should measure the modern writer and literature?

YURI DRUZHNIKOV, "Pushkin, Stalin, and Others." How Stalin and his successors used Alexander Pushkin's name for their political purposes.

"ARS LONGA, VITA BREWS". Journalist Andrei Kolesnikov interviews poet Larisa Miller about the present state of Russian poetry.

VADIM KUNIN, "Plevhe and Hertzl." Previously unknown correspondence between the turn-of-the century Russian statesman and the Zionist leader.

ARIADNA EFRON, "Memories of Tsvetayeva." Tsvetayeva as seen through her daughter's eyes in childhood.

YAKOV SIMKIN, "Life in a Strange Street." The life and death of poet Afanasy Fet.



панорама

Nation's Largest Independent American Russian Weekly

Крупнейшее независимое еженедельное издание на русском языке
Издаётся с 1980 года в Лос-Анджелесе
Главный редактор А. Половец

Постоянные рубрики газеты:

Обзор и комментарии к событиям международной и внутренней жизни.
Обзор важнейших событий, происходящих в Америке

В числе постоянных авторов газеты известные журналисты русского зарубежья: П.Вайль, А.Генис, В.Гинзбург, Б.Парамонов, Г.Рыскин, А.Харьковский, П.Вегин, А.Жолковский, С.Рахин, Р.Стойкилл, С.Фрумкин, В.Шим, М.Лемхин, Т.Менюкер, Е.Монин, В.Головской, М.Михайлов, С.Резин, А.Аскарян, О.Максимова, М.Термингтон, Т.Шуман, Ю.Адамов

**Глобус, Телетайп
США, Калифорния**

Публицистика
В США: Нью-Йорк
Лос-Анджелес
Сан-Франциско
Филадельфия
Вашингтон
Чикаго

В Канаде
В Израиле

Европейские репортажи
Из Франции
Из Германии
Из Швеции
Из Голландии

Из Москвы

Ведут писатели и журналисты:
А.Арсентов, А.Гладилин, А. и Б. Шваен, К.Солгир,
С.Бадаш, В.Белоцерковский,
О.Нурден,
И.Торненин

Аккредитованный в Москве В.Бегиншев, наш корреспондент и руководитель представительства Панорамы, ведёт постоянную рубрику «Размышления у стен Кремля». К нам также поступают корреспонденции журналистов, работающих в Москве, Санкт-Петербурге, Риге, Харькове и ряде других городов. В специальной рубрике мы публикуем наиболее актуальные материалы неофициального издательства «Экспресс-Хроника».

Интервью «Панорамы»

Беседы корреспондентов «Панорамы» с политическими и общественными деятелями и работниками искусства.

Обзор прессы

Наиболее актуальные публикации из зарубежной русскоязычной и советской прессы, переводы из американских и европейских периодических изданий.

Литература

В «Панораме» впервые публиковались отдельные произведения В.Аксенова, Ю.Александровского, А.Бородин, И.Губермана, И.Ефимов, Э.Лимонова, С.Соколова, А.Жолковского, А.Халифа, А. и А. Шергородских, А.Рошера и ряда других писателей и публицистов, живущих в США, Европе и Израиле. Живущие в России писатели В.Ерофеев, Т.Голосов, А.Стрельный, В.Вишневский и другие неоднократно передавали «Панораме» право на первую публикацию своих произведений.

Книжная полка

В этом разделе рецензируются новые русские книги, выходящие в свет на обоих континентах.

Другие разделы

Наука, Здоровье, Спорт, Кино, Театр, Искусство, Юмор

Заполните этот купон и вышлите его по адресу:

Altman, P.O. Box 480264, Los Angeles, CA 90048, USA

Прошу подписать меня на газету «Панорама» на срок ☐ 12 мес. (53.00 дол.) ☐ 6 мес. (30.00 дол.)
В Калифорнии (incl. State Tax) ☐ 12 мес. (57.37 дол.) ☐ 6 мес. (32.47 дол.)
В Канаде ☐ 12 мес. (60.00 дол.) ☐ 6 мес. (33.00 дол.)
В СНГ (бывший СССР) ☐ 12 мес. (108.00 дол.) ☐ 6 мес. (58.00 дол.)
В других странах ☐ 12 мес. (88.00 дол.) ☐ 6 мес. (50.00 дол.)

Чек (Money Order) на сумму _____ прилагаю Газету прошу высылать по адресу:

Name _____ Tel _____
Address _____
City _____ State _____ ZIP _____



**В марте 1992 года
на территории Российской Федерации
начала выходить ГАЗЕТА «24»**

«24» — это самая оперативная информация о событиях в России и СНГ, на всех континентах планеты, анализ и комментарии, прогноз. В каждом номере газеты публикуются эксклюзивные материалы лучших репортеров страны, телевизионные обозрения, кроссворды, проводятся различные конкурсы.

«24» — это издание для самого широкого круга читателей: политических деятелей и бизнесменов, сотрудников академических учреждений, учащихся и студентов, рабочих, фермеров, крестьян, домохозяйек и ученых.

«24» — газета без политических пристрастий или партийных интересов, новости без морализаторства, анализ и прогноз без предвзятости. Она исповедует сдержанный, без вульгарности и политического экстремизма стиль, не навязывает свое мнение, а стремится представить самые разнообразные точки зрения по проблемам нашей жизни.

«24» поможет читателям сориентироваться в экономическом водовороте, найти партнеров для делового сотрудничества как в своей стране, так и за рубежом.

«24» — это вся корреспондентская сеть ТАСС и другие высокопрофессиональные журналисты. На ее страницах публикуются сообщения советской и иностранной прессы, ведущих информационных агентств мира, материалы из заслуживающих доверие конфиденциальных источников. Для достижения высокой оперативности используется самая современная компьютерная технология.

«24» имеет формат А2, объем 8-12 и более полос, печать двухцветная. Среднее учредителей: ТАСС, ВАО «Соврыбфлот», журналисты редакции.

«24» распространяется в России и других странах содружества.

«24» представляет свои страницы для размещения рекламы коммерческих структур, организациям и частным лицам на выгодных условиях.

Адрес редакции: 103009, Москва, Тверской бульвар 10-12, Россия
☎ 292-30-54, 292-36-23. Факс 203-30-49

**Агентство „24“ (ATF) -
деловой партнер в мире бизнеса,
рекламы, издательской деятельности.**

• Наша фирма будет рада оказать Вам помощь в сборе и анализе информации о событиях в России и странах СНГ. Мы занимаемся редакционно-издательской деятельностью, предоставляем рекламные, сервисные, продюсерские, представительские услуги.

• Агентство "24"(ATF) окажет Вам помощь а поиске партнера для бизнеса, мы готовы предоставить Вам эксклюзивную информацию о деловом и финансовом потенциале Вашего партнера в России, провести маркетинговые исследования.

• Мы выпускаем экономический бюллетень "Рынки на Востоке" на немецком языке и распространяем его по подписке среди деловых кругов Германии, а с августа 1992 г. предполагается издание его на английском языке для Южной Кореи, Америки и некоторых стран Европы.

• Кроме того, Агентство "24"(ATF) готовит специализированные информационные обзоры о событиях в России и СНГ, выполняет эксклюзивные заказы на подготовку интервью, репортажей, аналитических статей для газет, журналов, информационных агентств, ТВ. Мы работаем в тесном контакте с лучшими журналистами страны, корреспондентами газеты "24" и ИТАР-ТАСС

• Агентство "24"(ATF) предлагает художественно-графическое оформление оригинал-макетов книг, брошюр, календарей, и другой печатной продукции с дальнейшим полиграфическим исполнением в типографиях с бумагой.

• Наша фирма готова взять на себя организацию курсов и семинаров русского языка, обеспечить учебными пособиями и квалифицированными преподавателями.

• Агентство "24"(ATF) поможет Вам провести в России выставку, конференцию, переговоры, обеспечит досуг.

• Предлагаем Вам сотрудничество во всех, заинтересовавших Вас областях нашей деятельности.

Наш адрес: 103009, Москва, Тверской бульвар 10-12, Россия.
Тел.: 292-36-09, 292-30-91.
Факс: 203-30-49.

**БОРИС ХАЗАНОВ
Я ВОСКРЕСЕНИЕ И ЖИЗНЬ**

ОДНОТОМНИК ИЗБРАННОЙ ПРОЗЫ 352 стр.

Однотомник избранной прозы Бориса Хазанова включает три произведения, которые объединены общей темой. Эта тема — "антивремя", эпоха, давшая жизнь поколению, чье детство и юность протекли в промежутке между двумя мировыми войнами. Вместе с тем антивремя — это время, обращенное вспять, упорядоченное нашей памятью и как бы переживаемое заново.

Повесть "Час короля" — история вымышленного миниа-турного государства, оккупированного нацистской Германией.

"Я Воскресение и Жизнь" — семейная драма, в центре которой стоит ребенок.

"Антивремя" — роман, действие которого, как и в предыдущей повести, происходит в Москве. Это история любви, связавшая трех молодых людей и рассказанная много лет спустя ее единственным оставшимся в живых участником. В роман вплетена тема "двойного отцовства" русского и еврейского, которая становится частью общей темы исторической судьбы страны. Написанная в конце 70-х годов, книга вместе со всеми черновиками была арестована КГБ и позднее написана автором заново.

Все три произведения Бориса Хазанова, писателя, работающего в современной аналитической манере, с использованием многозначной символики и фантастики, но пишущего ясным, лаконичным и гармоничным языком, воспроизводят одну и ту же жизненную ситуацию — одиночество человека, отстаивающего свое достоинство перед грозными силами неумолимой Истории, деспотического Государства и своего собственного душевного подполья. Книги Бориса Хазанова не относятся к роду политической, идеологической, националистической или какой-либо иной ангажированной литературы. "Душа мытарствует по России в XX веке" — в этих словах Блока заключена вся его программа.

Заказы и чеки присылайте на адрес издательства:

Time and We

409 Highwood Ave, Leonia, N J 07605

Цена 15 долларов, включая пересылку

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ТЕАТР АБСУРДА

**Комедийно-философское повествование о
моих двух эмиграциях. Опыт антимемуаров**

СОДЕРЖАНИЕ:

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. РОДИНА, ТЕКСТЫ И Я

Нью-Йорк; Правительство в изгнании; Шинау; Израиль; Бейт-Бродецкий; Рувен Веритас и другие; Снова Нью-Йорк; «Свободный мир»; Мой иностранный паспорт; Дядя Сол; Под знойным солнцем Тель-Авива; Что нужно бедному еврею?; Дом, в котором я жил.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАЛП «АВРОРЫ»

Инженер Сэм Житницкий; «Оплот Израиля»; Мы жили... Мы ждали; Судьбоносный день; Сага о черемухе.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НАХМАНИ, 62

Мой Атлантик-Сити; Лорд Шацман и его персонал; Про Мейерхольда и Ворошилова; Странная штука — жизнь; Лефортовская одиссея; Ленин-Бланк и наша эмиграция; Мать и мачеха; Пир победителей; Облака плывут, облака.

Книгу можно заказать в редакции «Время и мы».

**"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE
LEONIA, NJ 07605, USA
Tel. (201) 592-6155**

Цена книги 10 долларов.
В книге 254 стр.

"МЕЛКИЙ ЖЕМЧУГ"

"Мелкий жемчуг", новая книга Аллы Кторовой, разнопланова и многотемна. Это литературно-исторический коллаж, где описание пращуров и предков прошиваются картинами жизни современной Москвы, а воспоминания о детстве и юности во время второй мировой войны идут параллельно с рассуждениями о современной литературе, взглядами автора на нового человека эпохи НТР и т.д.

"Мелкий жемчуг" продается во всех магазинах русской книги США и Европы. В книге 303 страницы, с портретом автора и фотоиллюстрациями. Обложка выполнена Вагричем Бахчаняном. Цена книги — 20 долларов. За пересылку — 1 доллар. Заказы на книгу также принимаются по адресу:

Victoria Sandor.
5838 Edson Lane,
Rockville, MD, 20852
USA

Феликс РОЗИНЕР

101 СЛОВО = 12 СТИХОТВОРЕНИЙ

Цикл С ПОЭТИКОЙ аллитераций и смысловой игры, словотворчества и номинативной краткости.

Факсимильное издание рукописи:

13 отдельных листов в папке на рисовальной бумаге «Энгр».

Весь тираж — 212 нумерованных и подписанных автором экземпляров, из которых для продажи предназначена только часть.

14 долларов (с пересылкой). Заказы у автора

по адресу:
Felix Rozlner
88в Beacon Str. Apt. 2
Boston, MA 02215, USA

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БРОКГАУЗА И ЕФРОНА

Объявляется подписка на репринтное издание единственной русской энциклопедии в 86 томах, получившей мировую известность и выходявшей в 1890-1907 годах. Юбилейное малотиражное переиздание осуществляет издательство «Терра» (Москва). Доход от продажи энциклопедического словаря пойдет на закупку одноразовых шприцов и других медикаментов для передачи советскому Детскому фонду.

Переиздание в точности воспроизводит оригинал и представляет собою тисненные золотом, богато иллюстрированные таблицами, цветными картами и литографиями тома. Издание будет осуществлено в течение 1990-1994 гг. Стоимость одного тома 28 амер. дол. Пересылка в США и Канаду 99 центов за том, в другие страны мира 1 дол. 99 центов за том. Оплата подписки может производиться поточно по мере выхода книг в Свет. Для оплативших подписку по получении первого тома предусмотрена более чем 30-процентная скидка. Стоимость ВСЕГО ИЗДАНИЯ в этом случае составит 1600 дол. плюс 56 дол. (в США и Канаде) или 113 дол. (в остальных странах) за пересылку. Для подписавшихся на адрес в СССР пересылка бесплатна.

Чеки за 1-й том в любой конвертируемой валюте нужно высылать по адресу: American Help Foundation, Inc., P.O. Box 501, Newton Centre, MA 02159, USA. Продажа этого издания производится только за конвертируемую валюту во всех странах мира, включая СССР. Американский фонд помощи получил исключительные права на продажу издания за пределами СССР для сбора средств на вышеуказанные благотворительные цели.

Вышел в свет роман Виктора Перельмана „Грехопадение Цезаря“.

Роман написан от лица бывшего московского журналиста, пережившего все прелести советской системы и оказавшегося на склоне лет в эмиграции. Герои романа - выходцы из среды московской богемы, - оказавшись в Америке, мечутся в поисках места под солнцем: мы видим их в русских ресторанах Бруклина, в подозрительных, полууголовных бизнесах, погруженными в иллюзорные эмигрантские мечтания. То там то здесь мелькают знакомые лица, слышатся родные голоса... Другая сюжетная линия - жизнь самого автора, человека острого и умного и вечно униженного из-за неустойчивости жизни, из-за своего еврейства и к тому же из-за... своей сексуальной неполноценности - тайный недуг, который неизменно проходит через всю его жизнь. И вот в эмиграции он решает как бы взять реванш и обессмертить себя произведением, в котором выскажет всю правду о себе. О загубленной в сталинском лагере молодости, о жене, о своих несчастных связях с женщинами, об эмигрантском окружении. Рождается горячая исповедь человека, неизвестно зачем прожившего жизнь и решившего эпатировать читателя выворачиванием самых темных, болезненных закоулков своей души: род мазохизма, который странным образом скрашивает его последние дни. Все остальное мы узнаем из самого романа, который, возможно, и введет читателя в тяжелые раздумья по поводу „проклятых вопросов“ жизни, но вряд ли оставит его равнодушным, когда он закроет последнюю страницу.

В книге 320 страниц. Цена - \$ 16. Заказы и чеки высылать по адресу:

„Time and We“
409 Highwood Avenue
Leonia, New Jersey 07605, USA

ВРЕМЯ И МЫ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ЖУРНАЛА
ЗА 17 ЛЕТ ИЗДАНИЯ, С № 1 ПО № 115

На страницах журнала печатались такие выдающиеся современные писатели, как Сол Беллоу, Артур Кестлер, Олдос Хаксли, Эфраим Кишон, А.Б. Иошуа и многие другие.

Среди его авторов — известные писатели современной России и русского зарубежья: Василий Гроссман, Лидия Чуковская, Виктор Некрасов, Владимир Войнович, Василий Аксенов, Иосиф Бродский, Семен Липкин, Инна Лиснянская, Юз Алешковский, Владимир Маразмин, Александр Зиновьев, Аркадий Львов.

В разделе публицистики выступают: Андрей Синявский, Ефим Эткинд, Дора Штурман, Лев Наврозов, Амос Oz, раввин Адин Штейнзальц, Борис Шрагин и др.

С именем журнала «Время и мы» связано появление в русской литературе целого созвездия талантливых имен: Фридриха Гореиштейна, Бориса Хазанова, Зиновия Зиника, Юрия Карабчиевского, Феликса Розинера.

Большой популярностью у читателей пользуется раздел «Из прошлого и настоящего», где были опубликованы воспоминания о Бунине, мемуары Марии Иоффе (бывшего секретаря Л.Троцкого), Самуила Микуниса (в прошлом генерального секретаря компартии Израиля), письма Лескова, переписка Николая Милюкова, дневники Ольги Берггольц.

Журнал высоко ценится среди либеральной интеллигенции современной России, откуда редакция постоянно получает письма и рукописи.

Стоимость полного комплекта журнала — 1186 дол.

Для подписчиков — скидка 15%

Тот, кто приобретает комплект журнала, в качестве подарка получает полный комплект книг издательства «Время и мы».

Заказы и чеки высылать по адресу.

Time and We
409 Highwood Avenue,
Leonia. NJ 07605, USA

Новые книги «ЭРМИТАЖА»

Ашкенази В. «Преодолеваю границы».	12.50
Бар-Ор. «Приходят века и уходят века» (Стих.)	8.00
Близнецова И. «Вид на небо» (Стихи)	8.00
Вайль П., Генис А. «Родная речь».	12.00
Визель Эли. «Завет». (Роман.)	12.50
Галич Александр. «У микрофона». (172 с.)	12.00
Гандельсман В. «Шум земли» (Стихи)	8.00
Губерман И. «Прогулки вокруг барака».	10.00
Довлатов С. «Чемодан». (Повесть. 120 с.)	7.50
Ефимов И. «Кто убил президента Кеннеди?»	10.00
Ефимов Игорь. «Светляки». (Афоризмы, 110 с.)	8.00
Ефимов Игорь. «Седьмая жена». (Роман 420 с.)	14.00
Жемчужная З. «Пути изгнания». (Восп. 300 с.)	14.00
Зайчик Марк. «Феномен». (Рассказы, 184 с.)	8.50
Иванов Георгий. «Третий Рим». (Избр. проза)	14.00
Избранная проза семидесятых. (260 стр.)	14.00
Лосев Лев. «Тайный советник». (Стихи)	8.00
Лоская В. «Цветаева в жизни». (320 с.)	15.00
Матлин В. «Эффект Либерзона». (Рассказы)	8.00
Муравина Н. «Встречи с Пастернаком» (220 с.)	15.00
Найман Анатолий. Стихотворения	8.00
Озерная Н. «Разговорник для новых американцев»	9.00
Платова В. «Неяркая жизнь Сани Корнилова».	7.50
Поэтика Иосифа Бродского. (Ред. Л. Лосев)	12.00
Рачко Марина. «Через не могу». (Повесть)	6.50
Рейн Е. «Против часовой стрелки». (Стихи)	8.00
Россия глазами женщин. (Лит. антология)	8.50
Сведенборг Э. «Основы учения». (200 с.)	12.00
Свирский Г. «Прощание с Россией». (160 с.)	8.50
Суслов Илья. «Мои автографы»	10.00
Телесин Ю. «1001 советский полит. анекдот»	10.00
Троцкий Лев. «Дневники и письма» (304 с.)	14.00
Шварц А. «Жизнь и смерть М. Булгакова»	12.00
Шляпентох В. «Открывая Америку» (200 с.)	9.00
Эткинд Ефим. «Стихи и люди». (160 с.)	9.00

Заказы и чеки отправлять по адресу: Hermitage,
P.O.Box 410. Tenafla, N.J. 07670. USA.

К стоимости заказа добавьте 2.00 дол. на
пересылку (независимо от числа зак. книг). При
покупке 3-х и более книг скидка 20%.

ТАМАРА МАЙСКАЯ «КОРАБЛЬ ЛЮБВИ»

Второй сборник произведений Тамары Майской. Первый «Погибшая в тылу», киносценарии и пьесы вышел в США в 1984 г. Рассказы и статьи Т. Майской регулярно печатаются в русскоязычной прессе США, а также в переводах на английском языке.

Книга состоит из трех частей.

1. БРАК БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ — рассказы, написанные автором еще в Советском Союзе подпольно.

«Т. Майская изображает советскую жизнь правдиво, без прикрас, с глубоким пониманием того, что видела и выстрадала» (А. Андреев «Новое русское слово»).

«Она приподнимает завесы над многими сторонами советского общества. Автор ставит в своих произведениях общечеловеческие проблемы» (Майкл Эндрюс, д-р наук, проф. русского языка и литературы)

2. АННУЛИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ - автор на основе личного опыта — преподавателя русского языка для иностранцев в СССР — показывает психологию советского человека, вынужденного вести двойную жизнь: думать одно, а вслух говорить другое.

«Аннулированное действие» — проза, написанная в современной исповедальной форме.

3. КОРАБЛЬ ЛЮБВИ — рассказы, написанные автором в США. Русский читатель-эмигрант найдет в них яркое описание своих переживаний: трудности первых лет жизни в чужой стране, заботы и радости... сбывшиеся и несбывшиеся мечты...

Выходит в издательстве «Время и мы».

Объем книги 321 стр. Цена 12 долларов.

Заказы и чеки посылайте по адресу:

Tamara Mayskaya
11501 Mayfield Rd., No. 306
Cleveland, OH 44106, USA

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "АНТИКВАРИАТ"

- И. АКСЕНОВ. Пикассо в окрестности. — 12 долларов.
 М. БАХТИН. Творчество Франсуа Рабле и народная культура
 средневековья и ренессанса. — 36 долларов.
 А. БЕЛЫЙ. Христос воскрес. — 5 долларов.
 К. ВАГИНОВ. Труды и дни Свистопова. — 10 долларов.
 Е. ДУМБАДЗЕ. На службе Чека и Коминтерна. — 10 долларов.
 П.П. ЗАВАРЗИН. Работа тайной полиции. — 10 долларов.
 А. КОТОМКИН. О чехословацких легионерах в Сибири.
 — 10 долларов.
 П.Н. КРУПЕНСКИЙ. Тайна императора. — 7 долларов.
 В.И. ЛЕБЕДЕВ. Борьба русской демократии против больше-
 виков. — 12 долларов.
 Н. РЕЗНИКОВА. Пушкин и Соборная. — 5 долларов.
 А.РЕМИЗОВ. Пляс Иродиады. — 12 долларов.
 И. СЕВЕРЯНИН. Колокола собора чувств. — 5 долларов.
 В. ШКЛОВСКИЙ. Ход коня. — 12 долларов.
 В. ШКЛОВСКИЙ. Гамбургский счет. — 15 долларов.
 В. ШКЛОВСКИЙ. Сентиментальное путешествие.
 — 20 долларов.
 В. ШКЛОВСКИЙ. Техника писательского ремесла.
 — 10 долларов.
 Э. и О. ШТЕЙН (составители). Чтобы Польша была Польшей.
 — 9 долларов.

Готовится к печати:

В. КРЕЙД (составитель и автор комментариев). Георгий Ива-
 нов — Несобранное. Ориентировочная цена — 25 долларов.

Деньги и чеки присылать по адресу:

E.SZTEIN'S ANTIQUARY

594 Chestnut Ridge Rd.

Orange, CT 06477. USA.

ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ И МЫ» — 1993

УСТАНОВЛЕННЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 59 долларов;
 с целью экономической поддержки редакции — 69 дол-
 ларов: для библиотек — 86 долларов.

Цена в розничной продаже — 19 долларов.

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американ-
 ских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США. и
 высылаются по адресу: "Time and We".

409 HIGHWOOD AVENUE, LEONIA, NJ 07605, USA

TEL: (201)592-6155

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия.....

Имя.....

Адрес.....

Подписной период.....

Прошу оформить подписку на журнал «Время и мы» на....год. Высылать
 с номера.....Журнал высыпать обычной (авиа) почтой по адресу:

Подпись.....

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

Редакция осуществляет стилистическую правку рукописей без дополнительного согласования с авторами.

MAIN OFFICE
409 Highwood Avenue, Leonia, NJ07605
(201) 592-6155

Набор и изготовление оригинал-макета выполнило
"Агентство «24»" (ATF)
103009, Москва, Тверской бульвар, 10-12.
Тел.: 292-36-09, Факс: 203-30-49

OCR и вычитка - Давид Титиевский, август 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

**На первой странице обложки коллаж Вагрича Бахчаняна.
На четвертой странице обложки: Гееза Саму "Маленький
дьявол". Крашеное дерево груши и акации.**

